

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

---

РЕДКОЛЛЕГИЯ

*О. С. Ахманова, П. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор),  
В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), А. И. Ефимов,  
Н. И. Конрад (зам. главного редактора), М. В. Панов, Г. Д. Санжеев,  
Б. А. Серебренников, П. И. Толстой (и. о. отв. секретаря редакции), А. С. Чикобава*

ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ  
XII

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Г. С. Клычков (Москва). Типологическая гипотеза реконструкции индоевропейского праязыка . . . . .	3
---	---

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. Дорошевский (Варшава). Знак и означаемое (десигнат) . . . . .	15
М. М. Маковский (Москва). Взаимодействие ареальных вариантов «слэнга» и их соотношение с языковым «стандартом» . . . . .	21
А. М. Щербак (Ленинград). О методике морфологического описания языка	31
Об общеславянском лингвистическом атласе . . . . .	39

### Обсуждение вопросов русской орфографии

М. Янакиев (София). Основы теории орфографии . . . . .	47
--	----

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. И. Стеблин-Каменский (Ленинград). Исландско-норвежские изменения согласных . . . . .	58
Д. И. Эдельман (Москва). Проблема церебральных в восточноиранских языках . . . . .	67
В. Б. Касевич (Ленинград). О фонологической роли явлений звонкости и глухости в современном бирманском языке . . . . .	82

### ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Л. В. Щерба. Ф. Ф. Фортунатов в истории науки о языке . . . . .	89
Р. В. Пазухин (Ленинград). Учение К. Бюлера о функциях языка как попытка психологического решения лингвистических проблем . . . . .	94

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Обзоры

И. Блашковиц (Прага). Современное состояние и перспективы развития тюркологии в Чехословакии . . . . .	104
С. Калужинский (Варшава). Современное состояние и ближайшие перспективы тюркологии и алтаистики в Польше . . . . .	108

#### Рецензии

Б. А. Успенский (Москва). «Universals of language» . . . . .	115
А. Н. Кононов (Ленинград). <i>А. М. Щербак. Огуз-наме. Мухаббат-наме; А. М. Щербак. Грамматический очерк языка тюркских текстов X—XIII вв. из Восточного Туркестана</i> . . . . .	131
И. С. Улуханов (Москва). <i>J. Nowikowa. Die Namen der Nagetiere im Ostslawischen</i> . . . . .	138

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Над чем работают ученые . . . . .	142
Хроникальные заметки . . . . .	143
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию . . . . .	151

Г. С. КЛЫЧКОВ

## ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА РЕКОНСТРУКЦИИ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ПРАЯЗЫКА

Языки, совершенно различные в материальном отношении, могут иметь одинаковые модели языковых отношений, быть изоморфными. Одинаковые модели мы можем найти в естественном языке и искусственной знаковой системе. Отсюда возникает направление в типологии, рассматривающее модели языков вне времени и развития, ставящее своей целью определение языковых универсалий. Такой подход к типологии представляет определенный теоретический интерес, однако не его следует признать наиболее плодотворным.

Для типологии языков более существенно устанавливать не изоморфизм подсистем, а динамику соотношения между подсистемами и уровнями. Поэтому типология не может отвлекаться ни от фактора времени, ни от данных речи, от звуковой материи, в которой существует та или иная модель отношений. Традиционные структуральные направления в лингвистике сосредоточивали внимание на отношениях единицы к единице в рамках одной подсистемы одного языкового уровня, а систему языка рассматривали как «этажерку» уровней. Довольно распространено заблуждение, что единицы высшего уровня можно получить путем механического складывания единиц низшего уровня. Из сочетания фонем мы, однако, можем получить только алломорфу<sup>1</sup>, а не морфему, из сочетания морфем мы получаем словоформу, а не слово. Основное внимание ныне следует обращать на установление отношений не между единицами внутри уровней, а на взаимосвязь уровней и перекрестные отношения подсистем разных уровней. На смену схемы «этажей», «ярусов» языковой системы должно прийти представление о спирали взаимопроникающих уровней лингвистической системы. Наиболее существенными окажутся промежуточные области между уровнями, например фонеморфология, которая во многом определяется как низший, фонологический, так и высший, морфологический, уровень. При таком анализе ахронический и имманентный подход к системе невозможен, так как связи подсистем осуществляются в речевом потоке, в звуковой субстанции языка.

Современная диахроническая фонология установила взаимосвязь языковых отношений и языковой материи, подойдя к определению структурных причин фонетических изменений. Языковой знак не вполне произволен, звуковая субстанция языка накладывает ограничения на произвольность знака, знак определяется чисто фонетическим членением речевого потока. Строй языка зависит от соотношения между естественным фонетическим распадом речи на слоги, речевые такты и фразы и структурной сегментацией ее на морфемы, фонемы, слова и предложения, или, по терминологии Ю. В. Рождественского, от способа членораздельности.

Отличительной чертой современной реконструкции является восстановление не отдельных атомарных фактов, а восстановление праязыка как системы, где различные реконструированные элементы типологически соответствуют друг другу. Основная типологическая гипотеза реконструк-

<sup>1</sup> Ch. F. Hockett, Linguistic elements and their relations, «Languages», XXXVII, 1, 1961.

ции должна определять способ членораздельности через соотношение морфемы и слога. Для языка корнеизолирующего типа характерно, что границы морфем совпадают с границами слогов, а поскольку слоги вычлениются на основании того, что в речи перемежаются участки с повышенной и пониженной сонорностью, положение звука речи в морфеме становится не вполне произвольным, зависит от степени его сонорности. В корнеизолирующих языках возможна классификация звуков речи по их положению в морфеме, и их дистрибуция не вполне свободна, предопределена слоговой структурой морфемы. Для языков этого типа неприменимо понятие фонемы как основной смыслоразличительной единицы, просодически соответствующей звуку речи. Более целесообразно описывать фонологическую систему таких языков в основных смыслоразличительных единицах, просодически соответствующих слогу.

Подвижность фонологического признака внутри слога, характерная для отдельных периодов развития некоторых ареалов индоевропейской языковой области, с этой точки зрения не может считаться нововведением, а представляет собой регенерацию типологических черт индоевропейского праязыка дофлективной эпохи<sup>2</sup>.

Развитие сравнительной грамматики от Ф. Боппа до Э. Бенвениста подводит к гипотезе, что древнейшую эпоху развития индоевропейских языков характеризует корнеизолирующий тип языка с последующим развитием флексии через агглютинацию. Мы будем различать три уровня реконструкции в области индоевропейских языков: 1) ближайший реконструируемый срез, уровень общегерманского, общесарийского, общеславянского и т. д. языков, характеризующийся развитым флективным строем; 2) уровень общиндоевропейского праязыка, в котором протогерманский, протоарийский и т. д. были диалектами, характеризуется флективным строем с чертами агглютинации; 3) самый глубокий уровень реконструкции — корнеизолирующий протоиндоевропейский язык.

Переход от эпохи общиндоевропейского к эпохе общегерманского или общесарийского языков означал, во-первых, окончательное превращение агглютинативных форм во флективные, во-вторых, появление нулевой флексии у старой чистой основы (отсюда вокатив и инфинктив как грамматические формы, включенные в парадигму) и, наконец, в-третьих, уничтожение пережитков корнеизолирования (некогда самостоятельные глагольные корни связываются в супплетивную парадигму).

Для корнеизолирующего протоиндоевропейского языка мы постулируем совпадение границы морфемы с границей слога. Звуки внутри слога-морфемы распадались на категории в зависимости от их отношения к границе слога-морфемы, а именно на классы инициалей, медиалей и финалей, причем эти три класса не перекрещивались. Распадение на неперекрещивающиеся классы по положению в морфеме характеризует корнеизолирующие и агглютинативные языки. Невозможность контрастной дистрибуции звуков, принадлежащих к разным классам по положению в слоге-

<sup>2</sup> Имеется в виду слоговой сингармонизм в славянских языках, связь геминации согласных с долгой гласных в немецких диалектах, взаимосвязь форм типа аттич *gynē*, беот. *banā*, которые показывают подвижность признака лабиальности в сочетании согласного и гласного, аналогичное поведение признака придыхательности в новоисландском. При фонологическом описании кашмири традиционно используется класс гласных фонем «матра», сущность которых сводится к тембровой характеристике гласного и согласного, входящих в один слог. См. Г. С. Клычков, Развитие диахронической фонологии за последние годы (обзор литературы), ВЯ, 1962, 4; этот обзор литературы дает нам возможность не повторять приведенной в нем библиографии, указав на связь выдвигаемых здесь положений с работами В. К. Журавлева, Ю. В. Рождественского, О. С. Широкова. О кашмири см.: T. Bailey, The pronunciation of Kashmiri, London, 1937; G. Morgenstierne, The phonology of Kashmiri, «Acta orientalia», XIX, 1, 1941.

морфеме, заставляет предполагать, что слог как целое выступал в качестве основной единицы на фонологическом уровне (так же как в китайском, согласно концепции Е. Д. Поливанова). К этому же выводу приводит реконструкция разными исследователями всего одного представителя класса медиалей, одного гласного звука, не имеющего фонологической значимости<sup>3</sup>. В рамках изложенной гипотезы в протоиндоевропейском не было ни гласных, ни согласных; дифференциальные фонологические признаки были свойственны слогу в целом, силлабофоне. Так, в силлабофоне *tā* глухость и напряженность присущи и гласной и согласной частям, а в силлабофоне *bhā* дифференциальные признаки звонкости и придыхательности характеризовали и гласный и согласный элементы, инициаль и медиаль. Предложенная гипотеза по своей природе является типологической, в ней мы постулируем для протоиндоевропейского языка определенный способ членораздельности, определенное специфическое отношение между уровнями языковой системы. Данная гипотеза, как представляется, позволяет дать единое типологическое объяснение таким, казалось бы, разнородным фактам сравнительной грамматики, как передвижения согласных, возникновение качественного аблаута, образование диалектов типа *centum* и типа *satem*, происхождение индоевропейских редуцированных, статус детерминативов и становление флективного строя.

Для индоевропейских языков характерна устойчивость модели шумных согласных при большой пестроте ее фонетической реализации. Противопоставление трех рядов шумных по способу артикуляции сохраняется в основных ареалах индоевропейских языков, несмотря на большую подвижность соотношения между дифференциальными признаками глухости — звонкости, напряженности — ненапряженности, придыхательности — непридыхательности. В противоположность этому мы находим значительную дробность моделей вокализма: модели гласных в индоевропейских языках сильно отличаются по наличию или отсутствию противопоставления монофтонгов и дифтонгов, кратких и долгих и т. д. (ср. тюркские языки, где относительно устойчива классическая система «куба гласных»). Одновременно в индоевропейских языках отмечается относительная стабильность фонетической стороны гласных (чередование *e/o* сохраняется в данном антропофоническом облике во многих языках: русск. *везу* — *воз*, лат. *tego* — *toga*, греч. *λέγω* — *λόγος* и т. д.). Это положение объясняется, по-видимому, тем, что фонологические модели вокализма складывались новые, в праязыке не было гласных, а фонологическая модель консонантизма сохраняла противопоставления старой силлабофонемной системы. Фонологическая система обладает, очевидно, определенными ограничениями темпа своего развития, связанными с необходимостью поддержания непрерывности общения. Поэтому значительные изменения в области вокализма, фактически становление новых систем для каждого индоевропейского языка обусловили стабильность модели консонантизма. Одновременно может получить объяснение и подвижность антропофонической реализации индоевропейской модели консонантизма. В протоиндоевропейском языке противопоставлялись силлабофонемы *tā*, *dā*, *dhā* по признакам глухости — звонкости, напряженности — ненапряженности, придыхательности — непридыхательности. Сохранение трех рядов шумных оказывалось необходимым, так как фактически это была единственная важная структурная черта, объединявшая старую силлабофонемную систему с новой звукофонемной фонологической системой. При распадении силлабофона на звукофонемы выделив-

<sup>3</sup> С. Н. J. B o r g s t r o m, Thoughts about Indo-European vowel gradation, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XV, 1949.

шие гласные оказывались в силу своей антропофонической природы звонкими. Таким образом, возникали сочетания, где в одном слоге были представлены как звонкие, так и глухие элементы, что противоречило закономерности предыдущего периода. Противоречие сосуществующих старой и новой модели вызывало подвижность дифференциального признака глухости — звонкости в слоге; в сочетании типа *te*, где мы имеем уже две фонемы, согласный элемент мог озвончаться. Если признать, что неразличение глухих и звонких в хетской клинописи и в крито-микенском линейном письме Б не является чисто графической особенностью, а отражает «передвижение», то оно может быть объяснено, исходя из той же гипотезы.

Взаимосвязь по глухости — звонкости между согласной и гласной в слоге не является фонетически невозможной. Так, в современном персидском слабые непридыхательные *b, d, g* фонологически противопоставляются сильным придыхательным *p, t, k*. Последние всегда глухи, а *b, d, g* могут озвончаться в интервокальном положении, но в начале слова всегда произносятся без голоса. Экспериментальный анализ показал, что *b, d, g* отличаются от *p, t, k* по способу соединения с последующей гласной. «При произнесении звонких (так автор условно называет слабые непридыхательные *b, d, g*. — Г. К.) следующий за ними гласный начинается вместе со взрывом согласного, даже в тех случаях, когда звонкие произносятся глухо. Между глухими же согласными и последующим гласным есть глухой промежуток в виде придыхания. В случае же отсутствия придыхания — после взрыва — наблюдается падение воздушности, в результате чего между согласными и гласными имеется глухой промежуток»<sup>4</sup>. Таким образом, артикуляция согласной обуславливает изменение степени звонкости последующего гласного, т. е. движение тона в слоге или изменение его регистра. В китайских диалектах, когда глухие и звонкие инициалы совпадают, корреляция по глухости — звонкости заменяется просодической корреляцией тонов: потеря согласным звонкости приводит к повышению тона последующего гласного, одновременно согласный становится придыхательным<sup>5</sup>. Придыхательность согласного и повышение тона связаны: «глухой промежуток» после глухого согласного обуславливает и придыхание, и тот факт, что начало гласного ниже по тону, чем конец, т. е. его повышение. Одновременно потеря согласным звонкости повышает регистр последующего гласного.

В индоевропейском смешении типа хет. *dagan* или *tagan* «к земле», происходило оттого, что протоиндоевропейская силлабофонема \**dā* при выделении звонкости в гласном сегментировала свою инициаль в виде незвонкого ненапряженного непридыхательного *t*, а силлабофонема *tā* при выделении напряженности в гласном давала тот же звук; просодическое различие слогов, по-видимому, очень быстро снималось под действием позиционных условий.

Рассмотрим теоретические возможности распада силлабофона на звукофонемы с точки зрения реализации согласной. Дифференциальный признак напряженности мог выделяться либо в гласном элементе, давая напряженный гласный, либо в согласном элементе, давая напряженный согласный при слабом гласном. В случае силлабофонемы *dā*, где дифференциальный признак напряженности отсутствовал, в гласном или согласном выделялся признак звонкости. В соответствии с этим каждая из трех силлабофонем *dhā — dā — tā* выделяла по два согласных элемента, в результате чего возникали две сосуществующие подсистемы, различная

<sup>4</sup> В. И. Завьялова. К характеристике персидских согласных, «Уч. зап. [ЛГУ]», 294. Серия востоковедческих наук, 12, 1961, стр. 45.

<sup>5</sup> В. Карлгрен, *Études sur la phonologie chinoise*, Stockholm, 1915.

контаминация которых дает различные типы консонантизма индоевропейских языков. Так, силлабофонема *dhä* в случае, если дифференциальный признак напряженности выделялся в гласном, превращала свою инициаль в слабый незвонкий придыхательный, который по своей природе оказывается неустойчивым. При слабой смычке накопление воздуха перед преградой, сопровождающее придыхательность, растворяет смычку и превращает звук во фрикативный или в чистое придыхание. Отсюда реализация *tʰ* в протогерманском как *d*, а в ведическом *dh* (в интервокальном положении это *dh* переходит в *h*; изменение наиболее часто у заднеязычного *gh*). С другой стороны, если признак напряженности выделялся в согласном, а возникающая из силлабофонемы гласная оказывается ненапряженной, старая согласная инициаль выделяется как напряженный незвонкий придыхательный *th*, который мы находим в греческом языке (θ), а также в протоиталийском.

Если дифференциальный признак звонкости выделяется в гласном элементе старой силлабофонемы *dä*, то инициаль ее сегментируется как ненапряженный незвонкий непридыхательный *t*; в случае, когда звонкость находит выражение в согласной части, сегментируется ненапряженный звонкий непридыхательный *d*. Последний мы находим в протогерманском *d*, в греческом *δ*, в др.-инд. *d*.

Протоиндоевропейская силлабофонема *tä* при напряженности гласного сегментируется на ненапряженный незвонкий непридыхательный *t* и на напряженный незвонкий непридыхательный *t*.

Реконструкция общеиндоевропейского консонантизма с противопоставлением трех рядов (*bh, dh, gh — b, d, g — p, t, k*) представляется научной фикцией, формулой родственных связей между диалектами общиндоевропейского языка, инвариантом всего многообразия различных систем консонантизма разных ареалов индоевропейской языковой области. Ни один индоевропейский язык или группа диалектов общиндоевропейского праязыка не содержали в чистом виде систему классической девятки шумных. Протоиндоевропейская система силлабофонем /*bhā, dhā, ghā — bā, dā, gā — rā, tā, kā*/ представляется реально существовавшим источником этого многообразия. В разных индоевропейских языках, бывших диалектами общиндоевропейского и восходящих к единой системе протоиндоевропейского праязыка, развитие консонантизма определялось сосуществованием и борьбой подсистем, возникших в результате разложения старой силлабофонической системы.

В ведическом мы находим противопоставление четырех рядов *dh, d, t, th*, причем ряд глухих придыхательных является инновацией, возникает в результате контракции взрывного с ларингальным в общеарийскую эпоху. После исчезновения ларингальных и образования ряда *ph, th, kh* в индоиранском возникает противопоставление по глухости — звонкости и одновременно развивается противопоставление церебральных — нецеребральных.

Исходным рефлексом индоевропейского \**dh* было незвонкое ненапряженное придыхательное *tʰ*. Незвонкость доказывается Е. Куриловичем на основании диссимилятивных процессов<sup>6</sup>: *bh + t* дает *bdh*, а не *pth* до образования ряда глухих придыхательных, после этого *bh, dh, gh* стали уже звонкими, что видно из более позднего процесса диссимиляции придыхательных. Диссимиляция *bh — dh* дает *b — dh*, а не *p — dh*, как следовало бы ожидать, если бы *bh* было незвонким; ср. др.-инд. *bodhati*, и.-е. \**bheudh-*. Слабость (ненапряженность) индоиранского отражения \**bh, \*dh, \*gh*

<sup>6</sup> J. Kuryłowicz, *Études indo-européennes*, Kraków, 1935, стр. 46—55; 254—255; е го же, *L'apophonie en indo-européen*, Wrocław, 1956, стр. 378.

доказывается ослаблением этих звуков в ведическом; в интервокальном положении оно приводило к потере смычки и возникновению придыхания *h*. Этот процесс чаще у заднеязычных палатальных (ср., например, др.-инд. *ahām*, авест. *azəm*, лат. *ego*; др.-инд. *hānti*, авест. *janti*). В Ригведе *dh* > *h* в окончаниях *-mahī*, *-mahe* (ср. гатск. *-maide*, греч.  $\mu\epsilon\delta\alpha$ ).

На месте индоевропейского \**d* и \**t* для диалектов, нашедших отражение в ведическом, следует предполагать соответственно ненапряженное звонкое непридыхательное *ḍ* и напряженное незвонкое непридыхательное *t*. Иначе в диалектах, нашедших отражение в Авесте; здесь, по-видимому, получила преобладание подсистема со слабым незвонким непридыхательным из и.-е. \**d*, но с сильным незвонким непридыхательным *t* из и.-е. \**t*. В авестийском мы находим *b*, *d*, *g*, в которых совпали и.-е. «звонкие» и «звонкие придыхательные». Слабость этих звуков выразилась в спирализации в интервокальном положении, однако полное развитие сдвиг получает лишь в яштах, в гатах мы находим взрывные *b*, *d*, *g*. Например, гатск. *gəpā*, яштск. *γəpā* «женщина» и т. д.

В греческом последовательное преобладание получает подсистема с выражением напряженности и звонкости в согласном. На месте и.-е. \**dh*, \**d*, \**t* мы находим напряженное незвонкое придыхательное *tʰ*, ненапряженное звонкое непридыхательное *ḍ* и напряженное незвонкое непридыхательное *t*. Слабость *ḍ* проявляется в чередовании *ḍ* — *ξ* по диалектам. Вместе с тем по древнегреческим диалектам и в эпиграфике представлено смешение /*g*/ с /*kh*/, /*d*/ с /*th*/, /*b*/ с /*ph*/, которое показывает на наличие подсистемы с развитием типа \**dh* > *tʰ* (а не *tʰ*), \**d* > *t* (а не *ḍ*), \**t* > *t* (а не *t*), ср. гомер. *γχία*, аттич. *γῆ* «земля» к гот. *gawi* «страна». Примеры типа *ἄλειψο* «мазать», *λίλος* «жир» к др.-инд. *limpāti* показывают наличие подсистемы, где напряженный незвонкий непридыхательный испытывал тенденцию к аспирации (как в германском). Эти отклонения, сильнее представленные в восточных диалектах, объяснялись влиянием субстрата, первоначально неиндоевропейского, а затем индоевропейского. Вопрос о реконструкции на их основании пелагского (догреческого) языка спорен. Для нас важен здесь факт сосуществования двух подсистем, возникших в результате смешения двух близких диалектов общеиндоевропейского, либо внутри одного диалекта.

В италийском, как и в греческом, восстанавливается система *th*, *d*, *t* на месте индоевропейского \**dh*, \**d*, \**t*<sup>7</sup>. Согласные *b*, *d*, *g*, *g<sup>w</sup>* были слабыми и переходили в спиранты, но затем вновь испытали усиление и дали взрывные, следы спирантного произношения в лат. *uīuos* из \**g<sup>w</sup> īuos*, оск. *bivus*; лат. *maior* из \**magios* к *magnus*; лат. *peior* из \**pedios* и т. д. Наряду с подсистемой, где *t* было напряженным, есть следы подсистемы со слабым *t*, например др.-лат. *fheshaked* «fecit», где конечное *d* отражает вторичное окончание 3-го лица ед. числа. Италийский ряд *ph*, *th*, *kh*, *kh<sup>w</sup>* представлял собою слабые незвонкие придыхательные, однако в сабельской группе диалектов (но не в оскско-умбрской) в интервокальном положении произошло усиление *-ph* > *-b-*, *-th* > *-d-*, ср. лат. *medius*, оск. *meſiaī*. В случае с заднеязычным *kh* (из и.-е. \**gh*) слабость смычки при придыхании приводит к возникновению чистого придыхания (лат. *hostis*, гот. *gasts* и т. д.). По-видимому, ненапряженные незвонкие придыхательные мы находим в венецких *ϕ*, *χ*, *z*, ср. венец. *e·ϕo*, лат. *ego*, гот. *ik*, венец. *z·o·to*, лат. *donare*<sup>8</sup>.

В ретских и лепонтских надписях графически смешиваются глухие и звонкие, различие между *t* и *ḥ*, *k* и *x* в ретском также нестрогое, одно и то же слово допускает варианты типа *tinaxe*, *ḥinaxe*, *ḥinake*, что, по-ви-

<sup>7</sup> A. M a r t i n e t, Some problems of Italic consonantism, «Word», VI, 1, 1950, § 5.

<sup>8</sup> R. S. C o n w a y, The Prae-Italic dialects of Italy, I, London, 1935.

димому, указывает на смешение  $*d$  и  $*t$  в  $t$  и на спирантизацию  $*dh > t^h > \check{p}$ .

В мессаиском (иллирийском), насколько можно судить по неполной интерпретации надписей, и.-е.  $*gh$  представлено как придыхание  $h$ , а и.-е.  $*bh$  и  $*dh$  как  $b$  и  $d$ , например в причастии *dehatan* «signatum» <и.-е.  $*dheigh-o-to-m$ , *maberan* «conferant» <и.-е.  $*sma-bher-ont$ . И.-е.  $*t$  сохраняется, например, в глагольном окончании  $-ti$ , в суффиксе  $-to-$  и т. д. ( $t$  чередуется в написании с  $d$ , одновременно существуют указания на аспирацию глухих).

В кельтском и.-е.  $*p$ ,  $*t$ ,  $*k$  представлены как  $p^h$ ,  $t^h$ ,  $k^h$ , причем  $p^h$  исчезает через ступень  $h$  еще в доисторическую эпоху. Ряды  $b$ ,  $d$ ,  $g$  и  $bh$ ,  $dh$ ,  $gh$  в кельтском совпадают, по-видимому, в ненапряженных звонких, теряющих смычку в британском и древнеирландском в пре- и интервокальном положении (лениция). Лениция  $t^h$ ,  $k^h$  (из и.-е.  $*t$  и  $*k$ ) и нового  $p$  (из и.-е.  $k^w$ ) различна в разных диалектных группах: в британском она дает звонкие, в гаэльском — спиранты. Это различие объясняется разным хронологическим соотношением лениции и сдвига индоевропейского  $*s$  в придыхание<sup>9</sup>.

Совпадение и.-е.  $*dh$  и  $*d$  мы находим и в балто-славянском ареале, хотя следы передвижения наблюдаются в литовских диалектах (аспирации глухих). Это совпадение связано здесь, по-видимому, с тем, что тенденция аспирации  $*k$  приводила к совпадению  $*k$  с фонемой  $x$  (из и.-е.  $*s$ ). Первоначально  $*dh$ ,  $*d$ ,  $*t$  давали здесь  $t^h - d(t) - t$  с тенденцией передвижения по германскому типу в  $\check{d}(d) - t - t^h$ . Поскольку аспирация  $*k$  приводила к совпадению его с фонемой  $x$  и подсистема с  $x$  из  $*k$  получила экспрессивную стилистическую нагрузку,  $*p$  и  $*t$  не развивали аспирированных вариантов; отсюда сдвиг  $\check{d}$  в  $t$  оказался невозможным, и оно совпало с  $t^h$ , которое теряло аспирацию. Одновременно этот процесс можно представить как преобладание подсистемы, где  $*d > \check{d}$ , над подсистемой, где  $*d > t$ , или на первый план выступает противопоставление по звонкости — глухости вместо противопоставления по придыхательности — непридыхательности, которое оказалось локализованным в заднеязычных и там заменилось противопоставлением  $s - x$ .

В германских языках исходным пунктом развития также была система  $t^h - t(d) - t$ . Затем придыхание растворяет слабую смычку  $t^h > \check{d}$ , а сосуществование близких вариантов  $t(d) - t$  вызывает аспирацию  $t > t^h$ , в связи с этим побеждает подсистема с отражением  $*d$  как  $t$ , и противопоставление по придыхательности начинает преобладать над противопоставлением по глухости — звонкости. Возникает протогерманская система  $\check{d}$ ,  $t$ ,  $t^h$ . В ней, в отличие от славянских языков, признак звонкости полностью иррелевантен; она строится на признаках напряженности — ненапряженности, придыхательности — непридыхательности. Звонкость как признак, антропофонически сопутствующий ненапряженности, могла проявляться у  $\check{d}$  или  $t$ , а  $t^h$  было всегда глухо. Дальнейшее развитие необъяснимо без учета силлабо-акцентной структуры слова в протогерманском. В протоиндоевропейском слог был в целом либо напряженным, либо ненапряженным. Это правило сохранилось и после распада старой системы, но в применении к новым типам слогов. Старая силлабофонема  $t\check{a}$  была всегда напряженной, при распадении она давала либо  $Ta$ , либо  $tA$ , где напряженность выделялась в гласном или в согласном элементе. Выделение дифференциального признака напряженности в гласном не приводило к противопоставлению гласных по признаку напряженности —

<sup>9</sup> Г. Льюис, Х. Педерсен, Краткая сравнительная грамматика кельтских языков, М., 1954; о связи лениции и сдвига  $s$  в  $h$  см. Г. С. Клычков, К развитию системы спирантов в индоевропейских языках. Автореф. канд. диссерт., М., 1959.

ненапряженности, поскольку оно оказалось позиционно связанным с качеством согласного, затем перекрывалось просодическими признаками ударного и безударного слога, и, наконец, после падения ларингальных — противопоставлением гласных по долготе и краткости. Из общеиндоевропейской последовательности *TatA* или *tATa* (после того, как напряженность оказалась связанной с ударением и возникли закрытые слоги) выделились слоги типа *at*, *ta* и *AT*, *TA*. Возникла тенденция, повторяющая протоиндоевропейскую закономерность, а именно тенденция соединения в данном слоге напряженного гласного с напряженным согласным и ненапряженного гласного с ненапряженным согласным. Действие редукции уменьшает количество слабых слогов. Маркированность члена противопоставления связана с его частотностью: как правило, немаркированный элемент встречается чаще на синтагматической оси, чем маркированный<sup>10</sup>. Уменьшению числа слабых слогов приводит к изменению направления маркированности в противопоставлении напряженного — ненапряженного. Так как ненапряженный становится менее частотным, он оказывается маркированным, но по другому признаку — звонкости. Отсюда озвончение согласного в слабых слогах или действие закона Вернера. Возникает противопоставление сильной и слабой позиций<sup>11</sup>. В первом слоге перед ударной гласной (сильная позиция) реализуются смычные, в интервокальном положении — фрикативные; признак звонкости становится релевантным; старый напряженный *t<sup>h</sup>* переходит во фрикативный:

протогерманский	<i>d</i>	<i>t</i>	<i>t<sup>h</sup></i>
общегерманский	<i>d/ɹ</i>	<i>t</i>	<i>ʃ</i>

Соотношение напряженности гласного и согласного в слоге, сыгравшее значительную роль в становлении общегерманской системы, проявляется во многих индоевропейских языках. В поздних германских диалектах мы находим аналогичный процесс в так называемом центральнонемецком ослаблении согласных<sup>12</sup>. В качестве других примеров ослабления согласных в безударном слоге можно указать на регулярную аспирацию *s* в безударном слоге в древнесингалезском<sup>13</sup>, на псилозис (выпадение придыхания) в безударном слоге в древнегреческих диалектах, аналогичное изменение в кельтских языках<sup>14</sup>.

Сложен вопрос о передвижении согласных в армянском языке. В древнеармянском литературном языке на месте и.-е. *\*dh*, *\*d*, *\*t*, согласно традиционной точке зрения, представлены *d*, *t*, *t<sup>h</sup>*. В последние годы Г. Фогт и Э. Бенвенист пришли к выводу, что древнеармянское *d* на самом деле было звонким придыхательным<sup>15</sup>; В. Винтер выдвинул теорию, согласно которой армянские *ph*, *th*, *kh* являлись спирантами. Г. Йенсен на основании анализа заимствований склоняется к выводу, что на месте и.-е. *p*, *t*, *k* в древнеармянском представлены взрывные глухие придыхательные<sup>16</sup>.

<sup>10</sup> О. С. Широков, Поток звуков и система фонем, «Тезисы докладов межвузовской конференции „Язык и речь“», М., 1962.

<sup>11</sup> Э. А. Макаев, Некоторые явления системы согласных германских языков с фонологической точки зрения, «Материалы первой научной сессии по вопросам германского языкознания», М., 1959, стр. 47.

<sup>12</sup> В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, М.—Л., 1956, стр. 306.

<sup>13</sup> S. Paraganavithana, Sigiri graffiti, London, 1956, § 288.

<sup>14</sup> N. M. Holmer, Postvocalic *s* in insular Celtic, «Language», XXIII, 2, 1957.

<sup>15</sup> H. Vogt, Les occlusives de l'arménien, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XVIII, 1958; Э. Бенвенист, Sur la phonétique et la syntaxe de l'arménien, BSLP, 54, 1, 1959; Э. Бенвенист, Проблемы армянского консонантизма, ВЯ, 1961, 3; Г. Фогт, Заметки по армянскому консонантизму, ВЯ, 1961, 3.

<sup>16</sup> W. Winter, Problems of Armenian phonology, «Language», XXX, 2 (pt. 1), 1954; XXXI, 1 (pt. 1), 1955.

С точки зрения А. С. Гарибяна<sup>17</sup>, современные армянские диалекты не восходят к древнеармянскому: во многих диалектах представлено состояние более древнее по сравнению с грабаром. В восточноцентральных диалектах (группа I по Фогту, группа II по Гарибяну) на месте и.-е. \**dh*, \**d*, \**t* представлены *dh*, *t*, *th*, а в западноцентральных диалектах *dh*, *d*, *th*. Представляется, что армянское диалектное *dh* является рефлексом и.-е. силлабофонеми \**dhā* при выделении напряженности в гласном и сегментации *t<sup>h</sup>*. Отражение и.-е. \**d* как *t* и *d* указывает на сосуществование подсистем с *t* и *d* при сегментации \**dā* с выделением звонкости в гласном и согласном. Армянское *t<sup>h</sup>* на месте и.-е. \**t* отражает подсистему с выражением напряженности в согласном. Протоармянская система совпадает, таким образом, с протогерманской: *t<sup>h</sup>*, *t*(*d*), *t<sup>h</sup>*. В этой системе звонкость иррелевантна, в восточномаргинальных диалектах она остается нефонологическим признаком (*t* противопоставляется *th*), в западномаргинальных диалектах противопоставление по силе заменяется противопоставлением по звонкости (*d* — *th*).

В тохарских языках следует предполагать последовательное преобладание подсистемы с выделением напряженности и звонкости в гласном, в результате чего и.-е. \**dh*, \**d*, \**t* сегментируются как *t<sup>h</sup>*, *t*, *t*, а затем совпадают.

Результаты предыдущего изложения можно обобщить в таблице.

Силлабофонема <sup>1</sup>	Тип подсистемы	Общинео-евр.	Ведический	Авестийский	Греческий	Италийский	Кельтский	Протогерманский	Протоармянский	Арм. вост. центр.	Арм. зап. центр.	Славянский	Тохарский
<i>dhā</i>	напряженность в гласном напряженность в согласном	<i>t<sup>h</sup></i> <i>t<sup>h</sup></i>	<i>dh</i> <i>h</i>	<i>d</i> <i>d</i>	<i>t<sup>h</sup></i>	<i>t<sup>h</sup></i>	<i>d</i>	<i>d̄</i>	<i>t<sup>h</sup></i>	<i>dh</i>	<i>dh</i>	<i>d</i>	<i>t</i>
<i>dā</i>	звонкость в гласном звонкость в согласном	<i>t</i> <i>d̄</i>	<i>d</i>	<i>d̄d̄</i>	<i>d̄</i>	<i>d̄</i>	<i>d</i>	<i>t</i> <i>d̄</i>	<i>t</i> <i>d̄</i>	<i>t</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>t</i>
<i>tā</i>	напряженность в гласном напряженность в согласном	<i>t</i> <i>t</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>t<sup>h</sup></i>	<i>t<sup>h</sup></i>	<i>t<sup>h</sup></i>	<i>t<sup>h</sup></i>	<i>t<sup>h</sup></i>	<i>t</i>	<i>t</i>

<sup>1</sup> В протоиндоевропейском силлабофонеми: *dhā* — напряженная, придыхательная, невзвонкая; *dā* — ненапряженная, непридыхательная, звонкая; *tā* — напряженная, непридыхательная, невзвонкая.

Исходя из модели протоиндоевропейской силлабофонической системы, можно объяснить возникновение диалектных групп *centum* — *satəm*, с одной стороны, и происхождение качественного аблаута, с другой. В индоевропейских языках распространено противопоставление заднеязычных по тембру — палатальному в языках *satəm*, лабиальному в языках

centum. Индоевропейские  $*k^w$   $*g^w$   $*gh^w$  восстанавливаются на основании соответствий западных ареалов индоевропейской языковой области, а палатальные — в основном на базе фактов индо-иранского, балто-славянского, армянского ареалов.

Начиная с 70-х годов XIX в. в сравнительной грамматике возникает теория трех рядов гуттуральных в индоевропейском праязыке. Все три ряда, однако, не засвидетельствованы ни в одном индоевропейском языке (если отвлечься от недоказанной гипотезы Х. Педерсена относительно албанского языка). Так же, как и в случае с рядами  $*dh$ ,  $*d$ ,  $*t$ , реконструированная система не является реальностью для прошлого ни одной из диалектных групп; она представляет собою общую формулу родственных связей индоевропейских языков, инвариант многообразных фонологических моделей этих языков <sup>18</sup>.

Представляется, однако, что реальным источником этого многообразия была протоиндоевропейская система силлабофоном с заднеязычной («гуттуральной» или «ларингальной») инициальной, которые обладали дифференциальным признаком тембра. Противопоставление по тембру восстанавливается также и у ларингальных. Гипотеза об и.-е.  $H^w$  была высказана в ряде работ А. Мартине. В 1953 г., исследуя вопрос о неафофоническом  $o$ , А. Мартине обратил внимание на тот факт, что большинство корней, оканчивающихся на  $\bar{o}$ , развивает после него  $w$  перед гласным <sup>19</sup>, например, ст.-слав. *dagati*, др.-инд. *dāvane*. А. Мартине предположил, что пазвук  $w$  представляет собою компонент исчезнувшего ларингального, который можно транскрибировать, как  $H^w$ . Лабиальный элемент мог выразиться либо в лабиализации гласного, либо в возникновении отдельной фонемы  $/w/$ . В последнем случае лабиализации гласного не происходило. Через  $H^w$  А. Мартине объясняет также соответствия, как лат. *riius*, ст.-слав. *рѣка*; ст.-слав. *слива*, др.-в.-нем. *slēha/slēwa* «можжевельная ягода». Сюда примыкают случаи, когда германским  $k$  или  $g$  соответствует  $w$  в других языках <sup>20</sup>: др.-англ. *tācor*, русск. *деверь*; др.-в.-нем. *jugund*, лат. *iuvenis*.

Есть данные, позволяющие допускать сохранение в германских языках долгих глухих сонантов  $h^j$  и  $hw$  из индоевропейских «ларингальных»  $H^j$  и  $H^w$  вплоть до эпохи действия закона Вернера, когда они озвончались в позиции после безударного слога, отражаясь затем, как *ddj* и *ggw* в готском *ggj* и *ggw* — в древнесеверном <sup>21</sup>.

На этом основании можно сделать вывод, что некоторое число протоиндоевропейских силлабофоном (те из них, которые имели заднеязычную инициаль) могли различаться по противопоставлению тембров: палатального, велярного, лабиального. Эти дифференциальные признаки были свойственны всему слогу, как его вокалической, так и консонантической части:

$k\bar{a}$	$k\bar{a}$	$k^w\bar{a}$
$g\bar{a}$	$g\bar{a}$	$g^w\bar{a}$
$gh\bar{a}$	$gh\bar{a}$	$gh^w\bar{a}$
$H\bar{a}$	$H\bar{a}$	$H^w\bar{a}$

Когда эти силлабофономы стали распадаться в общеиндоевропейском на гласную и согласную части, регулярно возникали два явления: 1) выделение дифференциального признака палатальности у гласного с сохранением лабиального компонента у согласного: *ke ko kwo* (centum).

<sup>18</sup> Критический обзор по вопросу о трех рядах гуттуральных см. в кн.: В. Г е о р г и е в, Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, М., 1958.

<sup>19</sup> А. M a r t i n e t, Non-apophonism *o*-vocalism, «Word», IX, 3, 1953. Гипотеза была принята и расширена постулатом о фонеме  $H^j$  Н. Д. Андреевым (ВЯ, 1957, 2).

<sup>20</sup> W. P. L e h m a n n, Proto-Indo-European phonology, Austin, 1953.

<sup>21</sup> W. P. L e h m a n n, указ. соч.

Здесь *e* — гласный, в котором выделился палатальный компонент, а *o* — результат сегментации гласного, в котором не выделился палатальный компонент силлабофонемы; 2) выделение лабиального компонента у гласного и сохранение палатального компонента у согласного: *ke ke ko* (*satəm*). Здесь *e* — любой гласный, в котором не выделился лабиальный компонент, а *o* — гласный, где он выделился.

Таким путем объясняется прежде всего фонетическое явление: возникновение гласных двух тембров — *e* и *o*. Из приведенных моделей очевидно, что это фонетическое различие сразу стало фонологическим, ибо оно не зависело от позиции (ср. наличие пар *ke/ko* в любой из подсистем). Тембровые различия гласных *e* и *o* возникают в тех слогах, где инициально были «гutturальные» и «ларингальные». В слогах, где инициалами были другие звуки, при сегментации гласных *e* и *o* их тембр генетически не был обусловлен, хотя уже являлся релевантным, фонологическим признаком. В корнях, в которых при прежнем состоянии были не ларингальные и не gutтуральные инициалы, фонемы *e* и *o* свободно варьировались, здесь их появление было равновероятным. Поскольку свободное чередование фонологических элементов есть свободное варьирование морфем, это последнее снимается за счет морфологического осмысления вариантов. Свободное варьирование *e/o* внутри одной морфемы первоначально распространяется из тех случаев, когда исходная протоиндоевропейская силлабофонема не имела ни палатального, ни лабиального компонента. В одном и том же индоевропейском языке один корень встречается как в вариантах *centum*, так и *satəm*, например, ст.-слав. *крава* — *сръна*, *градъ* — русск. (арх. диал.) *зород*, русск. *цвет* — *свет*, русск. *лысый* — ст.-слав. *лоуча* и т. д. По-видимому, здесь мы видим отражение сосуществования двух подсистем в определенный период развития индоевропейского праязыка. В этих двух подсистемах один и тот же корень мог существовать как в варианте *ke*, так и в варианте *ko*. Этим объясняется структурная связь гласных *e* и *o* внутри одной морфемы. Обычно различие двух подсистем осмысливается как стилистическое различие, в данном случае дифференциация пошла по линии морфологии. Это было связано с тем, что в корнях, произошедших из старых силлабофонем с незаднеязычной инициально, этих двух подсистем вообще не возникало; они нейтрализовались, и гласный при выделении мог превращаться либо в *e*, либо в *o*, не относя соответствующий корень в разные фонологические подсистемы.

Одновременно получает объяснение еще ряд существенных явлений. В. Георгиев сделал наблюдение, что палатальный gutтуральный чаще встречается перед гласной палатального тембра<sup>22</sup>; это дает ему основание утверждать, что противопоставление gutтуральных по признаку «палатальный тембр — велярный тембр» вторично и является результатом палатализации, хотя противопоставление по наличию или отсутствию лабиального тембра чисто фонетически необъяснимо. В рамках предложенной теории очевидно, что тембр *e* встречается именно после палатального согласного, ибо здесь нет лабиального компонента, который в данной подсистеме приводит к возникновению тембра *o*.

Иначе можно представить и вопрос о гласном тембре *a*. Велярный тембр был положительным дифференциальным признаком в протоиндоевропейской системе, противопоставление *kä* — *k'ä* было эквиополентным, поскольку велярный тембр *kä* выявлялся и в противопоставлении *kä* — *k<sup>w</sup>ä*. В диалектах общиндоевропейского образовались привативные противопоставления: *k* — *k*, либо *k* — *k<sup>w</sup>*; здесь велярность являлась признаком

<sup>22</sup> В. Георгиев, указ. соч., стр. 36 и сл.

отрицательным и может быть приравнена к отсутствию палатальности в диалектах *satəm* или отсутствию лабиальности в диалектах *centum*. У ларингальных, однако, палатальность и лабиальность в ряде случаев выделялись в качестве отдельных сонорных фонем  $\dot{i}$  и  $\dot{u}$ , давая ларингальный без признака тембра и не влияя в этом случае на качество гласного. При распадении  $H^i\dot{a}$  и  $H^w\dot{a}$  на три фонемы (шумный согласный, сонорный и гласный), а не на две (шумный согласный и гласный) тембр сегментированного гласного не был детерминирован, так же как и в случае с  $t\dot{a}$ ,  $d\dot{a}$ ,  $dh\dot{a}$ , здесь было два равновероятных исхода — *e* или *o*. Однако в этом случае велярный тембр должен был выделяться в гласном и  $H\dot{a}$  давало  $Ha$ .

Возникла еще одна модель:  $H\dot{i}\frac{e}{o}$   $Ha$   $H\dot{u}\frac{e}{o}$ , где *a* — архифонема по отношению к  $\frac{e}{o}$ , вариант нейтрализации в позиции рядом с *H*. Подсистема, где выделялась последовательность  $Ha$ , была сильно ограничена по пространению. При контаминации подсистем

$He$	$Ho$	$H^w o$
$H^i e$	$He$	$Ho$
$H\dot{i}e/o$	$Ha$	$Hue/o$

звуки  $H^i$  и  $H\dot{i}$ ,  $H^w$  и  $H\dot{u}$ , антропофонически не различавшиеся, оказывались достаточно частотными, что приводило к возникновению трех ларингальных  $H^i$ ,  $H^a$ ,  $H^w$ . Поскольку сегментация ларингальной инициали в результате давала три фонемы, а не две, как в гуттуральных, в ларингальном  $H^a$  оказался выраженный и признак велярности, который изменял соседнюю гласную. Возле *H* стала возможна только гласная *a*, которая в других позициях не встречалась, например хет. *ħašša* «очаг» и лат. *āra* «алтарь», оск. *aasai*, где ларингальный выпал с заменительным удалением гласной. Часто удлинения последующей гласной в результате падения ларингального не происходит. Например, хет. *ħanti* «перед», лат. *ante*. Там, где велярный ларингальный не изменял гласную в *a*, он, по-видимому, отражается как *k* (либо выпадал ранее, чем в других позициях). Например, хет. *ħaštai*, лув. *ħašša*, др.-инд. *asthi*, лат. *ossua* «кость», лат. *costa* «скелет», русск. *кость* и *остов* (др.-русск. *оставъ*, по-видимому, по ложной этимологии к глаголу *ставитъ*). Здесь восстанавливается праформа \**Hast-/kost-*. Такое объяснение позволяет отказаться от предположения А. Мейе о «префиксации» *-k* в таких случаях<sup>23</sup>.

Изложенная модель сегментации протоиндоевропейских силлабофоном с ларингальной инициалью предполагает существование раннего периода развития общеиндоевропейского праязыка, в котором было чередование по аблауту двух кратких гласных *e* и *o* и имелось три ларингальных  $H^a$ ,  $H^w$ ,  $H^i$ , выпадение которых в более позднюю эпоху привело к возникновению долгих гласных  $\bar{a}$ ,  $\bar{o}$ ,  $\bar{e}$ . Таким путем может быть снято основное противоречие ларингальной теории: в ранних работах Е. Куриловича и других ларингалистов падение ларингальных связывается с возникновением кратких гласных и их чередования, но, с другой стороны, ясные консонантические рефлексии ларингальных мы находим фактически во всех ареалах индоевропейского языкового континуума. С нашей точки зрения, нужно различать два процесса: сегментацию протоиндоевропейских силлабофоном с выделением консонантических ларингальных и кратких гласных и падение консонантических ларингальных в общеиндоевропейском, приведшее к возникновению долгих гласных.

<sup>23</sup> А. Meillet, Les origines du vocabulaire slave, RÉS1, V, 1—2, Paris, 1925, стр. 9.

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. ДОРОШЕВСКИЙ

## ЗНАК И ОЗНАЧАЕМОЕ (ДЕСИГНАТ)

Вопрос об отношении знака к означаемому является не только точкой пересечения наиболее важных и сложных проблем языкознания, но входит также в сферу компетенции философии и логики. Это осложняет задачу лингвиста, ставя его перед необходимостью выйти за пределы своей науки, но вместе с тем и расширяет его теоретический кругозор, побуждая искать одно общее решение для разных научных дисциплин.

Слово — лишь одна из разновидностей знака. Вопрос об отношении знака к означаемому в сущности — гносеологический вопрос, так как *п о з н а в а т ь*, *п о н и м а т ь* означает в конечном счете давать себе отчет в функциональной значимости элементов действительности. Поясним это на примерах, начиная с анализа понятия знака в самом общем смысле слова. Возносящийся в небо дым является для индивидуума знаком того, что где-то вблизи находится огонь. Голоса за стеной являются знаком чьего-то присутствия в соседней комнате. Утренние лужи на мостовой — знак шедшего ночью дождя. Отсутствие листьев на деревьях — знак времени года (поздней осени или зимы). Красное зарево на небе — знак пожара. Запах газа в комнате — знак того, что газопровод поврежден или открыт газовый кран. Во всех перечисленных случаях один из составных элементов ситуации может считаться знаком чего-то. Общие для этих отдельных элементов признаки сводятся к тому, что такой элемент является объектом чувственного восприятия: зрительного, слухового, обонятельного. Восприятие этого объекта становится отправной точкой для чьего-либо суждения о том, что помимо объекта чувственного восприятия в ситуации существует нечто иное. То, о существовании чего свидетельствует знак, может быть либо физическим процессом, либо материальным предметом, либо периодом времени — вообще любым явлением.

Все подобного рода факты могут быть причислены к так называемым е с т е с т в е н н ы м знакам. Естественные знаки определяются А. Лаландом<sup>1</sup> как знаки, «отношение которых к обозначаемой вещи обусловливается исключительно законами природы, например дым — это знак огня»<sup>2</sup>. Однако подобное отношение обусловлено законами природы лишь в том смысле, что, например, дым в известных условиях необходимо связан с огнем; выполняемая же дымом функция сигнализации о существовании огня находит свое выражение в высказываемом кем-то суждении:

<sup>1</sup> А. Lalande, *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, 8-e éd., Paris, 1960. А. Лаланд определяет понятие знака как «чувственное восприятие, на основании которого можно более или менее достоверно утверждать нечто о чем-то другом (и не только получать известное представление в силу воспоминаний или по ассоциации мыслей)» (стр. 991). Автор хочет подчеркнуть, что суждение, к которому ведет знак, является суждением о существовании чего-то. Однако отождествлять знак с самим чувственным восприятием, как это делает Лаланд, неправомерно: знаком является не восприятие, а самый воспринимаемый элемент действительности.

<sup>2</sup> Там же.

«этот дым — знак огня» (т. е. «по этому дыму я узнаю, что вблизи находится огонь»).

Основное различие между естественными знаками и знаками языка состоит в том, что за естественными знаками не кроется чье-либо сознательное намерение некто обозначить. Когда говорится, что дым является знаком огня, то дыму не приписывается намерения обозначить определенный объект (в данном случае — огонь); поэтому нельзя сказать, что огонь — физическое явление — является означаемым (десигнатом) физического явления дыма. При произнесении же слова *дым* обозначается соответствующее ему физическое явление; в этом случае физическое явление дыма можно считать означаемым (десигнатом) слова *дым*.

Некоторые неязыковые знаки по своей функции почти эквивалентны словам; это те, которым присуще определенное смысловое содержание, переводимое на слова. Ср. красный или зеленый свет уличных светофоров, свисток кондуктора, звук сигнального рожка, флаги морского кода и т. п. Функция таких сигналов может зависеть от внешних условий: красный и зеленый свет имеют различное значение в светофоре и на левом и правом борту корабля. Это можно сравнить с областными, т. е. связанными с неязыковыми условиями, различиями в значениях слов: так, например, слово *sagan* обозначает медный котел в варшавской языковой среде, чайник в краковской; слово *borówka* относится к разным растениям в разных областях Польши (общим, инвариантным остается значение «лесное растение», обусловленное в названном слове его структурой: это образование от прилагательного *borowy* при помощи форманта *-ka*). Правильное понимание слов *sagan*, *borówka* детерминировано их областной принадлежностью (она выступает в данном случае в качестве смысловозначительного признака), подобно тому как местонахождение (на корабле или в уличном светофоре) фонаря с красным светом определяет значение сигнала.

Знак вообще можно определить как всякий чувственно воспринимаемый элемент объективной действительности, который сигнализирует о существовании чего-то иного помимо него. Наличие знака позволяет осуществить переход от чувственного восприятия к суждению, который является основным моментом процесса мышления. Знак есть объект восприятия (*perceptibile*); соотнесенный с ним элемент — объект мышления (*intelligibile*). Общим признаком естественных и языковых знаков является то, что и те и другие воспринимаются при помощи чувственных анализаторов. Распространенное противопоставление слов предметам как идеального материальному является недоразумением. Явления второй сигнальной системы теснейшим образом связаны с явлениями первой сигнальной системы и вне этой связи непонятны.

Высказывания *я не понимаю; я не знаю, что это значит* тождественны по своему значению и в отношении к событиям внешнего мира, и в отношении к языковому тексту. Лалаид предлагает следующее определение понятия «понимать» (*comprendre, comprehendere*, славянские структурные соответствия — русск. *понимать*, польск. *pojmować*): «мыслить знак как представляющий известное значение (*une signification*)»<sup>3</sup>. Это определение характерно для традиционного психологизма и находится в соответствии с известной соссюровской формулой, согласно которой знак и означаемое (*signifié*) являются двусторонней психической сущностью.

Пользуясь слишком неопределенным термином «*signification*» (его предметный характер еще слабее, чем у «*signifié*» де Соссюра), Лалаид тем самым заостряет психологический характер своей формулировки; после необходимых коррективов, направленных на выявление соотнесенности с внешним,

<sup>3</sup> Там же, стр. 158.

предметным миром, она могла бы по отношению к языковым знакам принять следующий вид: «понимать — это мыслить знак как представляющий означаемое (десигнат)». Не понимать — это не знать отношения знака к означаемому. Действительно, не знающий, например, венгерского языка не понимает слова *útaselláto*, т. е. не знает, на какие функциональные элементы оно разлагается и к чему относится как целое <sup>4</sup>. При чтении не знающий этого слова воспринимает оптически ряд букв, но сигналы, требующие соотношения и отождествления их с известными элементами, отсутствуют в его сознании. Понять значит у з н а т ь, отнести к какому-то пережитому опыту. Понимание есть процесс, оно по существу своему диахронично; ощущение же, т. е. непосредственная реакция чувственного анализатора на действие внешнего раздражителя, лишено диахронической соотнесенности.

Проблема отношения знака к означаемому (десигнату) — это проблема отношения восприятия к пониманию. Восприятие и понимание тесно связаны. Один и тот же элемент действительности, становясь предметом очерченных восприятий, может вызывать самые разнообразные ассоциации и в области чувств, и в области мышления. Тесную связь восприятия и мышления ясно видел уже Декарт. Оба термина — восприятие и понимание — имеют смысл лишь если их понимать как реакции на нечто внешнее по отношению к субъекту. Соотнесенный со знаком десигнат — это элемент объективной действительности, внешний по отношению к индивидуальному сознанию, хотя и мыслимый индивидуальными субъектами. Внешний характер десигната по отношению к чьему-либо индивидуальному сознанию проявляется в общности его понимания разными говорящими на данном языке. Общность понимания — факт социальный, а не «идеальный предмет» <sup>5</sup>. Уместно напомнить слова Аристотеля, которые цитировал и комментировал Ленин в связи с изложением вопроса об отношении отдельного к общему: οὐ γὰρ ἂν θείμεν εἶνα: τίνα οἰκίαν παρὰ τὰς τῶνδ' οἰκίας «мы не предполагаем существования какого-либо дома за пределами всех (отдельных) домов». Десигнат — факт социального и исторического порядка; в силу этого понятие десигната — понятие по существу своему динамическое. В признании принципиальной изменчивости этого основного понятия некоторые логики усматривают недопустимое внутреннее противоречие.

Сравнительно самыми простыми по смысловому (семантическому) содержанию являются слова, которым соответствует одно означаемое, т. е. слова — названия одного материального предмета. Таково, например, слово *луна*. Как предмет восприятия луна многообразна; она представляется людям в различных видах — как серп, как полукруг, как окружность (в зависимости от фазы), в различном освещении (в зависимости от атмосферических условий). Единство десигната слова *луна* обеспечивается актом сознания, отождествляющим все чувственно воспринимаемые облики предмета с понятием предмета как такового, т. е. тождественного во времени с самим собой. По существу то же самое имеет место в отношении слов, обозначающих не единичные предметы, но классы предметов или явлений.

<sup>4</sup> *Útaselláto* — название туристической организации, имеющее следующее структурное значение: «тот, кто заботится о путешествующих» (*út* «дорога, путь», *útas* «путешественник», *lát* «видеть», *ellát* «заботиться», *o* — суффикс, при помощи которого образуется причастие настоящего времени).

<sup>5</sup> «Идеальный предмет», который можно определить как то, что не воспринимается непосредственно или опосредствованно человеческими чувствами, не является чьей-либо мыслью о чем-либо и предполагается существующим каким-то особым сверхчувственным образом, принадлежит к тем философским мифам, для устранения которых современное языкознание кажется оборудованным лучше, чем традиционная философия.

Для того чтобы назвать известное животное *лошадью*, его необходимо увидеть и узнать как принадлежащее к классу животных, обозначаемых этим словом. Десигнатом слова *лошадь* является потенциально каждое животное, к которому применимо это слово. В смысловом содержании этого слова заключаются и элементы чувственного восприятия и элементы, относящиеся к познанию, мыслимые, интеллигибельные (смысловые).

Десигнаты слов представляются нам как воспринимаемые и мыслимые элементы объективной действительности, обладающие, с одной стороны, свойствами, имманентными для каждого из них, индивидуальными, с другой — свойствами относительными. Совокупность относительных свойств элемента действительности определяется совокупностью всех возможных его отношений к другим элементам действительности, с которыми данный элемент входит в соприкосновение. Анализ значений слов и есть исследование всех отношений десигната данного слова к другим элементам действительности.

Рассмотрим некоторые примеры, поясняющие предлагаемое понимание десигната. В качестве иллюстраций могут служить слова разных языков.

Французское прилагательное *bossu* «горбатый» означает имеющего горб. Оно принадлежит к ряду прилагательных этого типа — ср. *barbu* «бородатый» («имеющий бороду»), *chevelu* «волосатый» («имеющий волосы») *ventru* «брюхатый» («имеющий брюхо»; ср. польск. *brzuchaty* от *brzuch* — нейтральное название живота, не имеющее такого экспрессивного оттенка значения, как русск. *брюхо*), *pointu* «остроконечный» («имеющий острое окончание»). Прилагательные этого типа существуют в изобилии и во всех славянских языках; для их образования могут служить различные форманты; их семантическую структуру можно определить как «имеющий нечто» или «отличающийся чем-то». Ср. польск. *wąsaty*, чеш. *vousatý*, русск. *усатый*, укр. *вусатий*, серб. *бркат* (польская, чешская, русская, украинская формы вполне параллельны, сербская образована тем же формантом, но от другой основы; значение всех форм: «имеющий усы, отличающийся усами»). Ср. еще: польск. *zębaty*, русск. *зубастый* (одна и та же основа, разные форманты); русск. *горбатый*, польск. *garbaty*, чеш. *hrbatý*; серб. *грбав* (сербская форма отличается от остальных иным формантом); польск. *falisty*, русск. *волнистый* (разные основы, один и тот же формант); польск. *soczysty* (диал. *soczyty*), русск. *сочный*, укр. *соковитый* (одна и та же основа, разные форманты); польск. *piaszczysty*, русск. *песчаный*, луж. *pěškojty* (от *pěskovity*, ср. по форманту укр. *соковитый*) (одна и та же основа, разные форманты); польск. *lesisty*, русск. *лесистый*, луж. *lesnjaty* (лужицкая форма имеет иной формант, чем польская и русская) <sup>6</sup>.

Значения приведенных прилагательных — их число можно бы было значительно увеличить — различаются по конкретному элементу чувственного (главным образом зрительного) ощущения; общим же их признаком является тип осмысления чувственно воспринимаемых элементов, т. е. одинаковая логико-синтаксическая структура. Приведенные прилагательные могут иметь различные форманты. По реальным значениям могут соответствовать себе формы, образованные по разным словообразовательным моделям: ср. чеш. *pohatý*, луж. *pohaty* и польск. *długonogi*, русск. *длинноногий*, серб. *дугоног*. Во всяком семантическом анализе необходимо учитывать соотношение чувственных и интеллигибельных элементов в семантическом содержании слова.

Чем различаются между собой десигнаты таких слов, как прилагательное *горбатый* и существительное *горбун* (*горбатый* может употребляться и как существительное — ср. *горбатого могила исправит*, — но тогда оно

<sup>6</sup> Примеры взяты из картотеки обтеславянского атласа.

по экспрессивному оттенку приближается к слову *горбун*)? Оба эти слова могут относиться к одному и тому же лицу, т. е. объективный, физический десигнат этих двух слов может быть одним и тем же. Однако *горбатый* — определение нейтральное, характеризующее известное лицо на основании присущего ему физического признака, а *горбун* — название, в которое включен элемент отношения к данному лицу других лиц; в связи с этим можно констатировать, что десигнат слова *горбун* тождествен десигнату слова *горбатый* по индивидуально-физическому значению, но отличается от него по социально-относительным признакам. *Горбун* — это «горбатый» как объект недоброжелательного отношения.

Французское слово *passerelle* «мостик» имеет четкую словообразовательную и логико-синтаксическую структуру: оно образовано при помощи суффикса *-elle* от глагола *passer* «переходить». *Passerelle* «то, по чему переходят (ходят)» есть пассивный потенциальный объект действия глагола *passer*. Логико-синтаксическая структура существительного *passerelle* основана на отношении известного предмета к действию, обозначаемому глаголом. По этой же схеме можно построить определение десигната, относительным признаком которого является транзитивность не действия, а эмоционального состояния. Так, польск. *koniś* — ласкательная форма от существительного *koni*. Десигнатом слова *koniś* является «*koni*, любимый кем-то» («конь-любимец»), т. е. «конь как объект чьего-то душевного состояния, обозначаемого словом *любить*».

Одним из относительных признаков десигната может быть его связь с определенной средой. Это касается главным образом собственных имен. Русское имя *Иван* в тексте, переводимом на польский язык, может остаться без перевода и не быть заменено именем *Ян*, поскольку имя *Иван* характеризует его носителя как русского. В заглавии пьесы Чехова «Дядя Ваня» при переводе на польский, французский языки переводится только первое слово (польск. *wujaszek*, франц. *oncle*), имя же *Ваня* остается без изменения, так как оно представляется неотъемлемым признаком своего носителя, характеризующим его принадлежность к определенной среде. Русское слово *водка* тождественно по значению французскому *eau-de-vie*, но русская *водка* называется по-французски *la vodka*. В смысловом содержании слова *la vodka* заключается элемент, указывающий на связь десигната с русской средой, со стороны же десигната можно констатировать, что одним из его относительных признаков в определенной среде является то, как он в этой среде именуется. Этот признак иногда сохраняется при переносе слова в другие языковые условия.

Рассмотрим с точки зрения десигната следующие названия того, кто бьет в барабан: польск. *dobosz*, русск. *барабанщик*, франц. *tambour*, серб. *тамбураш*, нем. *Trommelschläger*. Эти слова различны по своей структуре. Польск. *dobosz* (венгерского происхождения) лишено какой бы то ни было морфологической мотивации, отношение слова к десигнату непосредственно и просто. То же самое можно было бы сказать и о франц. *tambour*, которое может обозначать не только исполнителя действия, но и предмет, на который направляется действие. Серб. *тамбураш* делимо на суффикс пош. *agentis -аш* и основу *тамбур*. Аналогично по структуре русск. *барабанщик*, в котором суффикс *-щик* является морфологическим показателем понятия действующего субъекта, а предыдущая часть (*барабан-*) обозначает понятие дополнения морфологически не выраженного действия (иначе в слове *регулирующий*, в котором есть морфологический показатель субъекта и действия и ничем не выражено дополнение). Нем. *Trommelschläger* является структурой, в которой при помощи отдельных морфологических элементов выражены понятия субъекта (*-er*), действия (*schläg-*) и дополнения (*Trommel-*).

В синхронном плане перечисленные слова, различные в структурном отношении, имеют одинаковое значение, обозначают исполнителя одной и той же функции, хотя каждое из этих слов вызывает ассоциацию с определенной национальной средой — польской, русской и т. д. Возможность их одинакового функционирования в синхронном плане объясняется тем, что практические, жизненные факторы, определяющие употребление того или иного слова, всегда в конечном итоге превалируют над историческими элементами смыслового содержания слов, над их исторической структурой. Переводимость слова *барабанщик* на разные языки основывается на возможности найти обозначение того, кто бьет в барабан, а не на передаче исторической структуры переводимого слова. Обозначение бьющего в барабан может быть чисто условным, аналитически не разложимым, морфологически не дифференцированным. Важна объективная, данная в синхронном чувственном опыте, функция барабанщика. Языки различаются историческими формами осмысления данных чувственного опыта, т. е. наличием разных ассоциативных связей между элементами восприятия (*perceptibilia*) и элементами мышления (*intelligibilia*).

Нем. *Verkehrsfreigabezeichen* обозначает «сигнал свободного пути». Это слово отличается сложной, логически последовательной структурой. Главным определяемым элементом этой структуры является слово *Zeichen*, совокупность предшествующих элементов (*Verkehrsfreigabe*) — часть определяющая; в ней в свою очередь можно выделить следующие составные части: *freigabe* дословно «дача свободным», определяемый элемент *gabe*, определяющий *frei*; форма род. падежа (*genitivus objectivus*) *Verkehrs* — определение, относящееся к *freigabe*. Структура слова состоит из последовательно расположенных согласно нормам германских языков определяющих и определяемых элементов; в этой структуре видна очередность исторических этапов ассоциативных связей между составными частями целого слова [*Verkehrs* → (*frei* → *gabe*)] → *Zeichen*. Этому сложному слову в данном актуальном опыте, т. е. в конкретной ситуации, может соответствовать один жест руки, указывающей водителю свободный путь. Этот жест имеет превосходство над словом, он отличается однозначностью и практической целесообразностью. Слово *Verkehrsfreigabezeichen* можно разлагать на его составные части и интерпретировать с морфологической точки зрения, но переводить его можно только как знак объективной, определяемой условиями конкретного опыта функции, осуществляющей сокращенным путем единство восприятия и понимания.

Основная задача всякого перевода — передавать знаки одного кода знаками другого в их прямом отношении к десигнатам. Теоретически говоря, эту задачу могут выполнять и машины, функционирование которых должно быть основано на принципе трактовки каждого значащего элемента «извне», т. е. с точки зрения его соотношений с другими элементами, а не «изнутри», не с точки зрения его отношения к чьему-либо индивидуальному сознанию<sup>7</sup>. Но этот вопрос требует особого рассмотрения.

<sup>7</sup> Или же к тому «*esprit qui s'insuffle dans une matière donnée et la vivifie*», как весьма неопределенно формулируют издатели сосюрковского курса.

М. М. МАКОВСКИЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРЕАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ «СЛЭНГА»  
И ИХ СООТНОШЕНИЕ С ЯЗЫКОВЫМ «СТАНДАРТОМ»

Изучение языковых явлений на уровне «системы» и «нормы», являющееся одной из актуальных задач современного языковедения, невозможно без учета особенностей так называемых «периферийных» языковых пластов. Речь идет прежде всего о «слэнге», разного рода жаргонах, арго, профессиональных наречиях и языковых вариантах типа лондонского *Cockney*. Явления, обычно включаемые в этот комплекс и часто рассматриваемые в одной плоскости, по своей сущности и функциям далеко не однозначны, а их соотношение с языковым «стандартом» — неодинаково <sup>1</sup>.

Концепция, согласно которой социальные диалекты и жаргоны необоснованно считались «ответвлениями» от общенародного национального языка, лишенными какой-либо самостоятельности, по сути дела исключала из языковедческой науки проблему их изучения, что неизбежно вело к искажению действительной картины развития языка и его современного состояния. Следует отметить, что такие явления, как слэнг, жаргоны, профессиональная лексика и др., бытуя в языке (*langue*), по необходимости входят в его систему, в «ткань» языка и нередко сами образуют более или менее системные микроструктуры <sup>2</sup>. Устный английский национальный стандарт немислим без элементов слэнга в той же мере, в какой слэнг не существует без элементов устного стандарта. В ряде случаев периферийные языковые слои могут оказывать значительное влияние на устный национальный стандарт, в большей или меньшей мере переплетаясь с ним <sup>3</sup>.

<sup>1</sup> См. об этом М. М. Маковский, Языковая сущность современного английского «слэнга», «Ип. яз. в шк.», 1962, 4, стр. 106. Следует отметить, что в связи с бытовавшим некоторое время в нашем языкознании нерасчлененным пониманием языка *en bloc*, вне его реальных проявлений в живой речи и без учета сложного механизма схождения и расхождения в пределах одного языка в процессе его эволюции, указанные языковые явления оказались у нас почти забытой сферой лингвистического исследования. Неслучайно, что в настоящее время мы располагаем лишь единичными специальными работами в области так называемых «социальных диалектов» (наиболее интересны в теоретическом отношении вышедшие в 30-х годах работы Л. П. Якубинского и В. М. Жирмунского). См.: Л. П. Я к у б и н с к и й, Язык крестьянства, «Литературная учеба», 1930, 4; е г о ж е, Язык пролетариата, там же, 1931, 7; А. И в а н о в, Л. П. Я к у б и н с к и й, Очерки по языку, Л., 1932; В. М. Ж и р м у н с к и й, Национальный язык и социальные диалекты, Л., 1936.

<sup>2</sup> Ср.: E. Coseriu, *Sistema, norma u habla*, Montevideo, 1952. Ср. также обзор работ Э. Косериу в статье: N. S. W. S p e n s e, *Towards a new synthesis in linguistics: the works of Eugenio Coseriu*, «Archivum linguisticum», XII, 1, 1960.

<sup>3</sup> В этом плане интересно следующее высказывание Дж. Голдуорса: «Probably most of our vital words were once slang, one by one made sacrosanct in despite of ecclesiastical and other wraths» (J. G a l s w o r t h y, *On expression*, Oxford, 1924, стр. 7). Из слов, которые некогда были слэнговыми, но в настоящее время широко распространены в английском литературном (устном и письменном) стандарте, можно отметить, например, следующие: *bet, bore, chap, donkey, hoax, kidnap, mob, odd, shabby, sham, trip* и др. См.: W. H e u s e r, *Alllondon mit besonderer Berücksichtigung des Dialekts*, Osnabrück, 1914; A. P e i t z e, *Der Einfluß des nördlichen Dialekts im Mittelenglischen auf die entstehende Schriftsprache*, Bonn, 1933; В. Н. Я р ц е в а, Об изменении диа-

Тезис о борьбе и столкновении между языками и отдельными элементами внутри одного языка в процессе их развития не давал возможности допустить наличие в языке параллельно сосуществующих (коэкзистентных) структур, какими являются, например, английский национальный язык и микросистема (хотя и не полная) так называемого слэнга, развивающиеся независимо друг от друга, но тесно взаимодействующие между собой (разумеется, в разной мере) в живой речи всех слоев населения. Вообще не следует думать, что употребление в языке какой-либо (большей или меньшей по объему) группы слов, не являющейся общенародной, а вызванной к жизни той или иной профессиональной или социальной необходимостью, обязательно обречена на гибель: она сосуществует с другими языковыми слоями, в том числе и с национальным стандартом, входит в систему языка, хотя может и не быть нормой. Интересно, в частности, указать на тот известный факт, что такие узкоспециальные группы слов, как отраслевые термины современной техники, являются не отмирающей, а, наоборот, развивающейся категорией. Все это ставит неотложную задачу изучения и систематизации так называемых нелитературных языковых слоев, в частности слэнга.

В литературе известны различные концепции слэнга<sup>4</sup>, суть которых может быть сведена к следующему: 1) слэнг нередко признается антиподом так называемого литературного языка и отождествляется частично с жаргоном и профессионализмами, а частично с разговорным языком (при этом некоторые авторы решительно отвергают слэнг как засоряющий устолитературный стандарт, а другие, наоборот, считают его признаком жизни и поступательного развития языка); 2) слэнг рассматривается как преднамеренное употребление определенных элементов словаря в чисто стилистических целях; некоторые исследователи вообще не считают возможным говорить о слэнге как самостоятельной языковой категории и относят соответствующие явления к различным категориям лексики и стилистики; 3) с психолингвистической точки зрения слэнг понимается как продукт индивидуального языкового (или даже «духовного») творчества отдельных социальных и профессиональных группировок, служащий языковым выражением общественного сознания людей, принадлежащих к той или иной среде.

В настоящей работе, где периферийные языковые слои исследуются на примере английского слэнга, мы будем исходить из следующего понимания последнего. Слоэнг — это особый исторически сложившийся и в большей или меньшей степени общий всем социальным слоям говорящих вариант языковых (преимущественно лексических) норм, бытующий в основном в сфере устной речи и генетически и функционально отличный от жаргонных и профессиональных элементов языка. Основной и наиболее стабильной частью слэнга, его языковым костяком, как мы пытались показать в другой своей ра-

лектной базы английского национального языка. «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», X, Вопросы формирования и развития национальных языков, 1960. Об использовании слэнга в художественной литературе см.: K. W. Westendorp f, Das Prinzip der Verwendung des Slang bei Dickens, Greifswald, 1923; O. E. Bosson, Slang and cant in J. K. Jerome's works, Cambridge, 1911; H. Mark, Die Verwendung der Mundart und des Slang in den Werken von J. Galsworthy, Breslau, 1936; H. W. Wasmuth, Slang bei der Sinclair Lewis, Hamburg, 1935; K. Thielke, Slang und Umgangssprache bei der englischen Prosa der Gegenwart (1919—1937), Emsdetten, 1938.

<sup>4</sup> Полную библиографию литературы по слэнгу (до 1939 г.) с изложением содержания отдельных работ см. в кн.: W. J. Burke, The literature of slang, New York, 1939. Ср. также: И. Р. Гальперин, О термине «слэнг», ВЯ, 1956, 6.

боте, являются территориально-диалектные элементы<sup>5</sup>. Это вполне понятно, ибо, как известно, первоначальными носителями слэнгизмов были, с одной стороны, крестьяне из различных областей Великобритании, шедшие в города на заработки, а также разорившиеся мещане (большинство из них — выходцы из крестьян), а с другой стороны, — разного рода деклассированные элементы, которые в большинстве своем также вышли из крестьянского сословия<sup>6</sup>. В связи с этим одной из специфических черт слэнга является с м е ш е н и е, к о н г л о м е р а т территориально различных диалектных элементов, в том числе и таких, которые уже вышли из употребления в соответствующих диалектах или являются для них архаизмами (собственно диалектные элементы на уровне слэнга уже выходят за пределы определенной территории, которой они присущи). Именно слэнг является основным связующим звеном между территориальными диалектами и литературным языком, а в ряде случаев и между местными словами, входящими в различные ареальные варианты слэнга, с одной стороны, и литературным стандартом — с другой (ср. индийские слова, ставшие стандартными через посредство англо-индийского слэнга: *curry, loot, tiffin, damn* в *I don't care a damn* и др.). Проникновение территориально-диалектных слов в слэнг представляет собой весьма длительный процесс, неодинаковый по своей интенсивности для различных периодов развития английского языка и для различных территорий его распространения. Кроме диалектных слов, источником слэнговой лексики являются различные ареальные варианты английского языка (как местные стандарты, так и местные слэнгизмы), разного рода неологизмы и иностранные заимствования (часто в виде так называемой народной этимологии).

Необходимо отметить, что чисто слэнговых, профессиональных, жаргонных и вообще с о ц и а л ь н ы х явлений языка, совершенно отделенных от языковых особенностей определенной т е р р и т о р и и, не существует. В пределах каждого территориального диалекта всегда имеются определенные социальные градации, в которых неодинаково (как с качественно-количественной стороны, так и в хронологическом плане) преломляются языковые особенности *general slang*<sup>7</sup>. Например, на данной территории определенное явление *general slang* может быть распространено лишь на одном социальном уровне; на другом социальном уровне это явление может быть архаизмом или входить в устно-разговорный стандарт. В каждом высказывании, содержащем слэнгизмы, следует усматривать действие не одного, а нескольких факторов; использование именно данных слэнговых лексем или закономерностей, степень насыщенности

<sup>5</sup> Фактический языковой материал см.: М. М. Маковский, указ. соч., стр. 108—111. Возникновение слэнга некоторыми авторами относится к глубокой древности (вполне понятно, что языковой статус слэнга, его соотношение с языковым стандартом в различные эпохи развития английского языка было неодинаковым). См.: В. von Lindheim, *Traces of colloquial speech in Old English, «Anglia», LXX, 1, 1954*; A. M. Bate, *Slang from Shakespeare*, London, 1931; J. R. Ware, *Passing English of the Victorian era. A dictionary of heterodox English, slang, and phrase*, London, 1909; J. S. Farmer, W. E. Henley, *Slang and its analogues past and present, I—VII*, London, 1890—1904; W. Matthews, *The vulgar speech of London in the XV—XVII centuries, «Notes and queries», 1937.*

<sup>6</sup> См. В. М. Жирмунский, указ. соч., стр. 97—98, 139.

<sup>7</sup> Ср.: Н. Kurath, *Interrelation between the regional and social dialects, «Preprints of papers for the IX International congress of linguists, Cambridge (Mass.), 1962*; J. K. Drake, *The effect of urbanization on regional vocabulary, «American speech», XXXVI, 1, 1961*; C. L. Barnhart, *Establishing and maintaining standard patterns of speech, сб. «Readings in applied English linguistics», New York, 1958*; J. S. Kenyon, *Cultural levels and functional varieties of English, там же*; R. I. McDavid, *Some social differences in pronunciation, там же*; F. Oberfalzer, *Argot a slangy, «Československa vlastivěda», III — Jazyk, Praha, 1934.*

высказывания слэнгизмами на определенных языковых уровнях обычно обусловлены не только социальными, территориальными, возрастными, образовательными, стилистическо-экспрессивными [в частности, тем или иным «уровнем» устной речи (диалог, интимный, фамильярный разговор, доклад и т. п.) в его территориально-социальном преломлении] или какими-либо другими факторами, а в с е й с о в о к у п н о с т ь ю этих моментов, действующих одновременно (конечно, в разной степени: преобладание или слабое проявление одного или нескольких из этих факторов может как усилить, так и ослабить слэнговый элемент)<sup>8</sup>. Именно в этом, в частности, состоит функциональное отличие слэнга от прочих периферийных лексических слоев (жаргонизмов, профессионализмов и т. д.). Отметим, наконец, что отнесение того или иного языкового явления к слэнгу в каждом конкретном случае зависит от его несовпадения или совпадения с соответствующим явлением данного территориально-социального диалекта.

Слэнговая лексика, в большей или меньшей мере присущая речи всех слоев общества, может выступать в различном грамматическом и фонетическом оформлении, начиная от литературно-разговорного стандарта и кончая различными территориально-социальными фонетико-грамматическими вариантами; применение слэнговой лексики никак не связано с необходимостью использовать строго определенные фонетические и грамматические закономерности того или иного территориально-социального уровня. С другой стороны, применение определенных фонетических и грамматических вариантов (литературно-разговорных, территориально-социальных) никак не влечет за собой соответственно большее или меньшее использование слэнговой лексики, причем любая из названных фонетических и грамматических норм может оформлять не только слэнгизмы, но и жаргонизмы, профессионализмы, вокабулы литературного стандарта и т. д. Вообще в реальной разговорной практике вряд ли можно представить себе чисто слэнговую лексику, используемую вне связи с литературной, вне связи с жаргонизмами, профессионализмами и прочими лексическими слоями. При использовании слэнга обычно в большей мере пользуются фонетическими и грамматическими нормами соответствующих территориально-социальных диалектов.

Нет сомнения в том, что особых слэнговых фонетики и грамматики<sup>9</sup>, которые могли бы совместно с лексическими «слэнгизмами» образовать целостную систему, не существует. Вместе с тем нельзя упускать из виду использование в английской устно-разговорной речи системы определенных фонетических и грамматических элементов, которые по своему происхождению, языковому статусу, а также в функциональном отношении представляют известную параллель лексическим слэнгизмам. Речь идет о следующих явлениях. В области грамматики: тавтологическое образование степеней сравнения прилагательных; образование двойных форм мн. числа имен существительных; недифференцированное использование личных и притяжательных местоимений, а также номинативной и объектной форм личных местоимений; образование прошедшего времени сильных глаголов по типу слабых; использование флексии *s* во всех лицах ед. и мн. чисел настоящего времени глагола; употребление форм *past participle* вместо форм прошедшего времени и форм прошедшего времени вместо *past participle*. В области фонетики: опускание начального [h] и, наоборот, прибавление [h] к словам, начинающимся с гласной; замена [v]

<sup>8</sup> Ср. F. K. Sechrist, The psychology of unconventional language, «The pedagogical seminary», XX, 4, 1913.

<sup>9</sup> Ср.: J. Mauchon, Le slang. Lexique de l'anglais familier et vulgaire, Paris, 1923; J. Reusch, Die alten syntactischen Reste im modernen Slang, Münster, 1894.

на [w] и наоборот; произношение [e] как [i]; произношение [ə:] как [ʌ] и т. д.<sup>10</sup>

Указанные слэнговые явления, общие в современном английском языке для большинства территориально различных социальных слоев, сложились на основе фонетических и грамматических норм целого ряда ареально не совпадающих местных говоров и, подобно лексическим слэнгизмам, в живой речи используются лишь в совокупности с фонетическими и грамматическими нормами устно-разговорного стандарта.

Ниже будет сделана попытка сравнительно-исторической характеристики слэнга в терминах а р е а л ь н о й л и н г в и с т и к и (установление характера, лингво-ареальной направленности и точек пересечения исторически сложившихся и наиболее типичных в настоящее время моделей-изоглосс слэнга в пределах английской языковой области).

М о д е л ь 1. Диалектные слова, не зарегистрированные словарями ни в слэнге метрополии, ни в литературном стандарте Великобритании, но до сих пор живые в английских территориальных говорах, манифестируются (иногда с определенным семантическим смещением) лишь в различных региональных вариантах слэнга (в наиболее авторитетных а н г л и й с к и х словарях такие слова либо вовсе не приводятся, либо даются с пометами U. S. slang, Austr. slang, Canadian slang и т. д.)<sup>11</sup>. Такие изоглоссы являются однонаправленными (необратимыми): американские, канадские и другие местные диалекты не являются источником пополнения английского слэнга или территориальных диалектов в Великобритании.

Приведем некоторые примеры. Слово *bail* в двух значениях: «ручка» (чайника, фонаря и т. д., ср. дат. *bøile*, норв., швед. диал. *býgla*, *bögel*) и «уклоняться от работы; отделяться от кого-либо, смыться» (иногда в форме *beel*, ср. совр. англ. диал. *birl* и нортумб. *birliga* «haurire»), засвидетельствованное в Северной Америке еще в XVII в. и до сих пор типичное для американского слэнга, широко распространено в северных графствах Англии (особенно в Йоркшире, Норфолке и др., ср. EDD, I, стр. 132). Другой семантический вариант того же слова, а именно значение «оставлять» (а также употребление этого слова как отрицательной частицы), также типичный для современных английских диалектов, специфичен для австралийского слэнга (см. В, стр. 48). Ср. в англ. диалектах (EDD, I, стр. 132): «When he wanted'em to stop „b a i l u p, d-yer“ would come a

<sup>10</sup> Ср.: L. M a t z k ó, Characteristic features of English folk speech, «Acta Universitatis Szegediensis. Nyelv és irodalom, 7/8—8/1, Néprajz és nyelvtudomány», 5—6, Szeged, 1962; J. W r i g h t, English dialect grammar, Oxford, 1960; F. F r a n z m e y e r, Studien über den Konsonantismus und Vokalismus der neuenglischen Dialekte, Strassburg, 1906; ср., с другой стороны, J. V a c h e k, Some geographical varieties of present-day English, Praha, 1960; A. G. M i t c h e l l, The pronunciation of English in Australia, Sydney, 1955; и др.

<sup>11</sup> В настоящей статье использованы следующие лексикографические работы: W. W r i g h t, English dialect dictionary, I—VI, Oxford, 1898—1905 (далее — EDD); H. W e n t w o r t h, American dialect dictionary, New York, 1944; E. P a r t r i d g e, A dictionary of slang and unconventional English, I—II, London, 1961 (далее — P); L. V. B e r r e y, M. v a n d e n B a r k, The American thesaurus of slang, New York, 1956 (далее — BBT); H. W e n t w o r t h, Dictionary of American slang, New York, 1960; M. N i c h o l s o n, American English usage, Oxford, 1957; W. A. C r a i g i e, J. R. H u l b e r t, A dictionary of American English, Chicago, I—1938, II—1940, III—1942, IV—1944 (далее — CHAE); M. M. M a t h e w s, A dictionary of Americanisms on historical principles, I—II, Chicago, 1951; S. J. B a k e r, Popular dictionary of Australian slang, Sydney, 1940; е г о ж е, New Zealand slang, Sydney — London — Wellington, 1940; е г о ж е, The Australian language, Sydney, 1946 (далее — В); E. E. M o r r i s, Austral English dictionary, London, 1898; K. L e n t z n e r, Colonial English, London, 1891; «The Oxford English dictionary»; I—XII, 1933; H. W y l d, A new English dictionary on historical principles, I—X, London, 1888—1933; N. W e b s t e r, A new international dictionary of the English language, Springfield, 1961; W. F r e e m a n, A concise dictionary of slang, London, 1955 (см. также примеч. 13).

deal quicker and more natural-like than „stand“» (Bolderwood, Robbery, III, 14).

Слово *cobber* (ср. в англ. диалектах — EDD, I, стр. 675: *to cob* «to take a liking to») в значении «друг» манифестируется в австралийском слэнге, откуда оно попало в США, хотя в американском слэнге употребление этого слова весьма ограничено.

*Gloom* «хватать, воровать», согласно Г. Уэнтворту, проникло в американский слэнг из американских местных диалектов (Небраска, Коннектикут) в 1907 г.; являясь одним из наиболее распространенных слов современного американского слэнга, оно соотносится с английским диалектным *glam* в том же значении (ср. EDD, II, стр. 635). Примеры употребления в американском слэнге: «We discovered that our hands were gloved. Where'd ye gl a h m ' e d, — I asked» (J. London, The road); «Under the pretence of glokking a diamond from the strongbox of rascally broker...» («New Yorker», March 3, 1951).

Слово *graft* «работа» (в австралийском слэнге, ср. В, стр. 117, 284, 311); «взятка» (в американском слэнге) соотносится с соответствующим словом в современных английских местных диалектах (особенно в графстве Йоркшир, ср. EDD, II, стр. 702: «Well, I've got some graft to do now»). Пример на американское слэнговое употребление: «Taxpayers in cities the country over... have been subjected... to this graft-breeding form of municipal mismanagement by courtesy called government» (СНАЕ).

Прототипом слова *gizzard* «сердце», употребляемого, по Э. Партриджу, в австралийском слэнге в 1916 г. (ср. Р, стр. 331), безусловно являлось английское диалектное (Ланкашир, Йоркшир) *gizzard* в выражениях *to get a gizzard of one's own*, *to grumble (to squeak) in the gizzard* (ср. EDD, II, стр. 629). Слово *lam* в значении «сбежать, „оторваться“» восходит к английскому диалектному *to lam* «to strike, to beat»; «to run quickly» [ср. EDD, III, стр. 510: «I'll lam thee if the bain't quiet»; в Йоркшире: «Whear's tuh lamming?». Ср. синонимы *lam* в американском слэнге: *beat it*, *break it*, *cut (along)*].

Слово *mog* «to move, to walk», характерное в настоящее время как для американского слэнга, так и для американских диалектов, восходит к соответствующей лексеме английских территориальных диалектов (Йоркшир, Дарбишир, Ланкашир и др.; ср. EDD, IV, стр. 142: «Now, m o g off fur the cows or they oonna be out o' the foud by six»). В английском слэнге употребляется этимологически и семантически не связанная с разбираемым здесь словом лексема *mog* «a cat» (ср. диал. *moggy* — ласкательное название различных животных).

Слово *yegg* «взломщик, убийца» (из англ. диал. *yack*, *yake*, *yek*, *yark*, *york* — Шотландия, Нортумберланд, Йоркшир, Дарби и др. — «схватить; взломать»; ср. EDD, VI, стр. 568) весьма употребительно в американском слэнге. В австралийском слэнге означает просто «бездельник»: «Oh, he's a yegg, mucking about all the time» (В, стр. 207).

Изолексы, входящие в модель 1, иногда «возвращаются» в слэнг метрополии, хотя в этих случаях слова указанного типа обычно либо являются весьма нестабильными элементами лексики, либо малоупотребительными лексемами, как правило, заменяемыми в живой речи соответствующими синонимами английского слэнга (ср., например, *cobber*, впервые зарегистрированное в английском слэнге в 1900 г., или *yegg*, зарегистрированное в Англии в 1931 г.). Разбираемый круг слов тем более не проникает в английский литературный стандарт, весьма консервативный и трудно поддающийся внешним влияниям.

Различные ареальные стандарты обнаруживают неодинаковые возможности впитывания и усвоения ареально дифференцированных слэнговых

элементов. В диахронном плане здесь важно отметить прежде всего следующее обстоятельство. В формировании американского устного литературного стандарта большую роль играли не только элементы английской литературной нормы XVII в., но и лексические элементы английского слэнга и диалектной речи той эпохи (как известно, первые американские поселенцы происходили из самых различных графств Англии)<sup>12</sup>. Многие специфически американские слова, вошедшие в американский стандарт в ранний период его формирования, никогда не были литературными в английском языке и фиксируются в первых слэнговых словарях, появившихся в Великобритании (Ф. Грос, А. Баррер и Ч. Леланд, Дж. Хоттен и др.)<sup>13</sup>. Таковы, например, *chop* «excellent», *dude* «person who thinks much of his clothes», *dimber* «neat, pretty», *faze* «embarras» (1845), *flunk* «провалиться на экзамене», *gouge* «cheat» (1845), *scat* «be off», *shoat* «a pig», *swap* «to change», *twig* «to understand», *wangle* «to manage» и многие другие. В США до сих пор продолжают быть живыми и продуктивными слова «классического» английского слэнга, вышедшие из употребления несколько столетий тому назад (например *dimber*, *shoat* и др.), слэнгизмы, употребившиеся еще Шекспиром и его современниками.

Американский слэнг занимает особое положение среди прочих ареальных вариантов слэнга. Одной из характерных его черт является постоянное конвертирование, «переключение» лексем из американских территориальных диалектов в слэнг. Генетически американские диалекты, в отличие от английских, потенциально содержат все предпосылки для передвижения тех или иных своих компонентов на уровень слэнга: подобно «классическому» слэнгу, они представляют собой готовый конгломерат лексических элементов различных английских территориальных диалектов. Именно этим, по-видимому, можно объяснить тот факт, что отдельные элементы американских диалектов, до определенного времени удерживаемые в территориальных рамках, легко конвертируются в слэнг. В связи с этим строй американского слэнга намного подвижнее, чем английского, где в настоящее время такое конвертирование практически не наблюдается. Примеры на конвертирование слов из американских диалектов в слэнг: слово *glom*, по Г. Уэнтворгу, до 1907 г. бытовало лишь в американских диалектах, а затем перешло в слэнг; американским диалектам принадлежали и такие распространенные слова американского слэнга, как *tote* «нести» (конвертирование в слэнг зарегистрировано в первые столетия английской колонизация Америки), *bail* (конвертирование зарегистрировано в 1622 г.) и т. д.

Английский слэнг обычно слабо проникает в литературный (устный и письменный) стандарт Великобритании. По свидетельству «Британской энциклопедии», в среднем на протяжении веков слэнговые слова составляли не более 2% в литературном английском языке<sup>14</sup>. Большинство слэнговой лексики в Великобритании существует в течение ряда столетий, не

<sup>12</sup> Ср.: C. Brooks, The relation of the Alabama-Georgia dialect to the provincial dialects of Great Britain, Louisiana University press, 1935; A. W. Read, Lexical evidence from folk epigraphy in Western North America, Paris, 1935; H. Kurath, Handbook of the linguistic geography of New England, Providence, 1939; егo же, A word geography of the Eastern United States, Ann Arbor, 1949; J. A. Hill, Die Volkssprache im Nordosten der Vereinigten Staaten von Amerika, «Giessener Beiträge zur Erforschung der Sprache und Kultur Englands und Amerikas», III, 2, 1927; M. M. Matthews, The beginnings of American English, Chicago, 1931.

<sup>13</sup> См.: F. Grose, A classical dictionary of the vulgar tongue, London, 1788; J. Hotten, The slang dictionary, etymological, historical and anecdotal, London, 1874; A. Barrère, Ch. Leland, A dictionary of slang, jargon and cant, 1—2, London, 1897.

<sup>14</sup> См. «Encyclopaedia Britannica», XX, стр. 767.

проникая в общенациональный стандарт, но и не выходя из употребления<sup>15</sup>. Это резко отличает соотношение слэнга и литературной нормы в Англии и США, где достаточно укрепившиеся слэнговые элементы с большой легкостью входят в литературно-разговорный стандарт и нередко приобретают права гражданства в письменно-литературной норме (хотя такие слова часто очень скоро выходят из употребления и заменяются синонимами-неологизмами). Из сказанного становится понятным тот факт, что типичные американизмы в английском отражаются обычно на уровне слэнга, а слова английского слэнга нередко манифестируются не только в американском слэнге, но и в литературном (устном и письменном) языке<sup>16</sup>.

Модель 2. 1) Одни и те же лексемы обнаруживают неодинаковую дистрибуцию в пределах повятных сеток ареальных вариантов слэнга. Интересно, что это явление нередко наблюдается на фоне аналогичных лексем (но с иной семантикой) в общелитературном языке. Здесь прежде всего надо указать на такие упоминавшиеся выше слова, как *graft* и *bail*.

*Gaff* в общелитературном английском языке означает «багор». В американском слэнге, а отсюда частично и в австралийском и новозеландском слэнге это слово имеет следующие значения (последние были характерны для английского слэнга в метрополии несколько веков назад и в настоящее время остаются уделом территориальных диалектов Великобритании): «комната, жилище; оскорбление; хвастовство; обман; что-либо тяжелое» (*to stand the gaff*). Ср. «Burk will show you where you may buss a couple of prads, and fence them at Abingdon gaff» (J. Poulter, *Discoveries*, 1753); «the drop covs maced the joskins at the gaff» («Lexicon Balatronicum», 1811).

2) Одни и те же семемы манифестируются в различных ареально ограниченных слэнговых лексемах<sup>17</sup>. Ср. выражение одних и тех же понятий в различных ареальных вариантах слэнга: «еда»: амер. *grub*, австрал. *tucker*, англо-индийск. *scoff*; «трус»: австрал. *squib*, амер. *funk*; «натравлять (собаку) на кого-либо»: амер. *egg up*, *kid on*, австрал. *sool on*; «плохой»: австрал. *bodger (sope)*, амер. *punk*, *dilly*; «кошка»: австрал. *fummy* (ср. диал. *fomard*), амер. (англ.) *pussy*; «паразиты (насекомые)»: австрал. *wogs*, амер. *coots*, *chats*, *flats*. В связи с разбираемым здесь случаем интересно рассмотреть одну и ту же фразу с преимущественным употреблением австралийского и американского слэнга<sup>18</sup>: ср. «a bonzer sheila and a dinkum bloke got stoushed by a push before the Johns mooched along. It was a fair cow» (австрал. слэнг) и «a knock-out sketch of a hot baby and an ace-high sport got beat up by some tough eggs before the cops woke up. It was a dirty meal» (амер. слэнг), что на литературном английском языке означает: «a fine girl and a nice boy were attacked by ruffians and severely beaten before the police arrived at the scene. The assault was an outrage».

Модель 3. Данная территориальная разновидность слэнга контактирует преимущественно с определенным ареальным вариантом (или вариантами) слэнга и не взаимодействует (или слабо, опосредствованно взаимодействует) с другими.

Намечается своеобразная иерархия возможностей взаимной интерференции отдельных ареальных вариантов слэнга. Наибольшее влияние (не-

<sup>15</sup> Ср.: К. Стефанов, *Англиската простонародна реч*, София, 1927 («Годишник на Софийския ун-т. Ист.-филол. фак-т, XXIII, 3»), особенно стр. 38 и сл.

<sup>16</sup> Ср.: Th. Pyles, *Words and ways of American English*, New York, 1952; G. P. H. Krap, *The English language in America*, I—II, New York, 1960; H. Galinsky, *Die Sprache des Amerikaners*, Heidelberg, I—1951, II—1952; H. L. Menckel, *The American language*, New York, 1936.

<sup>17</sup> О диалектном и двасемном анализе на материале славянских языков см.: Н. И. Толстой, *Из опытов типологического исследования славянского словарного состава*, ВЯ, 1963, 1.

<sup>18</sup> Приводится по Н. Кембеллу из журнала «Life digest», August, 1938.

посредственное или опосредствованное) на остальные территориальные варианты слэнга на всех уровнях оказывает американский слэнг. Современный английский слэнг усвоил огромное количество американских слэнговых слов и выражений (в том числе и таких, которые бытовали в Англии несколько веков назад и в настоящее время сохранились только в американском слэнге; ср., например, *guy, dilly, scat* «be off» и др.), а также широко использует: 1) типичную для американского слэнга разветвленную сеть словообразования при помощи специфически американских суффиксов<sup>19</sup> и 2) вставное словообразование, возникшее на почве американского слэнга. Следует отметить, что американские элементы в английском языке (особенно вокабулы американских территориальных диалектов, проникшие в английский язык через американский слэнг) в большинстве своем не являются стабильными и, как правило, через некоторое время выходят из употребления, тогда как исконно английские слэнговые слова существуют веками. Обратное влияние исконно английской слэнговой лексики на американскую в настоящее время практически не наблюдается. В австралийском варианте слэнга, как указывает С. Бейкер (В, стр. 288), имеется более 500 американских заимствований, т. е. около 15% всего слэнгового словаря Австралии (например, *brash, bloke, beloney, cinch, jive, jane, nerts, slick, stooge, scam* и др.); по данным Э. Партриджа, 40% австралийской слэнговой лексики — местного происхождения, 35% — заимствовано из Сockney и 25% — американизмы<sup>20</sup>. При этом австралийский слэнг оказывает большее влияние на новозеландский, чем, скажем, на англо-индийский или американский, а последний больше влияет на канадский, чем на австралийский, и т. д.

Интерференция различных ареальных вариантов слэнга ни в коей мере не нарушает их специфики, являясь необходимым фактором обогащения каждой разновидности. При перемещении элементов, присущих одному ареальному варианту слэнга (в силу социальной, экономической или территориальной близости, а также в связи с большей или меньшей общностью тех или иных разновидностей слэнга), в другой территориальный вариант они могут использоваться с иным семантическим наполнением; при этом такие элементы либо выходят из употребления в исходном территориальном варианте, либо продолжают существовать и развиваться в нем независимо от возникшей ареальной параллели. Так, *leary* в американском слэнге употребляется в значениях «испорченный, поддельный (товар); пьяный; бдительный, знающий; стеснительный» (см. ВВТ, 7,2; 106,7; 148,9; 154,6; 160,3; 304,6; 472,10; 497,4; 505,1). В австралийском слэнге та же лексема применяется в значении «напыщенно и бесцветно одетый; вульгарный; низкий» (ср. В, стр. 25, 114, 119, 265, 286). В английских диалектах *leary* означает «to sneak about with a shy and silly expression, as if afraid to look one's neighbor in the face» (ср. EDD, IV, стр. 567).

С другой стороны, некоторые лексические элементы отдельных территориальных разновидностей слэнга обнаруживают относительную стабильность, являясь неотъемлемым признаком того или иного ареального варианта слэнга. Так, ни в одной разновидности слэнга, кроме австралийской и частично новозеландской, мы не находим таких слов, как *to bash* «делать», *bodger* «плохой», *to bludge* «обманывать», *brumby* «дикая

<sup>19</sup> Ср. Н. Kozioł, *Zur Wortbildung im amerikanischen Englisch*, «Anglistische Studien. F. Wild zum 70. Geburtstag», Wien — Stuttgart, 1958.

<sup>20</sup> См. E. Partridge, *Slang today and yesterday*, London, 1935, стр. 286; ср. также: J. Sherwood, S. Gerson, *The vocabulary of Australian English*, «Moderna språk», LVII, 1, 1963.

лошадь», *cobber* «друг», *sope* «плохой», *gin* «женщина», *jake* «хороший», *ridge* «отличный», *to scale* «ехать без билета», *snork* «сосиска» (в новозеландском варианте — «ребенок»), *squib* «трус», *ziff* «борода», *komaty* «dead» (ср. в языке маори *ka mate*); *hoot* «шoney» (маори *hutana*) и др. Нигде, кроме англо-индийского варианта английского слэнга, не встречаются слова *chit* «письмо», *chicken* «вышивка», *to chull* «спешить», *to deck* «смотреть», *dash* «дар», *derzy* «портной», *teek* «точный». Только американскими (в пределах США) являются такие, например, слэнговые слова, как *saucе* «овощи; овощное блюдо (особенно приготовленное с мясом)», *tote* «нести», *bob* «незрелый», *gripe* «вех», *grift* «нечестно заработанные деньги», *gunk* «помада».

Таковы, как нам представляется, основные линии взаимодействия ареальных вариантов слэнга и их влияния на местные литературные стандарты. Лингвистическая карта современного слэнга в пределах английской языковой области представляет собой продукт исторически обусловленного взаимодействия одинаковых по структуре языковых систем с более поздними по времени своего возникновения ареально ограниченными образованиями иной структуры. Несмотря на определенную общность, ареальные варианты слэнга в своей совокупности не образуют единой системы; изменения на том или ином уровне какой-либо региональной разновидности слэнга, как правило, не отражаются на остальных местных вариантах «слэнга» и на соответствующем языковом стандарте. Постоянное межрегиональное контактирование и взаимная интерференция языковых элементов слэнга — под влиянием местных диалектов английского языка в США, Канаде и Австралии, а также в связи со смещениями с языками другого строя (например, с индийскими в Индии, с различными европейскими языками в США) — обычно влекут за собой ареально различное (количественно и качественно) распределение закономерностей слэнга.

Общеанглийский языковой стандарт не совпадает полностью с прочими регионально ограниченными языковыми стандартами (американским, австралийским и др.). Элементы, которые являются нормой в стандартном английском языке США, могут быть слэнгом для англичан; наоборот, английские слэнговые элементы могут быть неотъемлемой частью языкового стандарта США, Австралии, Канады и др. Вследствие этого и соотношение того или иного ареального варианта слэнга с местной языковой нормой не является однородным и одинаковым по своей английской языковой области: тот или иной территориально ограниченный стандарт в силу различных причин языкового, этнического и исторического характера может обладать большей или меньшей степенью проницаемости для местного или периферийного варианта слэнга. С другой стороны, различные региональные разновидности слэнга могут обнаруживать неодинаковые возможности взаимного контактирования (селективность), и кроме того, неодинаковую стабильность своих конститутивных элементов.

При дальнейшем исследовании вопроса «нелитературных языков» было бы интересно провести сопоставление особенностей английского слэнга (я различных его территориальных разновидностей) с подобными же явлениями в языках другого строя. Такой анализ дал бы возможность наметить некоторые общие свойства и закономерности этих явлений в строе языка, как правило, либо вовсе оставляемые без внимания, либо смешиваемы с языковыми пластами иного рода (жаргонные, арготические, профессиональные лексические слои и под.<sup>21</sup>).

<sup>21</sup> Отметим, в частности, что так называемые «отраслевые слэнги» (*sports slang, music slang, naval slang* и т. д.), в отличие от *general slang*, не являются слэнгом в нашем понимании этого термина и по сути дела представляют собой профессиональные жаргоны.

А. М. ЩЕРБАК

О МЕТОДИКЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ЯЗЫКА

I. Хорошо известно, что вплоть до настоящего времени нет строгой единообразной методики морфологического описания языка и что широко используемые приемы обработки грамматического материала не обеспечивают достаточно высокой точности и объективности получаемых результатов. Показательна, например, классификация частей речи, производимая с одновременным учетом логико-семантического, синтаксического и морфологического признаков или на основе преимущественного выделения одного из них, как правило, логико-семантического, который не является чисто языковым признаком. Отсутствие единого объективного критерия систематизации языковых фактов в этом плане обуславливает наличие нескольких классификационных схем и порождает бесконечные споры по вопросу о целесообразности выделения той или иной части речи. При этом в качестве основных аргументов нередко выступают апелляции к здравому смыслу, и оценка той или иной схемы становится весьма субъективной. Следует также обратить внимание на неопределенность описания частных грамматических элементов, которое не проводит четкой границы между обозначаемым и обозначающим. Можно было бы привести и другие факты, свидетельствующие о тех или иных методических погрешностях, однако в этом нет необходимости, так как недостатки традиционной методики в специальной литературе рассматривались неоднократно.

Выдающуюся роль в формировании критического взгляда по этому вопросу и в поисках новых, более точных, приемов морфологического описания языка сыграл Ф. Ф. Фортунатов<sup>1</sup> и та группа его немногочисленных учеников и последователей, которую именуют обычно московской школой, например, В. Поржезинский, особо подчеркивавший необходимость разграничения неоднородных группировок<sup>2</sup>. В более резкой форме критика указанных недостатков выражена у Л. Ельмслева<sup>3</sup>.

Из всего сказанного не следует, что традиционная грамматика не имеет никакого положительного значения и полностью изжила себя. Однако ясно, что методы, которыми она пользуется, не лишены серьезных недостатков и что поиски новых приемов морфологического описания языка не только оправданы, но и совершенно необходимы.

II. Выбор и оценка методических приемов тесно связаны с определением характера и границ исследуемого объекта и решением вопроса об исходном основании описания. В самом широком смысле объектом лингвистического исследования является, конечно, язык, в котором мы можем различать то, что представляет собой его собственную материю, т. е. план выражения, и то, что является и собственным и внешним для него, а именно значение. Различение в языке двух планов не опирается на какую-либо теоретическую концепцию, отрицающую связь обозначающего с

<sup>1</sup> См., например: Ф. Ф. Фортунатов, Сравнительное языковедение, в его кн. «Избранные труды», I, М., 1956, стр. 166; е т о ж е, О преподавании грамматики русского языка в средней школе, там же, II, М., 1957, стр. 446.

<sup>2</sup> В. Поржезинский, Введение в языковедение, 4-е изд., М., 1916, стр. 147.

<sup>3</sup> L. N j e l m s l e v, Principes de grammaire générale, København, 1928, стр. 13.

обозначаемым. Оно является лишь исследовательским приемом, позволяющим представить язык как формальную структуру, используемую для передачи заданной совокупности значений.

Что касается исходного основания морфологического описания, то об этом можно высказать следующие соображения. Значение, или обозначаемое, не имеет строго соотносенных четких границ, и возможность его строгого формулирования в каждом конкретном случае ограничена. Поэтому семасиологический подход недостаточно объективен, неудобен и не удовлетворяет целям экономического и точного изображения формальной структуры. Иначе обстоит дело с использованием в качестве отправной точки языковой формы. Последняя представляет собой набор определенных величин, которые можно охарактеризовать с точки зрения их соотносимости (т. е. в парадигматическом плане) и со стороны последовательности расположения (в синтагме). Это обстоятельство обеспечивает возможность объективной оценки всех суждений, опирающихся на анализ самой формы. Таким образом, при морфологическом исследовании и описании языка целесообразнее исходить из плана выражения. Разумеется, различные аспекты взаимосвязи формы и содержания могут исследоваться и исходя из плана содержания, однако задачи такого исследования должны быть определены особо.

При выборе конкретных приемов морфологического описания языка необходимо учитывать функциональное и структурное своеобразие морфологических единиц. Морфемы — элементарные единицы морфологического уровня языка, обладающие главным образом функцией обозначения (*les unités significatives*). Так, о любой морфеме можно сказать, что она что-то обозначает и что ей соответствует определенный отрезок плана содержания. Морфемы не лишены и дифференциальной функции, ср. например, противопоставление именных и глагольных основ, так называемых нулевых и материально выраженных форм при выражении числа, падежа, вида, залога и других грамматических значений.

В тесной связи с функциональным своеобразием морфем находятся особенности их синтагматической и парадигматической структуры. Морфемы строго контекстуальны: они располагаются в потоке речи в определенной последовательности и характеризуются наличием определенных окружений. Возьмем, например, узб. *tâsh-lar-va* «камням». Морфема *-lar* (мн. число), выступающая в этом слове, никогда не может быть поставлена ни после морфемы *-va* (дат. падеж), ни перед морфемой *tâsh* (именная основа), а возможность присоединения к морфеме *tâsh* морфемы *-di* (прошедшее категорическое) или *-sa* (условное наклонение) вообще исключена. Тенденция иметь строго определенное окружение и выступать в строго определенной последовательности лежит в основе распределения морфем по парадигматическим рядам и классам, ср. класс именных форм, класс глагольных форм и т. д.

Учет специфических особенностей морфемы, названных выше, позволяет думать, что для морфологического описания языка может быть достаточно полезным дистрибутивный анализ. Дистрибуция в традиционной трактовке — структура относительного месторасположения дискретных элементов, которой, в частности, обладает и морфологическая система языка. Дистрибуция каждой отдельной морфемы представляет собой совокупность всех морфемных окружений, в которых она выступает или, иначе говоря, совокупность всех ее положений в отношении других морфем. Идентичность дистрибуции разных морфем свидетельствует об их принадлежности к одному парадигматическому ряду, а идентичность парадигматических рядов может рассматриваться как признак принадлежности к одному грамматическому классу.

III. Не задаваясь целью в настоящей статье показать все приемы и аспекты применения дистрибутивного анализа, мы ограничимся демонстрацией его в самых общих чертах лишь в плане установления основных грамматических типов или классов в современном узбекском языке. Понятно, что подробное описание морфем и их вариантов (алломорф), а также условий, в которых выступают последние, не является нашей целью<sup>4</sup>.

Первый этап дистрибутивного анализа в морфологии — сегментация и интеграция, т. е. выделение в пределах слова (границы которого устанавливаются также при помощи приемов дистрибутивного анализа) всех морфологических сегментов и, если это нужно, всех суперсегментных элементов; применение любой процедуры в плане выражения должно как бы дублироваться применением соответствующей процедуры в плане содержания.

Возьмем любое, обычное для узбекского языка, сочетание морфем в пределах одного слова, например, *tâsh-îm-ba* «моему камню». Пользуясь приемами усечения и подстановки, мы можем выделить в нем три морфемы (*tâsh-îm-ba*). Возможность добавления других морфем в препозиции *tâsh-îm-ba* отсутствует. Совершенно исключена возможность добавления и в крайнее конечное положение. Дополнительные морфемы могут быть вставлены только внутри заданного морфологического типа, например:

<i>tâsh-îm-ba</i>	«моему камню»
<i>tâsh-lar-îm-ba</i>	«моим камням» и, наконец,
<i>tâsh-qa-lar-îm-ba</i>	«моим камешкам»
A    4    3    2    1	
└	
[B + (IV + III) + Y]	

Анализ приведенных форм показывает, что ни одна из морфем справа, вплоть до последней (A), не обладает возможностью самостоятельного существования и может быть опущена в любой последовательности. Напротив, последняя морфема в определенных условиях функционирует самостоятельно, и изъятие ее недопустимо. Следовательно, в пределах рассматриваемой формы выделяются два компонента, основной и зависимый (в терминах дескриптивной лингвистики: ядро и слутник). Нетрудно заметить, что основной компонент — лексическая морфема, зависимый же компонент — грамматическая морфема или совокупность этих морфем.

В плане элементарной дистрибуции правило разграничения лексической и грамматических морфем может быть сформулировано так: лексическая морфема расположена в начале слова, грамматические морфемы в конце или: лексическая морфема предшествует грамматическим<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> В настоящее время известно небольшое количество работ, в которых исследование и описание отдельных тюркских языков производится с применением новейших методов; см., например: С. F. Voegelin, M. E. Ellinghausen, Turkish structure, «Journal of the American Oriental society», 63, 1, 1943; Ch. E. Bidwell, A structural analysis of Uzbek, «American council of learned societies. Program in Oriental languages», Publications series B — Aids, 3, Washington, 1955. В последней работе, непосредственно касающейся узбекского языка и формулирующей новую точку зрения по некоторым вопросам грамматики узбекского языка, собственные наблюдения автора, однако, завуалированы сведениями, почерпнутыми из специальной литературы.

<sup>5</sup> Особого внимания в связи с этим правилом заслуживают разного рода служебные слова и частицы, которые состоят из одной морфемы, являющейся скорее грамматической, чем лексической. Как и грамматические морфемы, служебные слова и частицы находятся в постпозиции к слову, которое они обслуживают. Таким образом, здесь мы, по существу, имеем дело и с лексической, и с грамматической морфемами.

Морфема первого ряда (счет ведется справа налево) выражает падежное значение, второго ряда — значение принадлежности, третьего ряда — значение числа, четвертого — качественные оттенки или особые значения лексической морфемы [между морфемой четвертого ряда и лексической морфемой иногда выступает так называемая конвертирующая морфема, ср.  $B + IV + III + y = A$ , где  $y$  — конвертирующая морфема, преобразующая глагольную основу в именную,  $B$  — исходная глагольная основа, а  $IV$  и  $III$  — морфемы вторичных (залоговых и отрицательной) глагольных основ, от которых образуется имя].

Порядок расположения грамматических морфем, образующих структуру рассматриваемого типа, последовательно фиксированный. Каждая из предыдущих морфем (начиная с первой) может занимать место любой последующей при полном исключении этой последней. Взаимозаменяемость грамматических морфем разных рядов (первого, второго, третьего и четвертого), например, постановка морфемы *-ба* на место *-лар*, а *-лар* на место *-ба*, не допускается.

Следующий этап — использование приема замены морфем для определения состава форм внутри каждого ряда. Так, для первого ряда оказываются возможными восемь разных форм <sup>6</sup>:

<i>tāsh-cha-lar-īm-0</i>	«мой камешки»
<i>tāsh-cha-lar-īm-niŋ</i>	«моих камешков»
<i>tāsh-cha-lar-īm-ŋa</i>	«моим камешкам»
<i>tāsh-cha-lar-īm-ni</i>	«мои камешки»
<i>tāsh-cha-lar-īm-da</i>	«на моих камешках»
<i>tāsh-cha-lar-īm-dan</i>	«от моих камешков»
<i>tāsh-cha-lar-īm-ŋacha</i>	«до моих камешков»
<i>tāsh-cha-lar-īm-dāk</i>	«подобно моим камешкам»,

для второго — пять, ср.

<i>tāsh-cha-lar-īm</i> <sup>7</sup>	«мой камешки»
<i>tāsh-cha-lar-iŋ</i>	«твой камешки»
<i>tāsh-cha-lar-i</i>	«его (их) камешки»
<i>tāsh-cha-lar-imiz</i>	«наши камешки»
<i>tāsh-cha-lar-iŋiz</i>	«ваши камешки»

для третьего — два, см. *tāsh-cha-0* «камешек» — *tāsh-cha-lar* «камешки»; для четвертого — несколько десятков [*-та*, *-рāk*, *-dāsh*, *-ча*, *-чи*, *-lik*, *-(i)niŋi*, *-siz* и т. д., причем иногда морфема четвертого ряда бывает комплексной, например, *-chilik* (*-chi-lik*), *-sizlik* (*-siz-lik*) и т. д.].

Грамматические морфемы первого ряда присоединяются к любой лексической морфеме, способной стать компонентом соответствующего структурного типа. Почти то же самое можно сказать и о морфемах второго и третьего рядов. Иначе обстоит дело с морфемами четвертого ряда. Последние характеризуются минимальной сочетаемостью, т. е. количество лексических морфем, выступающих с каждой из грамматических морфем четвертого ряда, является ограниченным. Так, например, морфемы *-(i)niŋi*, *-та* выступают с одной группой лексических морфем, *-рāk* — с другой, *-dāsh*, *-чи* — с третьей.

Выходит, что основными компонентами давнего морфологического типа являются морфемы первых трех рядов. Мы назовем их относительно постоянными компонентами, в отличие от компонента четвертого ряда, который следует назвать варьирующим. Особое положение занимает кон-

<sup>6</sup> Изучение синтагматических связей (за пределами слова) показывает, что морфемы первого ряда неоднородны. Одна из них (*-niŋ*) в большинстве случаев является формой падежа, а формой двусторонней морфологической связи имен, называемой тюркским псафетом.

<sup>7</sup> Когда аффиксы принадлежности присоединяются к основе, оканчивающейся на гласный, начальный *i* отсутствует. Таким образом, разновидность указанного аффикса с начальным гласным является вариантом морфемы с консонантным анлаутом.



обстоит дело и с морфемами других рядов, так что во втором типе все грамматические морфемы являются относительно постоянными. Структуру образований 2-го типа представляем так: лексическая морфема + грамматические морфемы (конвертирующая + относительно постоянные).

Второй морфологический тип имеет три разновидности, из которых первая была только что рассмотрена выше. Вторая разновидность отличается от первой особым составом морфем первого ряда и отсутствием морфем второго ряда, см.

<i>jāz-dīr-ma-0-0-βin</i>	«не поручай [ему] писать»
<i>jāz-dīr-ma-0-η/ηiz/ηлар</i> <sup>9</sup>	«не поручайте [ему] писать»
<i>jāz-dīr-ma-0-βin</i>	«не буду-ка поручать [ему] писать»
<i>jāz-dīr-ma-0-βlik</i>	«не будем-ка поручать [ему] писать»
<i>jāz-dīr-ma-0-cun</i>	«пусть не поручает/не поручают [ему] писать»

третья — особым составом морфем 1-го и 2-го рядов, ср. для 1-го ряда:

<i>jāz-dīr-ma-j-man</i> <sup>10</sup>	«я не буду поручать [ему] писать»
<i>jāz-dīr-ma-j-san</i>	«ты не будешь поручать [ему] писать»
<i>jāz-dīr-ma-j-di</i>	«он не будет поручать [ему] писать»
<i>jāz-dīr-ma-j-miz</i>	«мы не будем поручать [ему] писать»
<i>jāz-dīr-ma-j-ciz/cialar</i>	«вы не будете поручать [ему] писать»
<i>jāz-dīr-ma-j-di(лар)</i>	«они не будут поручать [ему] писать»

для второго ряда:

<i>jāz-dīr-ma-j-man</i>	«я не буду поручать [ему] писать»
<i>jāz-dīr-ma-b-man</i>	«я не поручаю [ему] писать»
<i>jāz-dīr-ma-jan-man</i>	«я не поручаю [ему] в настоящее время писать»

Без морфемы первого ряда третья разновидность второго типа (первые две формы) обнаруживает особые синтагматические свойства: употребляется как форма неполной вербальности (ср. деепричастие в функции зависимого сказуемого) или как компонент так называемых аналитических образований лексического и грамматического типов (ср. *alın çikti* «он вынес», *jāza ālmadi* «он не смог написать», *jikila jāzdi* «он чуть не упал»).

Другие морфологические типы в узбекском языке проследить не удается, однако есть некоторое количество слов, которое не относится ни к 1-му, ни ко 2-му типам и которое характеризуется нераздельным единством лексической и грамматических морфем, наличием единой словоформы. По этому признаку такие слова можно условно выделить в третий морфологический класс. В общем три выделенных нами основных морфологических класса в узбекском языке соответствуют тому, что в традиционной грамматике называют именем, глаголом и наречием.

Схематически морфологическую систему узбекского языка можно изобразить так:



- 1-й тип  $A [B + (IV + III) + y] + 4 + 3 + 2 + 1$   
 2-й тип  $B [A + x] + IV + III + II (a + b + c) + I (a_1 + b_1 + c_1)$   
 3-й тип  $C$

Примечание. Перечеркнутые стрелки означают, что морфемы могут изыматься и справа налево и слева направо, но что возможность взаимных перестановок их исключена.

Основные, или общие, грамматические классы включают в себя зависи-

<sup>9</sup> В положительной форме (без морфемы *-ma*) используется соединительный гласный *i* и, таким образом, морфема первого ряда выступает в виде *-in/-iηiz-ηлар*. Что касается морфем *-βin* и *-βlik*, то без морфемы *-ma* они выступают в виде *-ajin* и *-ajlik*.

<sup>10</sup> В положительной форме *j* заменяется *a*. В) всех случаях стечения трех согласных на границе разный морфем используются соединительные гласные, ср. *jāz-dīr-ma b-man* «я не поручаю [ему] писать» и *jāz-dīr-ib-man* «я поручаю [ему] писать».

мы, или менее общие, классы, т. е. подклассы, установление которых производится также при помощи дистрибутивного анализа.

Так, первый класс имеет два подкласса:

$$B + (IV + III) + \frac{A + 4 + 3 + 2 + 1}{y} + 4 + 3 + 2 + 1, \text{ п}$$

которые различаются типом лексической морфемы (во втором подклассе присутствует конвертирующая морфема и возможно включение в именную основу некоторых морфем, характерных для глагола). Первый подкласс класса имен — собственные имена, второй подкласс — отглагольные имена. Продолжая анализ, мы могли бы выделить далее в подклассе собственно имен несколько разрядов, отличающихся друг от друга составом морфем четвертого ряда (ср. в традиционной грамматике: словообразовательные морфемы). Как уже указывалось выше, морфемы четвертого ряда образуют группы, каждая из которых имеет ограниченную сочетаемость с лексическими морфемами именного класса. Например, морфемы *-(i)нчи, -та, -(a)ла, -ав* присоединяются только к лексическим морфемам, обозначающим число (иначе говоря, — к количественным числительным), например: *иккинчи* «второй», *иккита* «два» (так называемые штучные числительные), *иккала* «двое», *иккав* «двое». Таким образом, есть основания говорить о числительных как об особом морфологическом разряде внутри подкласса имен. Особый набор морфем четвертого ряда выделяет также другие морфологические разряды — существительное и прилагательное. Довольно значительная группа лексических морфем именного класса вообще не сочетается с грамматическими морфемами четвертого ряда и по этому негативному признаку может быть выделена в самостоятельный морфологический разряд — местоимение.

Итак, имя как основной морфологический класс противостоит только глаголу и наречию, тогда как местоимение, числительное и т. д. являются лишь отдельными разрядами одного из подклассов имени. Аналогичный вывод на материале других языков был сделан Ф. Ф. Фортунатовым <sup>11</sup>.

Подклассы глагола — формы полной вербальности (с морфемами лица и числа, т. е. первая и вторая разновидности второго морфологического типа) и формы неполной вербальности (без морфем лица и числа, т. е. третья разновидность второго морфологического типа).

Особого внимания заслуживает третий класс — наречие. Поскольку наречие в морфологической классификации выделяется только негативным признаком (отсутствием живой морфологической структуры), установить в нем какие-либо морфологические подклассы невозможно. Только переход к широкому синтагматическому плану (т. е. выход за пределы слова) позволяет обнаружить в составе рассматриваемого класса две различные группировки — с и н т а к с и ч е с к и е подклассы: самостоятельные наречия (собственно наречия, образные слова, междометия) и служебные наречия (послелогои, союзы, частицы). Насколько допустима в данном случае замена морфологического критерия синтаксическим, — решить пока трудно, но не вызывает сомнений то, что наречные подклассы и разряды нельзя поставить в один ряд с таковыми имени и глагола.

IV. Приведенная выше схема не отражает всех деталей морфологии, но она дает довольно полное представление о морфологической структуре узбекского языка в целом и о структуре каждого типа (класса) в отдельности. Данная схема имеет и чисто познавательное и прикладное значение, являясь вспомогательным средством при исследовании языка.

Для наглядности рассмотрим спорные случаи узбекской граммати-

<sup>11</sup> Ф. Ф. Фортунатов, Сравнительное языковедение, стр. 166.

ки, — форму с аффиксом *-bacha* (форма предела), с аффиксом *-däk* (форма уподобления) и с аффиксом *-gan* (перфективное причастие).

Форму на *-bacha* почти все тюркологи помещают вне надежной парадигмы и относят ее к наречиям. Между тем в современном узбекском языке аффикс *-bacha* имеет в основном такую же модель дистрибуции, как любая морфема первого парадигматического ряда именного класса, т. е. как любой падежный аффикс. Мы говорим «в основном», потому что обнаруживаются некоторые признаки обособления рассматриваемой формы: ограничения в сочетаемости или отсутствие сочетаемости аффикса *-bacha* с такими разрядами имени как причастие, местоимение, вообще довольно редкое употребление этого аффикса и т. д. В связи с данным случаем необходимо иметь в виду, что в ходе развития языка происходит постепенное передвижение морфем, обособление их, и, чаще всего, отмирание активных структурных связей между морфемами, вызываемое процессом адвербиализации. Известно, например, что некогда морфема *-in* была продуктивным аффиксом орудного падежа, в настоящее же время морфологические образования, включающие ее, полностью перешли в класс наречия (например, *kışın* «зимой», *jâzın* «летом») и стали неразложимыми. Поэтому в любом конкретном случае необходим полный учет всех дистрибутивных данных, позволяющих устанавливать не только принадлежность морфемы к тому или иному ряду, но и характер ее связей с другими морфемами и, прежде всего, с лексической морфемой. Возвращаясь к вопросу о морфеме *-bacha*, отметим, что ее связи с лексической морфемой не являются омертвевшими: (возможна интродукция других морфем: *bâsh-im-bacha* «до моей головы») и что, следовательно, она не выходит за пределы падежной парадигмы, хотя занимает в ней несколько обособленное положение.

Приблизительно так же обстоит дело с аффиксом уподобления *-däk* (*-daj*), который в восточнотуркестанском и староузбекском языках имел дистрибуцию, сходную с морфемами четвертого ряда, например: *sñi-täk-lär-ig*<sup>12</sup> «подобных тебе», *biziñ-täk-lär-gä* «таким, как мы»<sup>13</sup>. В современном же узбекском аффикс *-däk* (*-daj*) не отличается от падежных, присоединяясь ко всем именным разрядам, например: *daftar-däk* «как тетрадь», *daftar-lar-im-däk* «как мои тетради». Вряд ли надо доказывать, что отнесение форм на *-däk* к наречиям необоснованно.

При установлении общеграмматической природы формы на *-gan* возникают колебания в связи с неопределенностью ее типологических признаков, обычно рассматриваемых с точки зрения содержания. Изучение соответствующих дистрибутивных данных показывает, что в этом вопросе возможно лишь одно решение. Форма на *-gan* сочетается с морфемами именного класса и не присоединяет к себе (в постпозицию) ни одной собственно глагольной морфемы. Правда, форма на *-gan* может включать в себя аффиксы так называемых залогов и отрицания, но эти аффиксы никогда не выступают в позиции после аффикса *-gan*: они — элементы глагола, и имя здесь образуется не от первичной, а от вторичной глагольной основы.

В заключение укажем на другие аспекты применения приведенных выше схем. Сравнение морфологической схемы узбекского языка с аналогичным образом разработанными схемами других тюркских языков может служить исходным пунктом для заключений диахронического порядка. Сравнение же морфологических схем неродственных языков (с обязательным использованием единых критериев их построения) могло бы сыграть большую роль в расширении и детализации типологических исследований.

<sup>12</sup> «Kutadgu Bilig» II. — Fergana nüshasi (tıpkıbasım), İstanbul, 1942, стр. 438.

<sup>13</sup> Рукопись «Мухаббат-наме», хранящаяся в Британском музее под шифром Add. 7914, л. 298a (цит. по фотокопии, принадлежащей ЛО ИЯ АН СССР).

## ОБ ОБЩЕСЛАВЯНСКОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АТЛАСЕ

### О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОБНОМУ ВОПРОСНИКУ К ОБЩЕСЛАВЯНСКОМУ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ АТЛАСУ

1. По предложению советской делегации на совещании Комиссии по общеславянскому лингвистическому атласу в Варшаве (ноябрь 1959 г.) в программу подготовительных работ по атласу был включен пробный вопросник (далее — ПВ). Первоначальной целью ПВ было получение некоторого количества сопоставимых данных по всей славянской территории; тогда же обсуждался вопрос и о возможностях опубликования этих данных<sup>1</sup>. На заседании Комиссии ОЛА в Праге (июнь 1961 г.), во время которого чехословацкими и польскими лингвистами был составлен проект ПВ, было решено, что главная задача пробного обследования — получение методических указаний для собирания материала<sup>2</sup>.

Эта задача была выдвинута на первое место также во вводных замечаниях к проекту ПВ<sup>3</sup> (к этому времени ПВ был уже несколько переработан и сокращен, особенно на основании замечаний заседания Комиссии ОЛА в Будапеште в мае 1962 г.); редактирование пробного вопросника осуществляли Я. Басара и С. Утешены. Таким образом, при работе с ПВ первоочередной интерес представляли не ее непосредственные результаты, не пробное картографирование и т. п., а проверка возможности сбора материала на местах по вопроснику данного типа в общеславянском масштабе и особенно опыт самого собирания, формулировок и порядка вопросов, транскрипции и т. п. Наконец, ПВ должен был помочь при составлении полного вопросника и инструкций по сбору материала<sup>4</sup>. Первую цель преследовал предварительный отчет о результатах обследования, сделанный С. Утешеным на рабочем совещании Комиссии ОЛА в Душниках (Польша) в марте 1963 г. В предлагаемом сообщении, подготовленном на основе более широкого материала, мы остановимся также на другой стороне результатов работы по вопроснику — на проверке различных (в соответствии с традициями отдельных диалектологических центров) использованных методов сбора материала.

2. На заседании бюро Комиссии ОЛА в Москве (октябрь 1962 г.), которое утвердило окончательную редакцию ПВ, было решено, что необходимо провести пробный сбор материала на всех славянских территориях так, чтобы результаты этого обследования могли быть использованы в работе над полным вопросником в марте — апреле 1963 г. в Душниках. Обработку материалов этого обследования взяла на себя чехословацкая диалектологическая комиссия. До конца февраля 1963 г. в Прагу были присланы заполненные вопросники: из 9 населенных пунктов Чехословакии (3 чешских, 3 моравских, 3 словацких); из 12 населенных пунктов

<sup>1</sup> См. J. Bělič, *Mezinárodní konference o otázkách slovanského jazykového atlasu*, «Slavia», XXIX, 2, 1960, стр. 323.

<sup>2</sup> См. J. Sedláček, *III zasedání Mezinárodní Komise pro slovanský jazykový atlas*, «Slavia», XXXI, 1, 1962, стр. 128.

<sup>3</sup> См. «Пробный вопросник к общеславянскому лингвистическому атласу», ВЯ, 1963, 1.

<sup>4</sup> См. там же, стр. 67.

Болгарии (размещенных равномерно на всей болгарской территории); из 6 населенных пунктов Югославии (2 словенских, 2 сербскохорватских, 2 македонских); из 2 населенных пунктов в Австрии (1 словенский в Каринтии и 1 хорватский в Бургенланде) и из 1 населенного пункта Польши (кашубского) — всего из 30 населенных пунктов. На основе этих материалов, а также критических замечаний некоторых исследователей из ЧССР, проф. Хамма (по материалу из Австрии) и д-ра Сятковского (обследовавшего кашубский населенный пункт) Я. Седлачек подготовил краткое сообщение об обследовании, которое должно было стать основой обсуждения в Душниках. Уже в Душниках был получен материал еще из 6 населенных пунктов — 3 населенных пункта СССР (1 северновеликорусский, 2 белорусских), 2 населенных пункта Польши и 1 верхнелужицкий населенный пункт ГДР. Этот материал был частично использован в сообщении, сделанном на одном из заседаний. Кроме того, в Прагу были присланы еще 3 вопросника, заполненные на сербскохорватской территории; таким образом, по пробному вопроснику оказались обследованными 39 славянских населенных пунктов<sup>5</sup>.

3. Полученный опыт ПВ, который можно использовать при составлении полного вопросника ОЛА, может быть кратко сформулирован следующим образом:

а) Полностью оправдалось разделение вопросника на тематический и систематический разделы. Раздел, состоящий из объединенных в тематические группы слов, включает в себя обязательные примеры (слова и формы), иллюстрирующие отдельные лексические, лексико-семантические, словообразовательные, фонетические, просодические, парадигматические проблемы; систематический же раздел составлен в соответствии с языковой системой. Так как в систематическую часть были включены вопросы синтаксиса предложения, но не было, например, явлений фразовой фонетики или грамматикализованных словообразовательных рядов, полученные результаты оказались, естественно, ограниченными. Лексико-семантических вопросов в вопроснике всего 6; таким образом, можно сказать, что по содержанию ПВ в значительной мере остается традиционным — больше нового в этом отношении будет содержать полный вопросник.

б) Что касается состава частей тематического раздела, то его трудно было проверить, если принять во внимание ограниченный объем ПВ. Использованный здесь традиционный принцип деления вопросника по предметно-семантическим группам, основанным на реалиях деревенского быта, к которым примыкала часть «Разное», был значительно изменен при работе над полным вопросником: в нем появились слова с очень общими значениями (*человек, идти, хотеть, постоянно* и т. д.), так что сам материал заставил отказаться от членения на строго определенные, узкие семантические группы. По результатам обследования включение семантических вопросов в тематические группы не дало поводов для беспокойства, хотя семантические различия таких слов, как *socha* (1), *gręda* (71), *iskati* (155), а особенно *borъ* (48) столь велики в славянских диалектах, что их трудно включить в какую-то одну, даже широкую, тематическую группу. Так, например, хотя в ПВ *socha* включена в отдел земледелия, *gręda* — в раздел строительства, в ответах на эти вопросы часто были отмечены и значения, выходящие за пределы данной группы (ср. чеш. *socha* «статуя, скульптура»). Семантические вопросы могут также сочетаться с исследованием по фонетике; при выявлении континуантов ряда прасла-

<sup>5</sup> На совещании Комиссии ОЛА в Бухаресте оказалось, что с ПВ были обследованы также 1 славянский пункт в Румынии и даже 1 венгерский говор в ВНР. В московский центр поступили после написания настоящего отчета также 3 вопросника из УССР.

вянских форм учет их значений совершенно необходим (ср. чеш. *dílo* «дело» и *dělo* «пушка» — оба из праслав. \**dělo*). Тем не менее было решено в полном вопроснике дать семантические вопросы отдельно. Это было вызвано чисто практическими соображениями — сложностью вопросов подобного типа, требующих при обследовании особого метода опроса.

в) Далекой от традиционной является формулировка вопросов, в частности их подача на нескольких языках; в этом отношении ПВ после некоторых поправок стал основой для разработки полного вопросника. Вопросы, относящиеся к отдельным уровням языка, обозначаются соответствующими индексами, помещенными перед номером вопроса; эти индексы оказались в основном удобными. В ПВ каждый вопрос имел только один индекс-квалификатор; появление в полном вопроснике одновременно нескольких вызвало необходимость предложить некоторую иерархию вопросов и соответственно индексов-квалификаторов: 1) Лексика (Л.), 2) Словообразование (Сл.) — в вопросах, идущих от значения к слову; 3) Фонетика (Ф.), 4) Просодия (П.), 5) Морфология (М., вместо него в ПВ было использовано сокращение Фл.— флексия) — в вопросах, исходящих из формы слова.

В тематическом разделе ПВ были собраны вопросы 4 типов: 1) лексические вопросы типа Л. 70 «вся домашняя птица вместе взята» — *домашняя птица*, *drób*, *perad*; 2) семантические вопросы типа С. 71 *grěda* [1) оtesанное бревно, балка, 2) насест для кур, 3) грядка]; 3) фонетические вопросы типа Ф. 72 *gosъ* и 4) одинаково лаконично сформулированные морфологические вопросы типа Фл. 74 *vykъ* — *nom.*, *acc. pl.* Таким образом, оказались противопоставленными развернутые лексические и семантические вопросы и максимально краткие фонетические и парадигматические вопросы, единственным признаком которых, кроме квалификатора, является то, что они приведены в реконструированной праславянской форме. Уже в ходе обследования обнаружилось, что в соответствии с обычной подачей лексических примеров на трех языках и в этих вопросах следует давать в скобках после праславянской формы хотя бы один пример из современных славянских литературных языков, а в некоторых случаях и неславянский эквивалент. Это способствовало бы идентификации значения, которое, несомненно, не является иррелевантным (здесь возможна не только двусмысленность, но и случайные ошибки, как например, *divъ* «чудо» и «дикий»).

Подобное мнение высказывалось и в Душниках; в результате было решено давать рядом с праславянской исходной формой русские, польские и сербскохорватские континуанты и для фонетических и морфологических вопросов. Эти примеры должны явиться репрезентативными для основных славянских языковых групп; в тех случаях, когда в каком-нибудь из названных литературных языков отсутствует континуант данной праславянской формы, приводятся его диалектные эквиваленты или соответствие из другого языка той же группы. Изменилась и нумерация морфологических вопросов (тип Фл. 74): объединение нескольких форм слова в одном вопросе не оправдалось, а при картографировании, наверное, просто помешало бы. Каждую форму лучше выделить в отдельный вопрос. Точно так же на четырех языках будут даваться слова, подлежащие семантическому обследованию.

г) Часто разнородными оказываются и вопросы, относящиеся к одному языковому плану, особенно к лексике; понятно поэтому, что полностью идентичное их оформление в формальном и языковом отношении не может гарантировать максимальную действенность формулировок. Вопросы надо формулировать различным образом, в зависимости от грамматической принадлежности слова и характера десигната. В названиях, связанных с

природой, достаточно дать латинский термин и его эквиваленты на трех языках, иногда также рисунок, если возможно — цветной; особенно это относится к птицам и цветам (вопрос об иллюстративном оформлении еще не решен, как и вообще ряд вопросов, относящихся к предметной стороне изучаемой действительности). В области терминологии народной культуры и быта (одежда, дом) удобно исходить из вопросов, ориентированных на фактическое состояние соответствующих реалий. Вместо изолированной постановки ономастических вопросов, как это было в ПВ, например, Л. 29 и Л. 30 (помещение для коров и лошадей), удобнее ставить вопросы следующим образом: «Каких домашних животных у вас разводят?» (при перечислении будут получены ответы и на ряд других вопросов); «Где они помещаются: а) у вас дома, б) в колхозе?» При ответе обнаружится, например, что в хлеве находятся вместе коровы и свиньи, что овцы всегда помещаются отдельно и т. п., и названия помещений не будут путаться. К тому же изолированные вопросы не могут точно выявить объем значений проверяемых названий. При семантическом обследовании необходимо обращать внимание на контекст, на его стилистическую окраску, особенно для прилагательных и глаголов. Комплексное изучение некоторых семантических полей, как это предлагал, например, Я. Белич<sup>6</sup>, а также Н. И. Толстой<sup>7</sup>, все же, к сожалению, не может быть осуществлено в атласе из-за ряда практических затруднений.

4. При подготовке инвентарей явлений много внимания уделялось тем сторонам диалектного языка, которые до сих пор обследовались слабо, в частности словообразованию и синтаксису<sup>8</sup>.

а) Было отмечено, что при помощи обычной методики не удастся удовлетворительно исследовать географическое распространение словообразовательных структур (что связано непосредственно с частотностью их составных частей) уже потому, что это потребовало бы необыкновенно большого количества вопросов. Метод программы с открытыми рядами (которые обычно встречаются в фонетическом и морфологическом разделе программ восточнославянских атласов) также неприменим, прежде всего из-за сложности требований и недостаточной надежности этого метода, который все же не дает относительной полноты материала. При исследовании словообразовательных различий материал может черпаться относительно удобно также из раздела лексики. Таким образом, в ПВ был включен ряд названий инструментов на *-išťě/-isko* (Сл. 2—4) и одно название места *strnišťě/strnisko* (Сл. 5). В полном вопроснике лексический принцип особенно заметен при обследовании словообразования существительных; в цельных рядах, при этом с относительно ограниченной обязательной документацией, здесь обследуются только грамматикализованные словообразовательные типы (например, средства выражения вида глагола, степеней сравнения имен прилагательных и т. д.). Результаты пробного обследования, хотя и скромные, укрепляют нас в уверенности, что традиционный метод может иметь значение также для изучения диалектной диф-

<sup>6</sup> См. J. Bělič, K otázkám lexikální části slovanského jazykového atlasu, «Slavia», XXIX, 2, 1960.

<sup>7</sup> См. Н. И. Толстой, Из опытов типологического исследования славянского словарного состава, ВЯ, 1963, 1, стр. 29—45, особенно стр. 39.

<sup>8</sup> Этими вопросами занималась чехословацкая комиссия (см. раздел «Přispěvky k problematice slovanského jazykového atlasu», «Slavia», XXVIII, 4; XXIX, 2, 4; XXX, 1, 1959—1961); проблемами словообразования занимались также польские лингвисты Р. Гжегорчикова и Я. Пузынина (R. Grzegorzyczkowa, J. Puzyńska, Zagadnienia słowotwórstwa rzeszowianików w Atlasie ogólnosłowiańskim, «Poradnik jezykowy», 1, 1961). Большой интерес вызвал синтаксический вопросник; на синтаксической конференции в Брно в апреле 1961 г. ему было посвящено специальное заседание; эти материалы опубликованы в сборнике «Otázky slovanské syntaxe» (Praha, 1962) в разделе «Syntax v slovanském jazykovém atlasu» (стр. 409—432).

ференциации словообразовательных средств. Напротив, открытые ряды, с которыми в указанном примере работали болгарские диалектологи, зафиксировавшие ошибочно только разные названия места (такие, как *огнище*, *бунище*) и ни одного названия инструментов, создают опасность получить несопоставимые данные; поставленная задача в этом случае могла бы оказаться невыполненной и наоборот — были бы получены ненужные сведения, что значительно затруднило бы всю обработку.

б) Только для небольшого числа синтаксических вопросов, например для сочетаний с предлогами, можно применять прямой вопрос, как об этом свидетельствует опыт советских диалектологов<sup>9</sup>. По отношению к различиям в выражении тождественных функций в синтаксисе предложения следует применять лишь метод программы. Пробное обследование должно было дать ответ на основной спорный вопрос подготовки вопросника ОЛА — возможно ли вообще изучение синтаксиса в рамках атласа. Результаты показали, что такое исследование диалектного синтаксиса целесообразно и в общеславянском масштабе, конечно, при условии, что оно будет проведено с особым вниманием к его специфике. Из всей массы синтаксических проблем необходимо выбрать по возможности однозначные и простые типы, к которым можно дать в качестве примера отчетливо различающиеся эквиваленты на трех принятых славянских языках. Это должны быть вопросы предельно конкретные, а не собрание широких проблем, затрагивающих соприкасающиеся виды синтаксических отношений во всем их многообразии и многозначительности. В ПВ было много отступлений от этих принципов: в каждом из трех вопросов крылось несколько подтипов, которые в вопросе № 3 даже перекрещивались; это дало основание для претензий к неясной формулировке вопросов и к слишком обширной экзemplификации.

Важную предпосылку успеха создает и метод опроса. Прежде всего следует исходить из фиксации непосредственных высказываний и точной записи случаев, соответствующих приведенным в вопроснике примерам. Только тогда, когда некоторые явления нельзя проиллюстрировать подчеркнутыми из живой беседы данными, можно прибегнуть к «спровоцированным» ответам, к посредству перевода (на двуязычных территориях, например в Лужицах) или к эксперименту (прежде всего трансформация или дополнения приведенных сочетаний). Такой материал нужно отметить особым образом, так как он не может быть поставлен на одну доску с материалом непосредственного разговора. Конечно, остается опасение, не даст ли этот раздел, несмотря на все старания, много некартографируемого материала; однако следует иметь в виду, что атлас — не единственная цель этого предприятия. Учитывая огромное значение синтаксических данных для сравнительного изучения языков, можно ожидать, что эта часть архива атласа даст важный новый материал для такого изучения.

5. Координация работы над атласом требует разрешения проблемы фонетической транскрипции. Уже на заседании Комиссии ОЛА в Будапеште был принят принцип, согласно которому страны, использующие разные алфавиты, могут вести записи на местах так, как это принято в практике их работы над национальными атласами; непосредственное использование единой транскрипционной системы на основе латинского алфавита создало бы непреодолимые трудности для полевых работников. На основе полученного «черновика» будет составляться «чистовик», в котором должна однозначно транслитерироваться рабочая транскрипция,

<sup>9</sup> Ср. ответ И. Кузьминой и Е. Немченко на вопрос № 9 в ВЯ, 1962, 5, стр. 91 и сл., а также сообщение Е. Немченко «О возможностях методов лингвистической географии при изучении диалектного синтаксиса» в сб. «Otázky slovanské syntaxe».

— этот этап будет первой проверкой собранного материала. По опыту пробного обследования можно предположить, что такой принцип распространяется и на страны, пользующиеся латинским алфавитом, так как у них есть свои традиции записи; поэтому и здесь окончательный текст будет оформляться в институтах на основе полевых записей. Так, например, для чешской и словацкой территорий можно будет применять обычное обозначение мягкости галочкой над буквой (*č, ď, ň, ě*) или обозначение слоговой долготы прямой, возможно горизонтальной, черточкой над соответствующей буквой (*ě, ř* или *ě, ř*), что чехословацким диалектологам кажется практически более удобным, чем написание *č, ě, ň, ě* (мягкость) или обозначение *e:, r:* (долгота), как этого требует разработанная для атласа транскрипция. Большое значение имеют и другие проблемы, на которые первоначально по предложению проф. Штибера предполагалось обратить внимание при пробном обследовании. Это прежде всего вопрос о разной оценке по существу одинаковых звуков, занимающих разные места в «родной» фонетической системе эксплораторов различных языковых областей. Этот вопрос наиболее остро стоит для пограничных областей национальных языков, как это было продемонстрировано, например, в рецензии проф. В. Важного на «Atlas jezykowy polskiego Podkarpacia» К. Нича и М. Малэцкого<sup>10</sup>. Поскольку пробное обследование проводилось преимущественно в центрах основных диалектных областей, эти проблемы пока не были актуальными.

Некоторая неоднородность полученных материалов оказалась связанной с недостаточным освоением новой для собирателей системы транскрипции. Звук *u* (неслоговое *u*) в ответах из Белорусской ССР обозначается то как *y*, то как *ŷ*, ударение ставится перед самым гласным, а не перед началом слога (например, *skac'ina* вместо *ska'c'ina*); в македонском вопроснике ударение обозначается черточкой над ударенным гласным (например, *tomá, nevésta*); в верхнедужицком вопроснике фигурируют формы *c'i dubó, štóm* (дерево), *čóbet*, хотя во всех случаях речь идет о противопоставлении узкого *o* и широкого *o*; из книжной графики иногда попадает в записи знак *ě*. В чешском вопроснике из ганацких диалектов записано *vzit, tict* и *dřin* («Juniperus»), хотя в этом говоре долгое *i* как фонема не выступает (а если бы оно было, то правильное обозначение было бы *dř:i:n*).

6. Во вводных замечаниях к ПВ было указано, что собранный материал можно просто вписывать против соответствующих вопросов, однако собиратели могли поступать по своему желанию. Этим способом записывало материал большинство участников, но некоторые, в частности югославы, переписали весь материал на машинке, другие же вписывали материал в специальные тетради (белорусские вопросники). Материал, собранный в Болгарии, был переписан на отдельные сводные карточки. В Польше материал был скопирован. Таким образом, выявились все традиции технической обработки материала в отдельных центрах. Вопрос объединения этих способов, т. е. выбор единого метода, приемлемого для всех, — не только технический вопрос, как это кажется на первый взгляд. Что касается чисто технической стороны (записи данных по каждому вопросу на отдельных листках с копией, паспортизация данных и их упорядочение), то здесь легко можно прийти к согласию, хотя и не все здесь одинаково ясно. Сейчас уже можно сказать, что польский способ записывания каждого отдельного вопроса сразу на месте в перфорированную тетрадь не может быть применен для обширного материала полного вопросника ОЛА. В частности, было бы излишним расписывание всех словоформ одного и

<sup>10</sup> См. в кн.: V. V á ž n ý, Z mezislovanského jazykového zeměpisu, Praha, 1948, например стр. 19.

того же слова на отдельные карточки (например, отдельно N sg *noga*, отдельно G sg *nogi* и т. п.), а также многочисленное переписывание вопросов, интересных одновременно с нескольких точек зрения (в соответствии с тем, сколько квалификаторов стоит у данного вопроса); в некоторых случаях парадигматические вопросы заняли бы до 30 карточек для одного слова.

Значительно более важным является самый метод сбора материала по вопроснику. В ряде институтов, прежде всего в СССР и в Болгарии, а также отчасти и в ЧССР, диалектологи привыкли работать по методу программы, т. е. извлекать данные из непосредственного разговора; в противоположность этому в Польше, Югославии и ГДР вопросники заполняются путем постановки конкретных вопросов. Уже ранее отмечалось, что в отличие от советских национальных атласов, которые в пределах системы одного языка могут иллюстрировать явление лексически неограниченным материалом, общеславянский атлас будет построен исключительно на обязательных примерах. Первоначально была сделана попытка включить в инвентари явлений для полного вопросника некоторые «типовые» вопросы с потенциальными примерами и также дополнительные (или заменяющие) примеры. Такие заменяющие примеры часто приводились собирателями и в ПВ, хотя инструкция этого и не требовала. При окончательной редакции полного вопросника от этого метода отказались: в тематической части вопросника остались только обязательные вопросы, за исключением единичных взаимозаменяемых слов типа *лучший* [*lepszy*]/*bolji*. Главной причиной такого решения была опасность несопоставимости. Советский метод сбора материала по программе, который имеет ряд неоспоримых преимуществ, в частности то, что он позволяет фиксировать более живой и непосредственный материал<sup>11</sup>, не может, однако, использоваться в вопроснике ОЛА (за исключением синтаксиса) из-за обширных размеров вопросника. Этот метод требует не только значительно большего времени, но и большого напряжения внимания и памяти собирателя. Кроме того, материал, собранный таким путем, может оказаться недостаточным. ПВ показал также, что при выборе обязательных слов и форм из записей разговорной речи, как это делали собиратели из великорусской области, остались незаполненными многие вопросы. Поэтому следует или вообще отказаться от этого метода, или применять его только на первом этапе собирания, при первом знакомстве с говором. С этой точки зрения необходимо еще раз продумать способ опроса и составить очень подробную инструкцию, чтобы получить равноценный материал для всех территорий.

7. При подготовке инструкции надо обратить особое внимание на следующее:

а) В лексических вопросах, особенно в случае синонимических ответов, нужно по возможности отмечать возрастные и стилевые различия, а также использование частичных синонимов для обозначения предметной дифференциации (особенно на границе соперничающих тавтономов). Далее, необходимо не только различать наличие и отсутствие данной реалии, но и отличать степень ее известности от полной неизвестности: многие слова, обозначающие вещи, не существующие на данной территории, бывают хорошо известны в говоре, так как они входят в лексический запас (ср. *vlk* «волк», *císař* «император»).

б) В семантическом разделе следует отмечать и слова со значениями, расширенными за счет влияния литературного языка (например, чеш. *luna* «луна»), а также терминологизированные или фразеологизированные слова и обороты (например, чеш. \**iskati* > *vískat*, *vískat vlasý* «искать вшей, чесать голову»); для слов, обозначающих названия местности, ин-

<sup>11</sup> См. также S. Utěšený, Na okraj sovětských metodických příruček ke sběru nářečného materiálu, SaS, XXIII, 2, 1962.

интересно записать случаи их возможной топонимизации; так, в одном пункте было отмечено слово *bor* только как собственное имя близкого леса, а это очень интересный факт. Охват случаев топонимизации таких общеславянских названий необходим, так как помогает обнаружить реликты, важные для исторической диалектологии (кроме ответов на вопрос № 10 анкеты в ВЯ, 1962, 1, 4, это подчеркивалось и на II рабочей конференции славянской ономастической комиссии в Берлине в октябре 1961 г.).

в) При работе с вопросниками, исходящими из праславянской реконструированной формы, часто оказывается, что это слово не имеет соответствия в данном говоре, хотя оно и известно во всех литературных славянских языках и поэтому фигурирует в списке общеславянского лексического фонда, который был подготовлен чехословацкой диалектологической комиссией под руководством Ф. Копечного для работы над списками явлений ОЛА. В ПВ были включены такие слова, как *peďb*, *teťi*, *ěchati*, *ězda*, *tesati*, неизвестные в ряде обследованных пунктов. В таких случаях разрешается привести соответствующий лексический эквивалент с другой основой, если такой существует (например, вместо *ěchati* чеш. *jet*). Эти лексические различия можно было бы отразить и на картах, иногда они будут даже более интересными, чем уже предусмотренные в лексическом разделе. Напротив, в тематическом разделе не нужно требовать подачи вместо существующих обязательных примеров параллельных, заменяющих их слов, так как из-за их генетической разнородности они могут быть использованы в лучшем случае в комментариях, но не на картах.

8. К сожалению, пробное обследование было проведено недостаточно равномерно на всех территориях, и на основе его результатов сделать лингвогеографические выводы не удастся (пока не удалось использовать слишком поздно полученные данные с украинской территории, которая занимает в границах ОЛА центральное положение). Все же собранный материал позволяет считать, что несмотря на сильные и глубокие отличия южнославянской области, которая с давних времен отделена от остальной славянской территории, в лексике и грамматическом строе всех славянских языков и диалектов имеется столько общих моментов, что вполне реально их единое картографирование в атласе (теоретическая правомерность такого картографирования ставилась под сомнение). Конечно, возникнут особые затруднения при составлении для ОЛА синтетических карт таких, например, явлений, как рефлексы праславянского *ě*; в сравнении с национальными атласами здесь значительно возрастает число карт слов, закономерно различающихся в фонетическом и словообразовательном отношении. Так, для слова *peď* (Ф.9), которое должно было иллюстрировать рефлексы праславянского *e*, в 39 обследованных пунктах, кроме закономерных континуантов *pjad*, *peďž*, *pi:d* и т. д., в южнославянских диалектах были зафиксированы следующие формы: *pada*, *pađa*, *pedan*, *pedej*, причем каждая с дальнейшими фонетическими изменениями<sup>12</sup>.

Данное сообщение ограничивается лишь теми результатами обследования по пробному вопроснику ОЛА, которые, как нам кажется, имеют значение для дальнейшей работы над полным вопросником. В этом смысле анкета оказалась полезной, хотя она не была везде выполнена в достаточном количестве примеров. Дальнейшая обработка результатов обследования будет относиться к вопросам более частного характера, основной материал будет опубликован в виде таблиц для членов Комиссии ОЛА.

С. Утешены (Прага).

Перевела с чешского В. Ф. Коппова

<sup>12</sup> Сообщение об этих результатах, особенно из области синтаксиса, подготавливается И. Седлачком для журнала «Slavia».

## ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ

М. ЯНАКИЕВ

## ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОРФОГРАФИИ

Современный человек в основном усваивает орфографию в начальные годы своего пребывания в школе; орфография прочно закрепляется в его сознании и начинает казаться ему единственно возможной в своих «основных» (в смысле: «наиболее часто применяющихся») правилах. Из этой особенности орфографии вытекают два важных следствия.

Во-первых, каждая попытка усомниться в разумности основных орфографических правил расценивается всей национальной интеллигенцией как признак едва ли не потери здравого рассудка. Этим объясняется тот факт, что до сих пор так называемые «реформы» орфографии касались (и будут касаться впредь, но крайней мере еще некоторое время) фактически только мелочей, не затрагивая основных — врожденных или приобретенных — пороков ныне господствующих в мире орфографических систем. Во-вторых, большинство лингвистов фактически изучают не самые человеческие языки, а лишь их графические трансформации, которые привносят в речевое сообщение не свойственную ему «буквенную» дискретность и, таким образом, затуманивают его собственную дискретность.

Попытка проанализировать на строгой логической основе функционирующую в настоящее время систему орфографических понятий выявляет возможность вскрыть целый ряд неожиданных связей между усложнениями в научных описаниях звуковых языков и некоторыми особенностями орфографии. Поэтому построение строгой с логической точки зрения теории орфографии будет иметь значение не только для изучения существующих орфографий с целью их усовершенствования на научных основах, но и для решения некоторых до сих пор не решенных или неудовлетворительно решаемых общих проблем лингвистики и прежде всего фонологии. Построение логически строгой теории орфографии в первую очередь требует точного определения некоторых часто употребляемых терминов и разработки некоторой более точной системы терминов.

\*

Будем рассматривать два непересекающихся множества:  $\Phi$  — множество фактов, воспринимаемых слухом и называемых «речью»;  $\Gamma$  — множество фактов, воспринимающихся зрением и называемых «буквенным письмом». И в фактах множества  $\Phi$ , и в фактах множества  $\Gamma$  органы чувств человека четко разграничивают детали, которые в орфографиях не принимаются во внимание. Для теории орфографий элементарными фактами являются некоторые пересекающиеся множества элементарных фактов, представляющие собой подмножества множества  $\Phi$  (соответственно множества  $\Gamma$ ).

Число репрезентантов множества  $\Gamma$  в печатном тексте фактически определяется количеством появлений наиболее часто встречающегося элемента

этого множества, который мы будем называть и н т е р л и т е р о й (межбуквенным пробелом) и будем обозначать в дальнейшем знаком  $I^1$ . Например, число элементов множества  $\Gamma$  в цепочке *добрая* равно 6, потому что число интерлитер в ней равно 6: *д|о|о|б|р|а|я|а|л|а|л*. Самое интерлитеру отдельным знаком обычно не считают, хотя с логической точки зрения таким образом допускается ошибка <sup>2</sup>.

В цепочке, составленной из элементов множества  $\Phi$ , нет элемента, характеризующегося фреквентностью, близкой к фреквентности интерлитеры. Этот факт вместе с непониманием роли интерлитеры как знака в письме весьма затрудняет попытки представить соответствия между элементами множества  $\Phi$  и элементами множества  $\Gamma$  в форме, не вызывающей теоретических возражений.

Б у к в о й называется сегмент письменного текста, как правило не содержащий интерлитер <sup>3</sup>.

Под «записыванием» и «чтением» надо понимать процессы трансформации элементов множества  $\Phi$  в элементы множества  $\Gamma$  и, наоборот, на основании каких-то правил однозначных соответствий, правил, совокупность которых и образует орфографию. Для установления однозначных соответствий нужно так сегментировать речевое сообщение, чтобы для каждого его сегмента в его печатной письменной транскрипции имелся бы соответствующий графический сегмент (буква + интерлитера). Но так как в речевых сообщениях нельзя найти сигнала, появляющегося настолько часто, насколько часто появляется в письменных сообщениях интерлитера, то необходимо уменьшить каким-то образом фреквентность сегментирующих письменное сообщение интерлитер. Этого можно достичь, увеличивая разнообразие букв. Однако даже самый простой расчет показывает, что если сегментировать речевое сообщение на основании появления наиболее часто встречающегося в речи сигнала — вокальности, разнообразие букв для славянских языков должно было бы быть увеличено более чем в десять раз. Получился бы силлабарий, гораздо более сложный, чем японские.

Развитие письменности, как известно, всегда шло по пути ограничения разнообразия букв. Причины этого следует искать в более легком усвоении письма, характеризующегося меньшим разнообразием букв. Поэтому уменьшение фреквентности сегментирующих письменные сообщения интерлитер достигается иным путем. В современных орфографиях функционировать правила, на основании которых определенные цепочки букв трактуются как единичные буквы, т. е. сегментирующая функция интерлитеры

<sup>1</sup> Следует обратить внимание на кажущуюся очевидность числа вхождений (появлений) репрезентантов интерлитеры в данном печатном сообщении. Строго логический подход требует разграничить понятия «интерлитерема» (= класс эквивалентности интерлитер) и «интерлитера» (= конкретный, индивидуальный репрезентант, аллолитера «интерлитеремы»). Что касается рукописных текстов, то здесь следовало бы даже ввести иерархию в классификации интерлитер — придется говорить о подклассе «подлинных» («чистых») интерлитер и о подклассе «штриховых» («лигатурных») интерлитер, так как в современных рукописных текстах буквы то отделяются друг от друга, то связываются специальными наклонными штрихами («лигатурами»).

<sup>2</sup> Понятие «сегментации сообщения» предполагает понятие «сегментационного (демаркационного) сигнала». Правда, А. А. Сардинас и Дж. У. Паттерсон («Необходимое и достаточное условие однозначного разложения закодированных сообщений», «Кибернетический сборник», 3, М., 1961) предлагают другую процедуру однозначного разложения сообщений, якобы не требующую наличия специального сегментационного сигнала (пробела). Однако такая процедура невозможна, если предварительно не дана при помощи интерлитеры буквенная сегментация сообщения.

<sup>3</sup> Правда, в русской орфографии знак *ы* считается одной буквой, несмотря на наличие внутри него интерлитеры, однако это один из конкретно-исторически обусловленных алогизмов традиционной орфографии. Знак *ы* правильнее было бы рассматривать как дилитеру.

в этих буквосочетаниях снимается. Ср., например, польск. *sz* или франц. *eau*. Вводом буквосочетаний, трактуемых как единичные буквы, и достигается то увеличение разнообразия письменных знаков, которое необходимо для реализации однозначного соответствия между сегментами письменного и сегментами речевого сообщения без увеличения разнообразия фигур букв, и, следовательно, без излишних затруднений процесса обучения письму.

Ввод в теорию орфографии понятия «буквосочетание, выполняющее функцию одной (единичной) буквы» требует ввода нескольких новых понятий. Во-первых, необходимо рассматривать межсловные пробелы как знаки, подобные обычным буквам. Весь раздел орфографии, регулирующий так называемые слитные и раздельные написания слов, является по существу списком орфографических правил употребления межсловных пробелов<sup>4</sup>. Назовем межсловный пробел термином «нуллолитера». Существует практика обозначать нуллолитеру (как аллолитеру нуллолитеремы) знаком  $\|$ <sup>5</sup>. Во-вторых, теория орфографии требует отразить аналогичность структур буквосочетаний типа польск. *sz* и букв типа чеш.  $\check{c}$  (с орфографической точки зрения  $\check{c}$  не что иное, как сочетание *с и*  $\check{}$ , только  $\check{}$  ставится не справа от *с*, а над *с*). Следует выработать родовое понятие по отношению к понятиям «буква» и «диакритический знак», которые будут рассматриваться тогда как соподчиненные понятия. Репрезентанты этого понятия представляют собой минимальные объекты, для которых можно сформулировать орфографические правила. Будем называть каждый репрезентант этого понятия термином «литерон»<sup>6</sup>.

В-третьих, необходим термин «литера», которым будет обозначаться либо «буква», либо «буквосочетание», либо «буква с диакритическим знаком», либо, наконец, «сочетание, состоящее из букв и диакритических знаков», т. е. любая совокупность литеронов, для которой может быть сфор-

<sup>4</sup> Надо подчеркнуть, что трактовка межсловного пробела как орфографического знака обычна для прежних грамматических руководств (ср., например, Л. В. Черепнин, Русская палеография, М., 1956, стр. 375; С. И. Абакумов, Об основах методики пунктуации, «Изв. АПН РСФСР», 10, М.—Л., 1947, стр. 33). В этих руководствах межсловному пробелу даны и специальные названия. В данном отношении теория орфографии шла не вперед, а назад, и лишь развитие теории коммуникации (всеобщей теории связи) и ее раздела — теории информации — восстановило осознанность «знаковости» нуллолитеры.

<sup>5</sup> В. Пенков, А. Обретенов, В. Сендов, Т. Кирпикова, Т. Юанков, Frequencies of letters in written Bulgarian, «Доклады Болгарской Академии наук», XV, 3, 1962, стр. 243—244.

<sup>6</sup> Структура предлагаемого термина «литерон» не случайно аналогична структурам терминов типа «электрон», «протон», «фотон». Если рассматривать печатное письменное сообщение как цепочку дискретных позиций — литер, а каждую литеру (орфографическую позицию) как пространство (совокупность ячеек), каждой точке (ячейке) которого соответствует либо присутствие, либо отсутствие литерона определенной типа, то тогда печатное письменное сообщение будет интерпретацией теории цепей Маркова и к нему применима статистика Ферми — Дирака, играющая важную роль в современной статистической физике элементарных частиц.

Здесь невозможно подробно обсуждать далеко не маловажные вопросы о конструировании лингвистических и семиотических терминов, которым в лингвистике все еще не уделяют должного внимания. Необходимо подчеркнуть, однако, что применяемая здесь терминология является интерпретацией по отношению к орфографии формализованной терминологической системы, позволяющей преодолеть ряд хорошо известных затруднений, возникающих при описании языков. Изложим ее совсем кратко, только в виде соответствий с терминами теории множеств.

*X* — название признака, наличие которого у определенного объекта необходимо и достаточно, чтобы этот объект входил в многообразие, описываемое при помощи соответствующей терминологии;

*X*-он — наличие в данной позиции сообщения элемента  $m_i$  множества *M*;

анти-*X*-он — отсутствие в данной позиции сообщения элемента  $m_i$  множества *M*;

*X*-ония — множество всех *X*-онов;

мулировано орфографическое правило. Термином «литера» будем называть именно такой сегмент печатного письменного текста, который читается и/или записывается на основании какого-то орфографического правила <sup>7</sup>.

При классификации литеронов и литер удобной является следующая терминология:

«нуклеолитерон» — обычная буква, в том числе знаки препинания и дефис (но не диакритический знак);

«перилитерон» — диакритический знак <sup>8</sup>;

«супралитерон» — надстрочный диакритический знак, например,  $\overset{\vee}{v}$  в  $\check{c}$  или  $\bar{a}$ ;

«сублитерон» — подстрочный диакритический знак, например,  $\underset{,}{c}$  в  $\check{c}$  (франц. *cédille*) или  $\underset{c}{}$  в польск.  $\check{e}$ ;

«инлитерон» — строчный диакритический знак, например, / в польск.  $\check{f}$  или / в дат.  $\emptyset$ ;

«нуклеолитера» — литера, состоящая только из нуклеолитеронов, например, *a, ы*, польск. *cz*, франц. *eau*, англ. *a—e*;

«макролитерон» — перилитерон-конструкт, позволяющий рассматривать прописные буквы как дилитеры, образуемые из соответствующих строчных букв (нуклеолитеронов) и макролитерона; обозначим его знаком  $\equiv$  <sup>9</sup>;

$X$ -а — подмножество  $M_i$  множества  $M$ , характеризующее определенную позицию сообщения;

$Y$  — название признака, наличие которого в данной  $X$ -е необходимо и достаточно, чтобы причислить  $X$ -у к определенному классу, являющемуся подмножеством множества  $M$ ;

$Y$ - $X$ -а —  $X$ -а класса  $Y$ ;

$Y$ - $X$ -ия — класс, к которому принадлежат каждая  $X$ -а, характеризующаяся признаком  $Y$ ;

$Y$ - $X$ -он —  $X$ -он, входящий в состав по крайней мере одной  $Y$ - $X$ -ы;

$Y$ - $X$ -ония — множество всех  $Y$ - $X$ -онов;

$X$ -ия — множество  $\mathfrak{M}$  всех подмножеств  $M_i$  множества  $M$ ;

$X$ -емия — подмножество  $\mathfrak{M}$  множества  $\mathfrak{M}$ , объединение некоторых подмножеств  $M_1, M_2, \dots, M_n$  множества  $M$  с инвариантом, т. е. с непустым пересечением;

$X$ -ема — пустое пересечение некоторых множеств  $M_1, M_2, \dots, M_n$  множества  $M$  ( $inv \mathfrak{M}_i = \bigcap_{i=1}^n M_i \neq \emptyset$ ) или, что то же самое, инвариант какого-либо подмножества  $\mathfrak{M}_i$  множества  $\mathfrak{M}$ ;

$Z$  — название  $X$ -емы;

алло- $X$ -а  $X$ -емы —  $Z$  — репрезентант  $X$ -емы  $Z$  = реализация  $X$ -емы  $Z$  (можно обозначить и  $Z$ - $X$ -а, если отвлечься от опасности недоразумения, порождаемого смешением с  $Y$ - $X$ -ой) — подмножество  $M_i$  множества  $M$ , содержащее инвариант, называемый  $X$ -емой  $Z$ ;

$Z$ - $X$ -емон — элемент  $m_i$  множества  $M$ , являющийся также элементом  $X$ -емы  $Z$ ;

архи- $X$ -ема  $X$ -ем  $P, Q, R, \dots$  — непустое пересечение некоторых  $X$ -ем  $P, Q, R, \dots$ ;

архи- $X$ -емия  $X$ -емий  $P, Q, R, \dots$  — объединение  $X$ -ем  $P, Q, R, \dots$ .

<sup>7</sup> Именно литере (а не «букве» в обычном смысле этого слова) соответствует в хорошо излагаемой Н. И. Жинкиным теории (см. «Знаки и система языка», сб. «Zeichen und System der Sprache», I, Berlin, 1964, а также «Звуковая коммуникация обезьян», «Изв. АНН РСФСР», 113 — Мышление и речь, М., 1960) термин «конкретная буква», или, точнее, «репрезентант какой-то абстрактной буквы». Термину «абстрактная буква», следуя привившейся уже в лингвистике удачной «аллоэмической» структуре терминов, соответствовал бы термин «литерема», а термину «репрезентант определенной абстрактной буквы» соответствовал бы термин «аллолитера определенной литеремы».

<sup>8</sup> Некоторые перилитероны не отделены от нуклеолитерона явной интерлитерой, однако их функция требует, чтобы они рассматривались как отдельные орфографические объекты. Впрочем, явная интерлитера исчезает в определенных случаях и между двумя нуклеолитеронами. Ср., например, дат. и норв.  $\ae$ . Вопрос о трактовке редуцированной до нуля интерлитеры с теоретической точки зрения интересен, но здесь нет необходимости его ставить.

<sup>9</sup> Таким образом рассматривает прописные буквы, например, Г. Глисон («Введение в дескриптивную лингвистику», М., 1959, стр. 399).

«макролитера» — прописная буква, т.е. дилитера, состоящая из нуклеолитерона и макролитерона;

«нуллолитерон» — литерон, образующий нуллолитеру; нуллолитера является также нуклеолитерой;

«унилитера» — литера, состоящая из одного нуклеолитерона, но не нуллолитера;

«монолитера» — нуллолитера либо унилитера;

«полилитера» — сочетание литеронов, из которых по крайней мере один является нуклеолитероном, точнее унилитероном (смежность нуллолитеронов в полилитере не допускается);

«дилитера» («2-литера») — полилитера, состоящая из двух литеронов;

«трилитера» («3-литера») — полилитера, состоящая из трех литеронов, причем если все они нуклеолитероны, первый и третий могут быть нуллолитеронами;

«тетралитера» («4-литера») — полилитера, состоящая из четырех литеронов;

аналогичным образом определяются термины «пенталитера» («5-литера»), «гексалитера» («6-литера») и т. д.

Полилитера может быть также «контактной» или «слитной», если между ее литеронами интерлитеры редуцированы до нуля (например, дат. *sz*, *ð*, польск. *ź*, чеш. *ě*, *á*), «недиссоциированной», если она контактная или если между ее литеронами «вставлены» только интерлитеры (например, *ā*, *ě*, польск. *cz*, *šč*[]) и «диссоциированной», если она состоит из литеронов, между которыми вставлены литероны других литер. Места диссоциаций в диссоциированной полилитере будем обозначать знаком —. Например, в английском слове *pate* сочетание *a—e* является диссоциированной дилитерой, так как оно состоит из двух литеронов — *a* и *e*, которые разделены (диссоциированы) литероном, принадлежащим унилитере *m*.

Следует иметь в виду, что в письменном сообщении одна и та же буква может быть одновременно репрезентантом литеронов, принадлежащих двум литерам. Такую букву будем называть «диплолитероном». Например, в английском слове *age* буква *e* является в одно и то же время литероном диссоциированной дилитеремы *a—e* и литероном недиссоциированной дилитеремы *ge*.

Наконец, литеремы, объединяемые каким-то орфографическим правилом одинаковым способом чтения, будем называть «изоагностическими» (от греч. основы *ἰσχυρός*-, соответствующей основе глагола «читать»). Изоагностическими являются, например, в русской, украинской, белорусской и болгарской орфографиях дилитеремы *б?* и *п?*, *б!* и *п!*, *б*; и *п*; *б*; и *п*: [но не *б*. и *п.*, поскольку они «псевдолитеремы» — об этом термине см. ниже — и их чтение может быть разным; ср., например, чтение *б*. в библиографическом сокращении *б.г.* (= «без года») и в заканчивающем какое-то предложение слове *хлеб*; псевдолитеремами являются также *б*[[ и *п*[[].

Литеры даже в печатном сообщении не вполне одинаковы. Две литеры являются одинаковыми, если их литеронный состав один и тот же, хотя реализации составляющих их литеронов могут различаться в деталях заметно для глаза, но случайно. Так, например, в выражении *Суд! Суд!* первая дилитера *д!* и вторая дилитера *д!* не вполне одинаковы — вершина литерона! во второй дилитере *д!* как бы отсечена. Однако всеми это отклонение в форме *д!*, несомненно, призналось бы «случайным». Литеры, одинаковые с точностью до литеронного изоморфизма, будем называть аллолитерами одной и той же литеремы.

Если принять, что в речевых сообщениях данного языка встречается во всяческих комбинациях *f* разных речевых фактов, не являющихся для

общества фонетической особенностью данного говорящего индивида, то минимальное число литерем орфографии этого языка должно быть равным  $f$ , а число ( $l$ ) литеронов, из которых должны конструироваться все  $f$  литерем орфографии этого языка, будет на единицу больше характеристики двоичного логарифма числа  $f$ . Для болгарского языка  $f$  не меньше 1194, а для русского языка  $f$  не меньше 1051<sup>10</sup>. Имеются в виду не только учитываемые в орфографических пособиях «фонемные» различия, но и такие «суперсегментные» дифференциации, как словесное ударение, фразовое ударение и интонация. Их подробное рассмотрение не может быть задачей настоящей статьи<sup>11</sup>. Здесь дадим лишь общий их перечень для русского и болгарского звуковых языков.

Во-первых, это речевые факты, обозначаемые обычно сочетаниями согласной буквы со следующей за ней гласной. Всего их в русском звуковом языке 988. Они образуются из 38 консонантных фонем (19 твердых — *б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, с, ш* — и 19 мягких — *б', в', г', д', з', й, к', л', м', н', п', р', с', т', ф', х', ч, ц, ш*), и 26 вокальных фонем — 5 ударных (*а, о, у, э, ы*), 5 фразово (логически) акцентированных (*а, о, у, э, ы*) и 3 безударных (*а, у, ы*), каждая из которых может произноситься с восходящей либо с нисходящей интонацией. В болгарском языке соответствующих речевых фактов 1140. Они образуются из 39 консонантных фонем (22 твердых — *б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, с, ч, ц, ш* — и 17 мягких — *б', в', г', д', з', к', л', м', н', п', р', с', т', ф', х', ч', s'*<sup>12</sup> и 30 вокальных — 6 ударных (*а, е, и, о, у, ъ*), 6 фразово акцентированных (*а, е, и, о, у, ъ*) и 3 безударных (*а/ъ, о/у, с/и*), каждая из которых, как и в русском, может сопровождаться либо восходящей, либо нисходящей интонацией.

Во-вторых, в русском языке встречаются вне перечисленных сочетаний 26 вокальных (безударных — 3, ударных и фразово акцентированных по 5 с восходящей и нисходящей интонацией) и 36 консонантных фонем (включая звонкое *х*, но исключая мягкие *г', к', х'*). В болгарском языке — 30 вокальных фонем (безударных — 3, ударных и фразово акцентированных по 6 с восходящей и нисходящей интонацией) и 23 консонантные фонемы (включая звонкое *х*, но исключая все мягкие консонанты). Наконец, надо учесть и паузу.

Следовательно, число литеронов, необходимых и достаточных для выражения всего многообразия болгарского и русского звуковых языков ( $l$ ), равно 11 ( $10 < \lg_2 1051 < \lg_2 1194 < 11$ ) — имеются в виду литероны как детали букв с фиксированным местом.

А букв, т. е. литеронов, используемых в русском алфавите — 47, включая *ё*, нуллолитеру, макролитерон, 12 знаков препинания. В болгарском алфавите их 44 — отсутствуют *ё, э и ы*.

Можно ли на основании этих данных утверждать, что русская и болгарская орфография являются неэкономными? Нелегко ответить коротко на этот вопрос. В максимально экономной 11-литеронной орфографии

<sup>10</sup> Не меньше, но и не на много больше. Не включены в суммы лишь болгарская «инспираторная» (точнее «всасывающе» произносимая) альвеолярная аффриката, выражающая отрицание (при повторении — удивление), а также всасывающий билабиал «воздушного поцелуя», назальные ларингалы, выражающие непонимание, а при повторении согласие или несогласие, и, наконец, билабиальный вибрант, которым останавливают лошадей или подгоняют овец.

<sup>11</sup> Словесное ударение, фразовое ударение, а также восходящая и нисходящая интонации ничем не отличаются от остальных «несуперсегментных дифференциальных признаков» и, по-видимому, не являются результатом, как обычно думают, деятельности голосовых связок, потому что различаются и при шепоте.

<sup>12</sup> Перед *е* и *и* в болгарском звуковом языке твердые *г, к, х* не встречаются.

должны применяться нуллолитерема, 11 унилитерем, 55 ( $= C_{11}^2$ ) дилитерем, 165 ( $= C_{11}^3$ ) трилитерем, 330 ( $= C_{11}^4$ ) тетралитерем, 462 ( $= C_{11}^5$ ) пенталитеремы и из всех также 462 возможных ( $= C_{11}^6$ ) гексалитерем только 27 для русского и 170 для болгарского языка. В буквах, применяющихся сейчас, распределение вариативных компонентов едва ли позволит так графически оформить литероны, чтобы новые литеремы выглядели похожими на старые буквы с их фонетическими значениями, к которым мы «безнадежно» привыкли. Лишь если бы это удалось, преимущества 11-литеронного алфавита стали бы очевидными. Вот почему нельзя ставить вопрос об оптимальной орфографии в собственно теоретическом плане.

Итак, множество  $\Gamma = \{\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_n\}$  является множеством не букв, а литерем, т. е. множеством множеств литеронов. Если представить себе такое разбиение множества  $\Phi$ , что каждой литереме  $\Gamma_i$  множества  $\Gamma$  соответствует один и только один класс  $\Phi_i$  разбиения множества  $\Phi$ , то декартово произведение множеств  $\Gamma$  и  $\Phi$  ( $\mathcal{D}_{\Gamma} = \Gamma \times \Phi$ ) можно назвать «орфоанагностией», а каждую пару — элемент декартова произведения множеств  $\Gamma$  и  $\Phi$  ( $\mathcal{D}_{\Gamma_i} = \Gamma_i \Phi_j$ ) — «элементарным правилом чтения» или «орфоанагностемой». Орфоанагностия не имеет отношения к возможности существования двух или более литерем ( $\Gamma_i, \Gamma_k, \dots$ ) в качестве соответствий одного и того же класса  $\Phi_j$  разбиения множества  $\Phi$ . Короче:

$$\mathcal{D}_{\Gamma} = \{\mathcal{D}_{\Gamma_i} / \mathcal{D}_{\Gamma_k} = (\Gamma_i \Phi_j) \in \mathcal{D}_{\Gamma} \Rightarrow \mathcal{D}_{k_j} = (\Gamma_k \Phi_j) \notin \mathcal{D}_{\Gamma}, \text{ если } i \neq k\}. \quad (1)$$

В более привычной лингвистической терминологии определению (1) соответствует утверждение, что орфоанагностией обеспечивается отсутствие омографов в достаточно длинном тексте. Орфоанагностия делает возможным безошибочное одинаковое чтение (изоанагностию) текста<sup>13</sup>, но не имеет отношения к записыванию речи. Орфоанагностия призвана обеспечить чтение всех возможных текстов языка людьми, не имеющими никакого представления о семантике читаемых ими текстов.

Наоборот, если представить такое разбиение множества  $\Gamma$ , что некоторым подмножествам  $\Phi_j, \Phi_k, \dots$  множества  $\Phi$  соответствует одна и только одна литерема  $\Gamma_i$  множества  $\Gamma$ , то декартово произведение множеств  $\Gamma$  и  $\Phi$  ( $\mathcal{D}_{\Phi} = \Phi \times \Gamma$ ) можно назвать «орфоанаграфией», а каждую пару декартова произведения множеств  $\Phi$  и  $\Gamma$  ( $\mathcal{D}_{\Phi_{ij}} = (\Gamma_i, \Phi_j)$ ) — «элементарным правилом записывания» или «орфоанаграфемой». Орфоанаграфия не имеет отношения к возможности существования двух или более разных речевых фактов ( $\Phi_j, \Phi_k, \dots$ ) в качестве соответствий одной и той же литеремы  $\Gamma_i$  множества  $\Gamma$ . Короче, если обозначим орфоанаграфию через  $\mathcal{D}_{\Phi}$ , то:

$$\mathcal{D}_{\Phi} = \{\mathcal{D}_{\Phi_{ij}} / \mathcal{D}_{\Phi_{ik}} = (\Gamma_i, \Phi_j) \in \mathcal{D}_{\Phi} \Rightarrow \mathcal{D}_{ik} = (\Gamma_i, \Phi_k) \notin \mathcal{D}_{\Phi}, \text{ если } j \neq k\}. \quad (2)$$

Иными словами, орфоанаграфия обеспечивает отсутствие омофонов в речевых сообщениях. Она делает возможным безошибочное одинаковое печатное отображение речевого сообщения, но не обеспечивает одинакового чтения записанного текста.

Всякая орфография ( $\mathcal{D}_{\Gamma\Phi}$ ) является пересечением орфоанагностии и орфоанаграфии ( $\mathcal{D}_{\Gamma\Phi} = \mathcal{D}_{\Gamma} \cap \mathcal{D}_{\Phi}$ ), т. е.

<sup>13</sup> Под «безошибочным чтением» текста здесь понимается не такое чтение, которое полностью воспроизводило бы первоначальную звуковую форму записанного сообщения, а такая звуковая интерпретация текста, все отклонения которой от первоначальной его звуковой формы воспринимаются обществом как допустимые индивидуальные особенности чтеца.

$$\mathcal{D}_{\overline{F\Phi}} = \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \mathcal{D}_{kj} = (\Gamma_k \Phi_j) \notin \mathcal{D}_{\overline{F\Phi}}, \text{ если } i \neq k \\ \mathcal{D}_{\overline{F\Phi}} = \{ \mathcal{D}_{\overline{F\Phi}ij} / \mathcal{D}_{\overline{F\Phi}ij} = (\Gamma_i \Phi_j) \in \mathcal{D}_{\overline{F\Phi}} \\ \Rightarrow \mathcal{D}_{ik} = (\Gamma_i \Phi_k) \notin \mathcal{D}_{\overline{F\Phi}}, \text{ если } j \neq k \end{array} \right\} \quad (3)$$

Ведь орфография, объединяющая правила записывания и правила чтения в правила об однозначных трансформациях (орфографемы), не должна содержать логически противоречивых утверждений.

Поэтому пары  $\mathcal{D}_{ij} = \{\Gamma_i \Phi_j\}$ ,  $\mathcal{D}_{kj} = \{\Gamma_k \Phi_j\}$  и  $\mathcal{D}_{ik} = \{\Gamma_i \Phi_k\}$  не могут принадлежать орфографии  $\mathcal{D}_{\overline{F\Phi}}$ . Иными словами, если наряду с правилом  $\mathcal{D}_{ij} = \{\Gamma_i \Phi_j\}$  существует правило  $\mathcal{D}_{kj} = \{\Gamma_k \Phi_j\}$ , то при помощи этих правил можно читать, но для записывания речи они не годятся, поскольку противоречат друг другу. Обратно, если наряду с правилом  $\mathcal{D}_{ij} = \{\Gamma_i \Phi_j\}$  существует и правило  $\mathcal{D}_{ik} = \{\Gamma_i \Phi_k\}$ , при их помощи можно записывать речь, но читать безошибочно невозможно. Например, на основании орфографических правил современной русской и болгарской орфографией «дильтереме *н*» соответствует неозвученный голосовыми связками экспираторный щелчок, производимый губами, за которым следует пауза» и «дильтереме *б*» соответствует такой же щелчок, за которым следует пауза» читать можно, но записывать нельзя, поскольку одна и та же последовательность речевых явлений должна была бы на основании первого соответствия трансформироваться в *н*?, а на основании второго соответствия — в *б*?. Наоборот, на основании, например, правила русской орфографии «дильтереме *по* соответствует сочетание, состоящее из производимого губами щелчка, за которым следует округленный широкий средний ударный вокал» и правила той же русской орфографии «дильтереме *но* соответствует сочетание, состоящее из производимого губами щелчка, за которым следует неокругленный средний безударный вокал» можно записывать, но читать нельзя.

Противоречия, порождаемые на основе объединения орфоаногностем и орфоанаграфем в одну систему утверждений, в орфографии преодолеваются путем применения орфоаногностем и орфоанаграфем, относящихся к полилитеремам, содержащим больше литеронов, чем отбрасываемые противоречащие друг другу правила. Так, например, если приведенные выше правила о дильтеремах *н*? и *б*? нельзя объединить в одну орфографию, то придется анализировать пары трилитерем, в которые входят дильтеремы *н*? и *б*?. Если при этом окажется, что среди этих трилитеремных пар есть такие, речевые компоненты которых не совпадают, и, кроме того, с их речевыми компонентами в данной орфографии не связаны в пары другие литеремы, то для соответствующих трилитерем формулируются орфографемы (взаимно однозначные орфографические правила трансформаций).

Таким образом, анаграфическая неопределенность дильтерем снимается, но зато вместо каждого дильтеремного правила в данной орфографии появляется столько трилитеремных правил, сколько литеронов применяется в орфографии. А если среди трилитерем окажутся анаграфически или анагностически неопределенные, то необходимо будет перейти к тетралитеремам. И это снова теоретически умножит количество правил орфографии для каждой неопределенной трилитеремы во столько раз, сколько литеронов применяется в орфографии. То же произойдет с каждым переходом к пенталитеремам, гексалитеремам и т. д.

Так, например, анаграфическую неопределенность дильтерем *н*? и *б*? в русской и болгарской орфографиях невозможно снять ни трилитеремными, ни тетралитеремными правилами, и лишь некоторые пенталитеремы, окан-

чивающиеся дилитеремами  $n^?$  или  $b^?$ , и анаграфически, и анагностически точно определены: пенталитеремы ]]раб!, ]]зуб!, ]]тун! и др. А количество всех орфограмм в русской орфографии, относящихся к пенталитеремам, которые оканчиваются на б! или п!, огромное:  $2.34^3 = 78\ 608$ . И в болгарской орфографии оно того же порядка:  $2.31^3 = 59\ 582$ . При этом не принимаются во внимание знаки препинания. Кроме того, даже некоторые пенталитеремы как для русской, так и для болгарской орфографии оказываются анаграфически неопределенными. Такими являются, например, русские ]]туб! и ]]тун! и болгарские ]]куб! и ]]кун!.

Если вообще возможно составление перечней орфографических правил, то лишь потому, что в перечни включаются только полилитеремы, вероятность появления которых в текстах данного языка не слишком мала, т. е. только полилитеремы, которые в текстах данного языка отмечены средней фреквентностью, превышающей некоторую малую пороговую величину  $h$ . Орфографические словари представляют собой именно такие перечни. Право решения включить или не включить какую-либо полилитерему в словарь, т. е. считать эту полилитерему отмеченной принадлежностью или непринадлежностью к данному языку, предоставляется не очень надежным накапливающим памятным устройствам мозга лингвиста, составителя словаря. Лингвисты же из всех полилитерем, отмеченных вероятностью, большей  $h$  (названной ими «осмысленность»), признают достойными орфографического уважения лишь те, которые начинаются нуллитероном и заканчиваются знаком препинания, обозначающим паузу; они заменяют этот знак нуллитероном, называют соответствующие полилитеремы «словами» и объявляют их «кандидатами в словарь». Однако прежде чем включить слова (т. е. полилитеремы типа ]]ab. . . n!) в орфографический словарь, их подвергают еще одной «чистке» — среди «кандидатов» выбирают так называемые «основные формы» и лишь им дают «пропуск» в словарь. Орфографию остальных, «неосновных», хотя и более часто встречаемых в текстах форм слов орфографический словарь не дает.

Замена конечного знака препинания нуллитероном представляет собой объяснимую (нуллитереме может соответствовать в речи пауза), но с логической точки зрения опасную трансформацию, которая не замедляет дать о себе знать: некоторые включаемые в словари полилитеремы типа ]]ab . . . n]] являются анагностически и/или анаграфически неопределенными, поскольку их трансформы (]]ab. . . n:, ]]ab. . . n?, ]]ab. . . n! и т. п.) в текстах не встречаются (или, точнее, частость их появления в текстах ниже порога отмеченности  $h$ ), а конечный нуллитерон их словарной трансформации в текстах либо — редко — обозначает паузу, либо — гораздо чаще — не имеет никакого соответствия в речи. Такие полилитеремы будем называть псевдолитеремами. Псевдолитеремой (псевдотрилитеремой) является, например, русский и болгарский предлог ]]е]]. Трилитерему ]]е]] нельзя включить в орфографический словарь в качестве трансформы (репрезентанта), например, трилитерем ]]е: или ]]е?. Аллитер этих трилитерем в болгарских и русских текстах вообще не бывает. Снять орфографическую неопределенность псевдолитеремы ]]е]] удастся лишь путем перехода к орфограммам, соотносящимся с тетралитеремами или даже пенталитеремами типов ]]е]]м и ]]е]]сд. Очевидно, предлог е в орфографические словари нельзя включать без специальных оговорок.

Все же для псевдолитеремы можно сформулировать орфографическое (точнее, анагностическое или анаграфическое) правило, по которому будут определяться некоторые инвариантные компоненты всех речевых соответствий псевдолитеремы. Такое орфографическое правило будем называть «парциальной (частичной) орфограммой» (соответственно «парциальной орфоанагностемой» или «парциальной орфоанаграфемой»). На-

пример, для псевдолитеремы  $[[\epsilon]]$  можно сформулировать парциальную орфоанагностему: «трилитереме  $[[\epsilon]]$  соответствует в речи лабиодентал».

Полная формулировка орфографемы предполагает перечисление всех элементов множества  $\Phi_j$  и всех элементов множества  $\Gamma_i$ ; практически это нереализуемо. Поэтому роль орфографических словарей сводится к трансформации слов (репрезентантов полилитерем) официальной орфографии в полилитеремы орфографии более экономной, описывающей при помощи меньшего числа правил (орфографем). Это словарная фонетическая транскрипция. Уменьшение числа орфоанаграфем в фонетической транскрипции достигается благодаря тому, что, как уже указывалось, многообразие всячески комбинируемых и принимаемых обществом в качестве неслучайно отличных друг от друга звуковых фактов не очень большое — оно порядка 11 битов. А поскольку в обычных алфавитах количество букв порядка 30 (без учета перилитеронов, т. е. диакритических знаков), то построить не очень отличную от официальной и в то же время очень экономную орфографию — фонетическую транскрипцию — можно лишь на основе дилитерем и трилитерем, составленных из обычных 30 букв и некоторых перилитеронов. Звуковые соответствия литерем этой транскрипции вводятся в сознание людей в процессе обучения прямой речевой демонстрацией чтения и, поскольку число литерем фонетической транскрипции небольшое, просто запоминаются.

Нельзя ли заменить официальную орфографию «фонетической транскрипцией»? Последняя, правда, не столь экономна, сколь возможно теоретически, но зато не слишком отличается от официального правописания.

Наиболее серьезное препятствие на пути к принципиальному облегчению орфографии представляет собой фонология. Фонология возникла и развивалась по существу как теория орфографии, т. е. как теория трансформаций речевых сообщений в письменные и письменных сообщений в речевые. Однако, не имея возможности наблюдать непосредственно речевые сообщения, лингвисты до самого последнего времени исходили не из самих речевых сообщений, а из некоторых письменных буквенных трансформаций этих сообщений, называемых «точными записями речи». Таким образом буквенная дискретность негласно привносилась в объект лингвистики, проблема о собственной дискретности речи фактически подменялась проблемами, связанными с гомоморфностью, т. е. много-однозначностью трансформации «более скрупулезная буквенная запись речи — обычная буквенная запись речи». Речевое сообщение как результат изучаемых трансформаций по существу вообще исчезало из поля зрения лингвиста, поскольку результатом обеих трансформаций — приведенной и обратной ей — является письменное сообщение.

«Аспект чтеца» весьма важен для орфографии. Как уже было указано, число тех анаграфических правил (орфоанаграфем), при помощи которых в данной орфографии достигается изоанаграфия (безошибочное записывание), может быть весьма различным в разных орфографиях. Естественно, что легче изучить ту орфографию, которой при помощи меньшего числа правил достигается изоанаграфия. На первый взгляд может показаться, что это число является надежным критерием степени трудности орфографии, а следовательно, и степени возможного облегчения орфографии. В действительности же этот критерий может подвести, так как он позволяет рассматривать как крупную орфографическую реформу устранение некоторого количества редко применяющихся анаграфических правил (орфоанаграфем). Да и практически невозможно быть вполне уверенным в том, что список орфографических правил, принятых во внимание исследователем, исчерпывающ для данной орфографии. Дело в том, что понятие «текст данного естественного человеческого языка» не является понятием с резко

очерченным объемом. Всегда возможны споры относительно принадлежности к «данному языку» некоторых текстов слишком специальных наук или региональной литературы. Наконец, надо подчеркнуть, что на основе традиционной грамматической терминологии часто удается выразить большие множества орфоанagramм одной и к тому же весьма компактной формулировкой, а это создает ложное впечатление «легкости» орфографии. Вот почему необходимо принимать во внимание частоту применения орфографических правил в среднем. Затем легко можно было бы находить вероятность появления анаграфической и/или анагностической неопределенности при устранении из орфографии какой-нибудь группы орфограмм.

Если бы лингвисты при характеристике так называемых «фонетических орфографий» имели в виду не только правила записывания (анаграфические правила, орфоанagramмы), но и анагностические правила, то не приводили бы в качестве «образца» фонетической орфографии сербскохорватское правописание. Ведь эта орфография не предусматривает обозначения так называемых «акцентов» и «долгот» гласных, вследствие чего вероятность появления анагностической неопределенности (средняя частота омографических речевых фактов) близка к 0,4 — из десяти букв (включая пробелы) сербскохорватского текста приблизительно четыре нельзя прочесть правильно на основании обозримого числа орфоанagramм. Подобным же образом обстоит дело с рядом других славянских орфографий — словенской, македонской, болгарской, русской, украинской, белорусской.

Более удачными с анагностической точки зрения (т. е. с точки зрения чтеца) являются чешская, словацкая и в несколько меньшей мере польская, а также лужицкие орфографии. С точки зрения чтеца более определенной оказывается даже известная своими традиционализмами французская орфография, а испанская орфография может служить примером реализации орфографии с малой степенью анагностической неопределенности.

Если абстрагироваться от псевдопроблемы, являются ли так называемые ударные гласные реализациями фонем, отличных от соответствующих им «безударных» фонем, обозначаемых на письме одними и теми же буквами (само понятие «фонема» является порождением особенностей орфографии и поэтому орфография может и должна анализироваться без помощи понятия фонемы), теоретический вопрос о причинах игнорирования интересов чтеца в новых кириллических славянских орфографиях может получить простой конкретно-исторический ответ: все они развились из русской «гражданской» азбуки, образцом которой служила графика без ударений<sup>14</sup>.

Если, опираясь на строгую теорию орфографий, разграничивать правила записывания и правила чтения, то, возможно, удастся построить и ввести в практику две орфографии: 1) более легкую для записи — предполагающую читателя, для которого соответствующий звуковой язык является родным; 2) более трудную для пишущего — дающую возможность читателям, для которых соответствующий язык не является родным, легко получать от письменного текста максимальную информацию о его звучании.

<sup>14</sup> В своей статье «Об усовершенствовании русской орфографии» (ВЯ, 1963, 2, стр. 85) М. В. Панов, призывая за ударением достоинство «фонематической единицы», отмечает, что в «строгое последовательное фонематическое письмо оно должно быть обозначено». Однако М. В. Панов не предлагает ввести в русскую орфографию обозначение словесного ударения. Это происходит из-за невнимания к анагностической стороне орфографии.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. И. СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ

ИСЛАНДСКО-НОРВЕЖСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАСНЫХ

(К вопросу о сущности звуковых изменений)

Как известно, Исландия была заселена в конце IX — начале X в. в основном выходцами из западной Норвегии, и потом между Норвегией и Исландией существовали торговые и другие связи, однако не позднее 1380 г., когда Исландия стала датским владением. Известно также, что в исландском языке и в ряде западнонорвежских (точнее — юго- и среднезападнонорвежских) диалектов произошли некоторые сходные звуковые изменения. Сходство между исландским и западнонорвежским особенно велико в развитии согласных, а именно в изменениях / rn > dn ll > dl rl > dl fu > bn / (например, в исл. *barn, fjell, karl, nafn*), / nn > dn / после долгих гласных и дифтонгов (например, в исл. *steinn*) и / p > b t > d k > g / после гласных (например, в исл. *slapa, rata, vaka*). Я опустил те исландско-норвежские изменения согласных, которые представлены в Норвегии только на очень ограниченной территории. Впрочем надо сказать, что все исландско-норвежские звуковые изменения прошли в Исландии более последовательно, чем в Норвегии. Датировать все эти переходы очень трудно, так как в письме они отражены скудно и непоследовательно. Древнейшие отражения в письме переходов / rn > dn ll > dl nn > dn / относятся в Исландии к XIV в.<sup>1</sup>, а перехода / rl > dl / — к XV в.<sup>2</sup> В Норвегии они относятся в случае перехода / rn > dn / к XIV в.<sup>3</sup>, а в случае переходов / nn > dn rl > dl ll > dl / — к XV в.<sup>4</sup> Древнейшие отражения в письме переходов / p > b t > d k > g / относятся в Норвегии к началу XIV<sup>5</sup> или, может быть, к XIII в.,<sup>6</sup> тогда как в Исландии они относятся к XV в.<sup>7</sup> или, вернее, к середине XVIII в.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> J. L. L. J ó h a n n s s o n, *Nokkrar sögulegar athuganir um helztu hljóðbreytingar og fl. í íslenzku, einkum í miðaldarmálinu (1300—1600)*, Reykjavík, 1924, стр. 78, 82. Речь идет об обратных написаниях *Ornú* вместо *Oddnú*, *kallmenn* вместо *karlmenn*, *Sveirn* вместо *Sveinn* и т. п. На те же обратные написания ссылается Хегста (M. H æ g s t a d, *Vestnorsk maalføre fyre 1350*, «Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, II, hist-filos. klasse, 1941», 1, Oslo, 1942, стр. 112—113).

<sup>2</sup> M. H æ g s t a d, указ. соч., стр. 114.

<sup>3</sup> D. A. S e i p, *Norsk språkhistorie til omkring 1370*, Oslo, 1955, стр. 174 и 286. Речь идет о написании *Aatne* вместо *Arne* от 1328 г. Хегста приводит написание *þodni* вместо *þórny* от 1397 г. (M. H æ g s t a d, указ. соч., «Skrifter...», 1915», 3, Kristiania, 1916, стр. 142).

<sup>4</sup> M. H æ g s t a d, указ. соч., «Skrifter...», 1914», 5, Kristiania, 1915, стр. 63; «Skrifter...», 1915», 3, Kristiania, 1916, стр. 143. Речь идет о написании *ludhnendum* вместо *lunnendum* от 1403 г., *brudlaupe* вместо *brullaupe* от 1441 г. и *jWdhlande* вместо *Aurlande* от 1438 г.

<sup>5</sup> M. H æ g s t a d, указ. соч., «Skrifter...», 1914», 5, Kristiania, 1915, стр. 58; D. A. S e i p, указ. соч., стр. 297.

<sup>6</sup> D. A. S e i p, указ. соч., стр. 182.

<sup>7</sup> M. H æ g s t a d, указ. соч., «Skrifter...», 1941», 1, Oslo, 1942, стр. 110.

<sup>8</sup> B. G u ð f i n n s s o n, *Mállýzkur, I*, Reykjavík, 1946, стр. 234, примеч. 2

Отношения между исландскими и сходными с ними западнонорвежскими изменениями согласных истолковываются различно, и это в значительной степени объясняется тем, что различно понимается сущность звукового изменения. В связи с этим хотелось бы высказать некоторые общие соображения.

В недавно опубликованной диссертации американского скандинависта К. Чепмена подробно рассматриваются исландско-норвежские звуковые изменения, их история и распространение<sup>9</sup>. Относящиеся сюда факты были, правда, известны раньше из диалектографических и других работ, но систематического обзора этих фактов до сих пор не было. В теоретическом плане Чепмен, ссылаясь на выводы психолингвистики, устанавливает, что «механизм фонетического изменения определяют два момента: образование фонетических модификаций в силу психологических факторов и распространение этих модификаций в силу социальных факторов»<sup>10</sup>. Таким образом, он склоняется к тому, что «всякое звуковое изменение есть процесс заимствования»<sup>11</sup>. Чепмена интересуют связи звукового изменения со сходными изменениями в родственных диалектах или языках, т. е., так сказать, его «внешние связи». Напротив, связи звукового изменения с другими изменениями в том же диалекте (его «внутренние связи») Чепмена не интересуют (за исключением элементарных случаев относительной хронологии). Поэтому у него звуковые изменения — это такой же набор изолированных и случайных фактов, какими они обычно бывали в традиционных исторических грамматиках. Термины «фонема», «аллофон», «структура», sporadически встречающиеся в его книге, не меняют положения. Допустив, что древнейшие отражения в письме могут отставать от звукового изменения на несколько сот лет<sup>12</sup>, Чепмен в конечном счете приходит к выводу, что факты не противоречат объяснению исландско-норвежских звуковых изменений влиянием норвежского на исландский<sup>13</sup>. Аналогичное предположение относительно переходов /rŋ>dn nn>dn ll>dl rl>dl/ высказал раньше Йоханссон<sup>14</sup>. В своем понимании звуковых изменений Чепмен в сущности следует общему направлению современной американской исторической лингвистики, которое с наибольшей полнотой проявилось в обобщающей работе Хёнигсвальда о языковых изменениях<sup>15</sup>. Хёнигсвальда интересует, как следует описать замену одного звука другим в терминах соответствующих синхронных срезов<sup>16</sup>. Движущие силы этой замены, ее предпосылки и связи его не интересуют. Поэтому за новыми терминами у него в сущности скрываются те же ничем не обусловленные и ни с чем не связанные звуковые переходы, которыми оперировало доструктурное языкознание.

Неслучайно Кун — немецкий филолог, абсолютно чуждый новым веяниям в языкознании и, в частности, фонологии, — пришел к тому же выводу, что и Чепмен, но в более резкой формулировке<sup>17</sup>. По Куну, в результате заселения Исландии, Фарерских, Шетландских и Оркнейских остро-

<sup>9</sup> K. G. Chapman, Icelandic-Norwegian linguistic relationships, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», VII, suppl., 1962.

<sup>10</sup> Там же, стр. 18.

<sup>11</sup> Там же, стр. 148.

<sup>12</sup> Там же, стр. 79.

<sup>13</sup> Там же, стр. 146.

<sup>14</sup> J. L. L. Jóhannsson, указ. соч., стр. 83; ср. также его ответ на рецензию Тоуроульфссона в «Arkiv för nordisk filologi», XLII, 1925—1926, стр. 276.

<sup>15</sup> H. M. Hoenigswald, Language change and linguistic reconstruction, Chicago, 1960.

<sup>16</sup> Там же, стр. 86 и сл. Ср. W. P. Lehmann, Historical linguistics, New York, 1962, стр. 147 и сл.

<sup>17</sup> H. Kuhn, Zur Gliederung der germanischen Sprachen, «Zeitschr. für deutsches Altertum und deutsche Literatur» LXXXVI, 1, 1955, стр. 1—47, особенно стр. 17 и сл.

вов выходцами из западной Норвегии образовался «океаноскандинавский язык» (das Ozeannordische) с центром тяжести в океанских дорогах или портах западной Норвегии, откуда языковые новации распространились через океан в продолжение 700 лет. В перечне звуковых переходов, который он приводит в подтверждение своего вывода, большинство либо древнее заселения Исландии, либо не специфичны для «океаноскандинавского». О фактах расхождения исландского и норвежского, особенно многочисленных с XIV в., Кун ничего не говорит. В его концепции океан всегда связывает, независимо от того, есть ли политические и экономические предпосылки для такой связи. Возможность параллельного развития кажется Куну предрассудком. Оно не мыслимо, по Куну, в частности, потому, что исландско-норвежские новации «не может объединить никакая система»<sup>18</sup>. Но ведь система в звуковых изменениях — это как раз то, что всего меньше интересует Куна.

Между тем многие исландские и норвежские ученые допускали возможность параллельного развития<sup>19</sup>. Надо признать, однако, что понятие «параллельное развитие» само по себе неясно. Оно, как правило, сводится к признанию общей «фонетической тенденции». Но известно, что «фонетическая тенденция» — это обычное средство дать мнимое (т. е. в сущности тавтологическое) объяснение звуковому переходу. У тех, кто определяет фонетическую тенденцию («drift» Сэпира и других американских лингвистов) как «бессознательные формальные ощущения»<sup>20</sup> или «унаследованные речевые навыки»<sup>21</sup> и т. п., она все же остается некой перманентно и необъяснимо действующей, т. е. в сущности мистической силой. Сказать, например, что переход /p > b/ объясняется «тенденцией к ослаблению артикуляции» и т. п., значит ничего не объяснить. Спрашивается, а почему эта «тенденция» вообще возникла в данном языке и почему она проявилась именно в данном переходе и т. д.? Единственное реалистическое понимание фонетической тенденции — это понимание ее как п р о ц е с с а, начавшегося с определенного факта, который обусловил определенные последующие или сопутствующие факты и т. д. Но при таком его понимании слово «тенденция» в сущности не нужно. Его может заменить слово «процесс».

Если в исландском языке и западнонорвежских диалектах действительно имело место параллельное развитие, то надо раскрыть процесс, приведший к возникновению исландско-норвежских переходов. Для этого надо исследовать «внутренние связи» этих переходов.

Переход /rn > dn/ произошел в Исландии всюду, кроме ее юго-восточной окраины<sup>22</sup>. В западной Норвегии из всех рассматриваемых изменений согласных он имеет наиболее широкое распространение<sup>23</sup>. Он захватил не только широкую, расширяющуюся к северу полосу, от крайнего юга Норвегии до Согнефьорда, но также и Валдрес и Халлингдал в центральной Норвегии. По мнению Хегста, рассматриваемый переход

<sup>18</sup> Там же, стр. 19.

<sup>19</sup> Такое предположение высказал Тоуроульфссон в рецензии на цитированную выше книгу Йоханссона (см. «Arkiv för nordisk filologi», XLII, 1, 1925—1926, стр. 77—78. Ср. также М. Н æ g s t a d, указ. соч., «Skrifter...», 1941», 1, Oslo, 1942, стр. 145; G. I n d r e b ø, Norsk målsoga, Bergen, 1951, стр. 139; D. A. S e i p, указ. соч., стр. 34; Нг. В e n e d i k t s s o n, Icelandic dialectology: methods and results, «Íslenzk tunga», 3, 1961—1962, стр. 105.

<sup>20</sup> E. S a p i r, Language, в кн.: «Encyclopedia of the social sciences», IX, New York, 1933, стр. 164.

<sup>21</sup> Ch. F. Н o c k e t, Implications of Bloomfield's Algonquian studies, «Language», XXIV, 1, 1948, стр. 128.

<sup>22</sup> Нг. В e n e d i k t s s o n, указ. соч., карта на вклейке; К. С h a r m a n, указ. соч., карта на стр. 182.

<sup>23</sup> К. С h a r m a n, указ. соч., карта на стр. 180.

имел раньше еще более широкое распространение<sup>24</sup>. Он представлен и на Фарерских<sup>25</sup> и Шетландских островах<sup>26</sup>, а также на небольшой территории в северной Ютландии и на острове Эре<sup>27</sup>. Переход этот представлял собой изменение в распределении фонем, не связанное непосредственно с каким-либо изменением самой их системы. Однако он был существенным изменением в их дистрибуционных возможностях: сочетание /dn/ первоначально отсутствовало в рассматриваемых языках. Надо полагать, что первоначально [d] очень тесно примыкало к [n] в данном сочетании, и в исландском это имеет место и сейчас. В обстоятельном фонетическом описании современного исландского языка Кресс рассматривает сочетание [dn] как единый согласный звук — смычный с назальной эксплозией<sup>28</sup>. О смычных с назальной эксплозией как одной из возможных разновидностей смычных упоминается и в общих фонетиках<sup>29</sup>. В описании одного из диалектов западной Норвегии сочетания [dn] и [dl] тоже рассматриваются как смычные с особого рода эксплозией<sup>30</sup>. Характерно, что, судя по описанию Кресса, в исландском между [d] и [n] граница слога никогда не проходит: в исходе слова [n] — неслогообразующее в данном сочетании, а в середине слова граница слога проходит до [d] или в середине его выдержки<sup>31</sup>. То же засвидетельствовано в некоторых западнонорвежских диалектах<sup>32</sup>. Однако, хотя с артикуляционной точки зрения смычный с назальной эксплозией в рассматриваемых языках, может быть, и правомерно рассматривать как единый согласный (ведь считается же обычно единым согласным смычный с придыхательной эксплозией), с функциональной точки зрения считать это сочетание единым согласным (т. е. единой фонемой) было бы правомерно разве что в том случае, если бы оно регулярно встречалось в тех позициях, где возможны только простые согласные, а именно после долгих гласных<sup>33</sup>. Но такая позиция не характерна для данного сочетания<sup>34</sup>.

Переход /pn > dn/ произошел по всей Исландии, но только после долгого гласного и дифтонга. В западной Норвегии он произошел после долгого гласного или дифтонга в области, несколько меньшей, чем область перехода /pn > dn/<sup>35</sup>, а после краткого гласного — в еще значительно меньшей области<sup>36</sup>. На Фарерских островах он произошел только после дифтонга, кое-где также после долгого гласного<sup>37</sup>. Переход этот совер-

<sup>24</sup> М. Нæ g s t a d, указ. соч., «Skrifter...», 1915», 3, Kristiania, 1916, стр. 142.

<sup>25</sup> Н. Н a m r e, Færøymålet i tiden 1584—1750, «Skrifter...», 1944», 2, Oslo, 1944, стр. 49—50.

<sup>26</sup> М. Нæ g s t a d, указ. соч., «Skrifter...», 1915», 3, Kristiania, 1916, стр. 142.

<sup>27</sup> V. B e n n i k e, M. K r i s t e n s e n, Kort over danske Folkemål med Forklaringer, København, 1898—1912, §§ 135—136, карты 65—66 (цит. по статье: P. N a e r t, Ur min färöiska kortlåda, «Arkiv för nordisk filologi», LXI, 1946, стр. 140).

<sup>28</sup> В. K r e s s, Die Laute des modernen Isländischen, Leipzig, 1937, стр. 12, 92.

<sup>29</sup> См., например, Е. D i e t h, Vademekum der Phonetik, Bern, 1950, стр. 236 и сл.

<sup>30</sup> Н. Н a m r e, Målet på Vømlo i Sunnhordaland, «Bergens museums årbok, hist.-ant. rekke», 4, 1945, стр. 13, где говорится, что смычный этот состоит из «сначала импlosion, затем выдержки артикуляции и наконец назальной эксплозии».

<sup>31</sup> В. K r e s s, указ. соч., стр. 12, 9—10.

<sup>32</sup> Н. Н a m r e, Målet på Vømlo, стр. 13; I. S k r e, Fanamålet, Bergen, 1957 («Skrifter utgitt av Institutt for nordisk filologi, Universitet i Bergen», I), стр. 92.

<sup>33</sup> Впрочем Хауген допускает возможность рассматривать придыхательные смычные в исландском как сочетание двух фонем (/bh/ и т. д.), хотя нельзя утверждать, что эти смычные встречаются в тех позициях, где возможны только бифонемные сочетания (Е. Н a u g e n, The phonemes of modern Icelandic, «Language», XXXIV, 1958, стр. 59).

<sup>34</sup> В западной Норвегии оно, впрочем, встречается в такой позиции (Н. Н a m r e, Målet på Vømlo, стр. 12).

<sup>35</sup> К. S h a r m a n, указ. соч., карта на стр. 184.

<sup>36</sup> Там же, карта на стр. 185.

<sup>37</sup> Н. Н a m r e, Færøymålet..., стр. 46, 48.

нонно тождествен только что рассмотренному по своему результату.

Переход /ll>dl/ произошел по всей Исландии, а в западной Норвегии — в области, незначительно большей, чем область только что рассмотренного перехода<sup>38</sup>. Он представлен также на Фарерских и Шетландских островах. Сочетание [dl] тоже можно рассматривать как смычный со специфической эксплозией, но в данном случае, конечно, не назальной, а латеральной<sup>39</sup>, которая, впрочем, в артикуляционном отношении совершенно параллельна назальной<sup>40</sup>. Так же обстоит дело и с границей слога<sup>41</sup>. Единственное различие между переходом /nn>dn/ и /ll>dl/ заключается в том, что в противоположность сочетанию /dn/ сочетание /dl/ существовало и раньше. Однако /dl/ встречалось раньше только на стыке морфем (в словах или формах типа др.-исл. *hǫndla* от *hǫnd* или *bendlar* от *bendill*). В результате перехода /ll>dl/ сочетание это стало обычным в корневых морфемах (в словах типа исл. *fjell*, *kalla* и т. п.), и поэтому [d] стало более тесно примыкать к [l] в данном сочетании.

Переход /rl>dl/ был тождествен по своему результату предыдущему. В Исландии он произошел всюду, кроме ее юго-восточной окраины (как и переход /rn>dn/). В западной Норвегии область его распространения трудно точно определить. По-видимому, она первоначально совпадала с областью перехода /ll>dl/<sup>42</sup>. Этот переход представлен и на Фарерских островах<sup>43</sup>. С рассмотренными изменениями согласных был, очевидно, связан и переход /mm>bm/, который произошел только в западной Норвегии на небольшой территории внутри области перехода /nn>dn/<sup>44</sup>. Результатом всех этих переходов были смычные с латеральной и назальной эксплозией, о которых уже была речь выше.

Распространение всех этих переходов на территориях, накладывающихся друг на друга, заставляет предполагать, что все указанные переходы связаны между собой. По-видимому, многие предполагали существование такой связи<sup>45</sup>. Однако вопрос о том, в чем заключались общие предпосылки всех этих переходов, никогда не ставился. Внимание исследователей привлекали либо этапы перехода /rn>dn/<sup>46</sup>, либо предполагаемая связь

<sup>38</sup> Н. Christensen, *Norske dialekter*, Oslo, 1946, карта на стр. 174; К. Шарман, указ. соч., карта на стр. 183.

<sup>39</sup> В. Kress, указ. соч., стр. 12 и 94; Н. Hamre, *Målet på Bømlø*, стр. 13.

<sup>40</sup> Ср. E. Dieth, указ. соч., стр. 236 и сл.

<sup>41</sup> Ср. В. Kress, указ. соч., стр. 12, 9—10; Н. Hamre, *Målet på Bømlø*, стр. 13.

<sup>42</sup> К. Шарман, указ. соч., стр. 67.

<sup>43</sup> Н. Hamre, *Færøymålet...*, стр. 49—50.

<sup>44</sup> К. Шарман, указ. соч., карта на стр. 186.

<sup>45</sup> См., например, А. В. Larsen, *Sognemålene*, Oslo, 1929, стр. 6.

<sup>46</sup> По Ларсену, промежуточным этапом между [rn] и [dn] было [ðn] (А. В. Larsen, *Om ordet barn i oldnorsk og de nynorske bygdemål*, «Arkiv för nordisk filologi», XXI, 1905, стр. 125 и сл.). Хегста показал, что догадка Ларсена не подтверждается фактами (М. Hægstad, указ. соч., «Skrifter...», 1915, 3, Kristiania, 1916, стр. 79 и сл.; D. A. Seip, указ. соч., стр. 174). Однако его собственное предположение, что промежуточным этапом между [rn] и [dn] было [nn] (М. Hægstad, указ. соч., «Skrifter...», 1914, 5, Kristiania, 1915, стр. 63; «Skrifter...», 1916, 4, Kristiania, 1917, стр. 123), тоже не выдержало критики (Н. Hamre, *Færøymålet...*, стр. 48; P. Naert, указ. соч., стр. 139; К. Шарман, указ. соч., стр. 88 и сл.). Наерт доказывает, что промежуточным этапом между [rn] и [dn] было [rdn] (P. Naert, указ. соч., стр. 139 и сл.; его же, *Åter rn > (r)dn i färöiskan*, «Arkiv för nordisk filologi», LXXI, 1956, стр. 244. То же раньше утверждал Йоханссон; см. указ. соч., стр. 81). Сочетания [rdn rdl] и сейчас чередуются в исландском с [dn dl] на месте старых [rn rl]. Сейп считал, однако, что произношение [rdn] книжного происхождения (D. A. Seip, *Et høyere talemål i middelalderen*, в кн.: «Nye studier i norsk språkhistorie», Oslo, 1954, стр. 212). Скорее всего, никакого промежуточного этапа в переходе /rn > dn/ не было (К. Шарман, указ. соч., стр. 87 и сл.).

переходов /nn>dn/ и /ll>dl/ со сдвигом количественных отношений в слове <sup>47</sup>.

Основное в фонетическом механизме всех рассмотренных переходов — это, очевидно, задержка в артикуляции, сопровождающей смычку: в случае [n] — это задержка в опускании мягкого неба; в случае [l] — это задержка в открытии бокового прохода; наконец, в обоих случаях — это задержка в действии голосовых связок, поскольку возникавший при всех этих переходах импловивный смычный был, вероятно, глухим, как в современном исландском и фарерском, или во всяком случае не полностью звонким. Общим в фонетическом механизме всех рассмотренных переходов было, конечно, и то, что их результатом были смычные с особым рода эксплозией — назальной или латеральной. С рассмотренными переходами были поэтому, конечно, связаны и переходы /vn>bn vl>bl/<sup>48</sup>, поскольку результатами этих переходов тоже были сочетания смычного с [n] или [l]. Однако эти сочетания не могли быть такими тесными, как сочетания г о м о р г а н н о г о смычного с [n] или [l] <sup>49</sup>. С рассмотренными изменениями согласных были несомненно связаны и спорадические написания *sdl* вместо *sl* и *sdn* вместо *sn*, отмечаемые Йоханнссоном в исландском <sup>50</sup>. Аллофоническая (субфонемная) стадия соответствующих переходов (т. е. [sl]><sup>d</sup>sl sn><sup>d</sup>sn) представлена в современном исландском <sup>51</sup>.

Надо полагать, что аллофоническая стадия предшествовала всем рассмотренным исландско-норвежским переходам, т. е. в продолжение длительного времени фонемы /n/ и /l/ в сочетаниях /gn gl nn ll/ имели аллофоны [ᵑn ᵑl]. По описанию Скре, в диалекте Фана (западная Норвегия) еще и сейчас начальный сегмент в геминатах [ᵑnn ᵑll] не смычный в собственном смысле слова, а своего рода щелевой приступ, или «фаукальный глайд» <sup>52</sup>. В этом диалекте, таким образом, представлена аллофони-

<sup>47</sup> В. Янссон высказал предположение, что переход /nn>dn/ был усилением контраста между элементами геминаты с целью воспрепятствовать ее совпадению с простым /n/, — совпадению, которое особенно угрожало после долгого гласного и дифтонга (V. J a n s s o n, Palataliserade tentaler i nordiska språk, «Arkiv för nordisk filologi», LIX, 1954, стр. 138). Это предположение развил Наерт (P. N a e r t, Ur min färöiska kortlåda, стр. 140). Объясняя переход /ll>dl/ ослаблением геминат и возникшей в связи с этим необходимостью заменить противопоставление геминаты простому /l/ каким-нибудь другим противопоставлением, Sommerfelt высказал догадку: в Норвегии потому произошел переход /ll — dl/, а не /ll — ld/, как в Южной Ирландии в аналогичной ситуации, что в норвежском языке граница слога проходит в середине согласного, а не после него, как в ирландском (A. S o m m e r f e l t, Differensiasjonen av ll til dl i norrønt språk, в кн.: «Festskrift til L. L. Hammerich», København, 1952, стр. 219 и сл.). Непонятно, однако, почему структура слога, характерная, по словам Sommerfelta, для норвежского языка вообще, должна была именно в з а п а д н о й Норвегии обусловить данный переход. Сдвиг количественных отношений в слове, а следовательно и ослабление геминации, произошли не только в области переходов /ll>dl nn>dn/, но, в частности, и во всей остальной Норвегии, причем, поскольку область, в которой произошли эти переходы, была в то же время областью сохранения безударного конечного -a (т. е. так называемых западнонорвежских a-mål), ослабление геминации должно было быть там менее значительным. Геминаты и сейчас в западнонорвежских диалектах ощущаются сильнее, чем в восточнонорвежских (ср. П. Н а т г е, Målet på Vemlo, стр. 10). Наконец, рассматриваемые переходы и хронологически не увязываются с количественным сдвигом: в Исландии он произошел только в XVI в. (см. В. К. Þ ó r ó l f s s o n, Kvantitets omvæltningen i islandsk, «Arkiv för nordisk filologi», XLV, 1929, стр. 35 и сл.), т. е. после них, а в Норвегии он происходил уже в XIII в. (см. D. A. S e i p, Språkhistorie, стр. 115), т. е. до них.

<sup>48</sup> В западной Норвегии представлен только первый из них, в трех не связанных между собой областях (см. К. S h a r p a n, указ. соч., карта на стр. 188). В Исландии оба прошли повсюду.

<sup>49</sup> E. Dieth, указ. соч., стр. 245.

<sup>50</sup> J. J ó h a n n s s o n, указ. соч., стр. 85.

<sup>51</sup> S. E i n a r s s o n, Beiträge zur Phonetik der isländischen Sprache, Oslo, 1927, стр. 12; В. K r e s s, указ. соч., стр. 8.

<sup>52</sup> I. S k r e, указ. соч., стр. 22, 92, 102 и сл.

ческая стадия переходов /nn>dn ll>dl/. На этой аллофонической стадии данное изменение в артикуляции могло быть частным случаем фонетического изменения, которое претерпевали все фонемы определенной подсистемы. Естественно предположить поэтому, что рассмотренные переходы на своей аллофонической стадии были связаны с процессом, фонетический механизм которого тоже подразумевает задержку в артикуляции, сопровождающей смычку, а именно — задержку в действии голосовых связок, и тоже имеет своим результатом смычные с особого рода эжсплозией, а именно — глухие придыхательные смычные и противопоставленные им глухие же непридыхательные.

Как известно, в исландском и фарерском все смычные более или менее глухие и коррелируют как придыхательные и непридыхательные, а не как глухие и звонкие. Совершенно неизвестно, когда произошло то фонологическое изменение, в результате которого в этих языках старый различительный признак — звонкость — уступил место новому — придыхательности. На письме это изменение никак не отразилось. Поэтому оно всегда игнорируется: молчаливо принимается, что раз нет изменения букв, то нет и никакого звукового перехода. В работе Чепмена о данном изменении вообще нет речи. Между тем очевидно, что с фонологической точки зрения изменение различительных признаков гораздо более важно, чем изменение в распределении фонем, каким являются все остальные упоминавшиеся мной изменения.

Всего вероятнее, что смена различительных признаков в смычных была процессом, растянувшимся на много веков, если не на целое тысячелетие, и в своей аллофонической стадии (заклучавшейся, вероятно, в появлении и развитии аллофонов с придыханием в позициях максимального различия коррелирующих смычных) восходящим к западнонорвежскому периоду до заселения Исландии и других островов в Атлантическом океане<sup>53</sup>.

О том, что в юго-западной Норвегии смычные развивались в том же направлении, свидетельствуют прежде всего переходы /p>b t>d k>g/ после гласного, или так называемое «ослабление смычных»<sup>54</sup>, которое в действительности было, конечно, не их озвончением, а превращением глухого смычного (т. е. беспризнакового члена старого противопоставления) в непридыхательный (т. е. беспризнаковый член нового противопоставления) в положении нейтрализации<sup>55</sup>. Правда, в описаниях диалектов юго-западной Норвегии /p t k/ и /b d g/ обычно называются просто «глухими» и «звонкими»<sup>56</sup>. Однако из более обстоятельных описаний ясно,

<sup>53</sup> В моей более ранней работе я связывал фонологизацию придыхания в исландском со сдвигом количественных отношений в слоге (М. И. Стеблин-Каменский, Исландское передвижение согласных, «Скандинавский сборник», II, Таллин, 1957, стр. 216—217). Несомненно во всяком случае, что аллофоническая стадия этого изменения гораздо древнее количественного сдвига. На связь развития смычных в юго-западной Норвегии с их развитием в норвежских колониях на островах Атлантического океана, а также в северной Норвегии, в юго-западной Швеции и в Дании, где, по-видимому, следует искать очаг этого развития, указал Марстрандер (C. J. S. M a r s t r a n d e r, Okklusiver og substrater, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskab», V, 1932, стр. 287 и сл.; ср. также J. B r ø n d u m - N i e l s e n, Dialekter og dialektforskning, København, 1951, стр. 77).

<sup>54</sup> О распространении его в юго-западной Норвегии см. N. C h r i s t i a n s e n, указ. соч., карта на стр. 171; K. S h a r p m a n, указ. соч., карта на стр. 177. Распространение его в Исландии см. там же, карта на стр. 178.

<sup>55</sup> Подробнее об этом см. М. И. Стеблин-Каменский, указ. соч., стр. 213 и сл.; его же, Сущность германских передвижений согласных, «Вестник ЛГУ», 1961, 4, стр. 102 и сл.; его же, Den islandske klusilforskning i fonologisk fremstilling, «Arkiv för nordisk filologi», LXXV, 1960, стр. 79 и сл.

<sup>56</sup> Например, P. K y d l a n d, Gylands-målet, eit yversyn over lødverk, Oslo, 1940, стр. 49.

что в этих диалектах до сих пор сохраняются следы коррелирования смычных по типу эксплозии, т. е. по наличию или отсутствию придыхания. По словам Ларсена, на юго-западном побережье Норвегии глухие смычные в начале слова более сильно придыхательны, чем во всей остальной Норвегии<sup>57</sup>. По словам Сельмера, глухие смычные сильно придыхательны также в Бергене и к югу по побережью<sup>58</sup>. По его измерениям так называемые звонкие смычные в ставангерском диалекте представляют собой не звонкие в собственном смысле слова, а полувзвонкие или полуглухие<sup>59</sup>. Из описания Офтедала следует, что смычные в Естале (Ерен, юго-западная Норвегия) и фонетически, и фонологически совершенно аналогичны исландским: в позиции различия они все глухие, но аспирированные или неаспирированные (в середине слова также преаспирированные), в позиции неразличения они неаспирированные<sup>60</sup>. Чепмен полагает, что в позиции неразличения звонкие смычные представлены только в юго-восточной части норвежской области «ослабления смычных», тогда как в ее северо-западной части в этой позиции представлены глухие придыхательные<sup>61</sup>. По-видимому, звонкие смычные в этой позиции — результат воздействия восточнонорвежского. Еще Хегста высказывал предположение, что «ослабление смычных» раньше имело более широкое распространение в западной Норвегии<sup>62</sup>.

Против предположения о связи между переходами /rn > dn rl > dl nn > dn ll > dl / и развитием смычных говорит как будто то, что в Норвегии области этих переходов (средне- и юго-западное побережье) только частично совпадают с областью «ослабления смычных» (южное и юго-западное побережье), а также то, что этих переходов нет в некоторых других скандинавских областях (Дания и т. д.), где смычные развивались в том же направлении. Надо, однако, иметь в виду, с одной стороны, что генетически связанные между собой переходы могут, естественно, распространяться или, наоборот, отесняться независимо друг от друга, а с другой стороны, что никакое звуковое изменение не может быть, конечно, единственной предпосылкой другого.

Консервативность западноскандинавских языков (и в первую очередь исландского) по сравнению с восточноскандинавскими, а также западнонорвежских диалектов (которые наиболее близки к исландскому) по сравнению с восточнонорвежскими, общепризнаны. Ларсен считал переходы /rn > dn rl > dl ll > dl nn > dn mm > bm vn > bn / одним из проявлений «западнонорвежского консерватизма» и объяснял их чрезмерной тщательностью произношения, или стремлением не только сохранить старые сочетания согласных, но и сделать их более контрастными<sup>63</sup>. Однако, не говоря о том, что фонетический консерватизм едва ли можно объяснять такими чисто психологическими причинами, в отношении западнонорвежских (или исландско-фарерско-западнонорвежских) согласных сомнительно и само его существование. Скре указывает, что в сущности между

<sup>57</sup> A. B. Larsen, указ. соч., стр. 59; его же, Om bløde og haarde konsonanter i norsk, в кн.: «Sproglige og historiske afhandlinger viede S. Bugges minde», Kristiania, 1908, стр. 45.

<sup>58</sup> E. W. Selmer, Om Stavangermålets «hårde» og «bløte» klusiler, Kristiania, 1924 («Opuscula phonetica», V), стр. 5.

<sup>59</sup> Там же, стр. 19.

<sup>60</sup> M. Oftedal, Jærskje okklusiver, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XIV, 1947, стр. 229 и сл.

<sup>61</sup> K. Charman, указ. соч., стр. 60.

<sup>62</sup> M. Hægstad, указ. соч., «Skrifter...», 1915, 3, Kristiania, 1916, стр. 128; ср. также M. Sørli, Færøysk tradisjon i norrønt mål, «Avhandlinger utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, II. hist.-filos. kl., 1936», 2, Oslo, 1937, стр. 85.

<sup>63</sup> A. B. Larsen, указ. соч., стр. 6 и сл.; ср. H. Christensen, указ. соч., стр. 59, 169, где повторяется объяснение Ларсена.

{d} и {n} или {l} меньше разницы, чем между {r} и {n} или {l} и что, следовательно, переходы /rn > dn rl > dl / вовсе не являются «дифференциацией»<sup>64</sup>. Если важнейшими и крупнейшими звуковыми изменениями являются изменения различительных признаков фонем, то, сопоставляя смену различительных признаков в смычных, о которой шла речь выше, с теми более поздними и до сих пор незавершенными изменениями, которые произошли в восточной Норвегии и большей части Швеции в связи с возникновением «толстого l» и последующего расщепления переднеязычных на дентальные, альвеолярные и какуминальные<sup>65</sup>, надо признать, что консонантизм Исландии, Фарерских островов и юго-западной Норвегии, т. е. области, которую можно было бы условно назвать «придыхательной», был менее консервативен, чем консонантизм восточной Норвегии и большей части Швеции, т. е. области, которую можно было бы назвать «альвеолярно-какуминальной».

В заключение — еще раз о параллельном развитии и сущности звукового изменения. Хотя распространение звуковых изменений через океан в принципе возможно (при наличии тесных трансокеанских связей, конечно), в случае исландско-норвежских изменений согласных отнюдь не исключено параллельное развитие: если высказанные мной соображения в какой-то мере верны, эти изменения были растянувшимся на много столетий единым процессом внутреннего развития. Звуковое изменение, как мне кажется, всегда обусловлено не только его внешними связями, т. е. связями с аналогичными изменениями в других диалектах или языках, но также и его внутренними связями, т. е. связями с другими изменениями в той же языковой системе. Нельзя рассматривать звуковое изменение вне этих внутренних связей, так же как нельзя рассматривать звук речи вне его отношений с другими звуками речи.

<sup>64</sup> I. Skjerve, указ. соч., стр. 95.

<sup>65</sup> См. М. И. Стеблин-Каменский, Об одной норвежско-шведской фонологической тенденции (альвеолярные и какуминальные в норвежском и шведском), «Скандинавская филология (Scandinavica)», II, 1963 («Уч. зап. ЛГУ», 321. Серия филол. наук, 67).

Д. П. ЭДЕЛЬМАН

ПРОБЛЕМА ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ В ВОСТОЧНОИРАНСКИХ ЯЗЫКАХ

Ряд восточноиранских языков, расположенных в непосредственном географическом соседстве с индийскими и дардскими языками, характеризуется наличием особого ряда церебральных согласных.

Термин «церебральные» употребляется здесь в фонологическом плане противопоставления их «нецеребральным»<sup>1</sup>, поскольку проводимое в некоторых работах отождествление церебральности с каким-либо одним видом переднеязычной артикуляции, например ретрофлексной, не представляется верным: церебральные в иранских языках могут быть представлены звуками различной артикуляции — ретрофлексными, какуминальными и апикально-постальвеолярными. Двухфокусные звуки в отдельных языках (например, ваханском) соотносятся с церебральными или нецеребральными фонемами по наличию второго заднеязычного или среднеязычного фокуса, поскольку переднеязычный фокус звуков, соотносимых с нецеребральными, может вообще отсутствовать. Кроме того, артикуляторная граница между звуками, соотносимыми с церебральным и нецеребральным рядом, в различных языках может быть различной. Церебральные ряды прослеживаются во многих живых восточноиранских языках (см. табл. 1). Из мертвых языков восточноиранской группы церебральные прослеживаются в сакском; возможно, они имелись и в бактрийском<sup>2</sup>.

Таким образом, церебральные согласные представлены ныне лишь в юго-восточных иранских языках, которые граничат с индийскими и дардскими языками, имеющими развитую систему церебральных. Внутри этих «пограничных» языков церебральный ряд в диалектах, более удаленных от индо-иранской языковой границы, представлен обычно беднее, чем в близких к этой границе диалектах. В мунджанском языке церебральный ряд представлен лишь в диалекте йидга, в мунджанском же диалекте он почти полностью (за исключением *š*) отсутствует; что касается ишкашимского языка, то там, где сангличский диалект выявляет обычно четкие *š* и *l/ɮ*<sup>3</sup>, в ишкашимском диалекте отмечаются чередования *š/ṣ̌* и *l/ḷ*<sup>4</sup>. Исключение представляет язык папто, где *š* и *ž* западной (кандагарской) группы диалектов соответствует *ṣ̌* и *ẓ̌* гильзайских диалектов и *x*, *g* диалектов восточной (пешеварской) группы.

Исследователи указанных языков и диалектов отмечают тенденцию к децеребрализации в этих языках отдельных церебральных звуков<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> См. об этом: Т. Я. Елизаренкова, Дифференциальные элементы согласных фонем хинди, ВЯ, 1961, 5.

<sup>2</sup> См. W. V. Henning, The Bactrian inscription, «Bull. of the School of Oriental and African studies» (далее — BSOAS), XXIII, 1, 1960, стр. 53.

<sup>3</sup> G. Morgenstierne, Indo-Iranian frontier languages (далее IIFL), II, Oslo, 1938, стр. 288, 306, 315. Ср. материал в словаре: Shah Abdullāh Badakhshī, A dictionary of some languages and dialects of Afghanistan, Kabul, 1960 (на афган. и перс. языках).

<sup>4</sup> См.: В. С. Соколова, Очерки по фонетике иранских языков, II, М. — Л., 1953, стр. 236; Т. Н. Пахалина, Ишкашимский язык, М., 1959, стр. 25—26.

<sup>5</sup> См., например: В. С. Соколова, указ. соч., стр. 236; Т. Н. Пахалина, указ. соч., стр. 25—26; G. Morgenstierne, The development of R + sibilant

Т а б л и ц а 1

Языки	Диалекты	Система церебральных *								
		t	d	ʒ	ʒ̣			v		r
Афганский (папшо)	западные	t	d	ʒ	ʒ̣			v		r
	центральные и восточные	t	d	—	—			v		r
Мунджанский	мунджанский	—	—	ʒ(?)	—			—		—
	йидга	t	d	ʒ	ʒ̣	ʒ̣̣		v	[l]	[r]
Ишкашим- ский	ишкашимский	t	d	ʒ	ʒ̣	ʒ̣̣		(v)	(l)	r
	сангличский	t	d	ʒ	ʒ̣			v	[l]	[r]
	зобакский	t		ʒ						
Ваханский		t	d	ʒ	ʒ̣	ʒ̣̣	ɣ	(v)	(l)	(r)

\* П р и м е ч а н и е. а) круглые скобки означают, что данные звуки по артикуляции могут совпадать с церебральными, но фонологически они нейтральны; квадратные скобки означают, что данные звуки являются вариантами одной фонемы; б) церебральный ряд по зобакскому диалекту не удалось проследить из-за недостаточности опубликованного материала; в) фонему ʒ̣̣ в мунджанском диалекте отмечает Г. Morgenstierne (G. Morgenstierne, IFL, II, стр. 28); И. И. Зарубин эту фонему не приводит [И. И. З а р у б и н. К характеристике мунджанского языка (Из материалов по иранской диалектологии), Л., 1927, стр. 114].

Сопоставление этих данных позволяет выявить общую тенденцию к дещеребрализации, которая, за некоторыми исключениями, нарастает с удалением от индо-иранской языковой границы. Эта тенденция дает основания предположить, что соответствия церебральным, прослеживаемые в ряде языков, не имеющих ныне церебрального ряда, являются рефлексамы церебральных, бытовавших ранее в этих языках <sup>6</sup>. Это относится прежде всего к памирским языкам — шугнано-рушанской группе диалектов и язгулямскому языку, а также к мунджанскому диалекту.

Во всех языках юго-восточной группы церебральные и их рефлексy наблюдаются как в исконно иранских, так и в заимствованных основах. Существенным является в данном случае употребление их в исконно-иранском слое, что говорит о древности их в этом ареале. Употребление церебральных в заимствованных словах — явление, которое может быть очень молодым, — встречается и в отдельных западноиранских языках — белуджском языке <sup>7</sup> и диалекте хазара <sup>8</sup>. Не все согласные церебрального

in some Eastern Iranian languages (отд. оттиск из «Transactions of the Philological society», Hertford, 1948), стр. 76; е г о ж е, IFL, II, стр. XVII—XVIII, 53, стр. 107—109 и сл.

<sup>6</sup> G. Morgenstierne, IFL, стр. XVII; е г о ж е, Notes on Shughni, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», I, 1928, стр. 40—42; е г о ж е, Neu-iranische Sprachen, «Handbuch der Orientalistik», I Abt., IV — Iranistik, Leiden — Köln, 1958, стр. 168.

<sup>7</sup> См. В. С. Соколова, Очерки по фонетике иранских языков, I, М.—Л., 1953, стр. 53.

<sup>8</sup> Сведениями о церебральных в диалекте хазара автор обязан любезности В. А. Ефимова, сообщившего автору свои наблюдения.

ряда одинаково употребительны в исконной лексике юго-восточных иранских языков: церебральные  $t$  и  $d$  чаще всего встречаются в заимствованных основах и звукоподражательных словах, не являющихся надежным материалом в определении звуковых соответствий.

Сложнее обстоит вопрос с церебральными рядами в языках ормури и парачи, принадлежность которых к западной или восточной группе еще не ясна<sup>9</sup>. В этих языках прослеживаются церебральные ряды и в заимствованном, и в исконном материале, однако определенных соответствий другим языкам восточной группы здесь не выявляется. Материал этих языков в данной работе привлекается лишь попутно, в тех случаях, когда в языках ормури и парачи имеются соответствия с юго-восточными иранскими языками.

Тот факт, что в юго-восточных иранских языках прослеживается ряд четких соответствий в исконно иранских словах, наводит на мысль об отражении юго-восточными языками единого для них состояния. Рассмотрим некоторые из соответствий. В табл. 2 приведен ряд соответствий звонких церебральных (в тех языках, где они есть) и звонких нецеребральных (в тех языках, где церебральные отсутствуют), развившихся из древнеиранской группы  $*rt$  в исконно иранских словах. Наличие этих соответствий в таких близкородственных языках, как юго-восточные иранские языки, позволяет предположить, что в общем для этих языков состоянии имелся исходный звонкий церебрал, происшедший из древнеиранской группы  $*rt$ . Таким исходным для этой группы, промежуточным между др.-иран.  $*rt$  и современными рефlekсами, мог быть звонкий церебральный  $d$ , развившийся путем перехода  $rt > t$  с последующим озвончением в  $d$ <sup>10</sup>. В пользу этого пути развития говорит наличие  $t < *rt$  в отдельных случаях в мунджанском языке и озвончение его в  $d$  в пашто (см. табл. 2, лексема «имел»). Этот  $*d$  сохранялся еще в среднеиранскую эпоху в сакском. В диалектах, легших в основу пашто и мунджанского языка,  $*d$  перешел в  $r$ <sup>11</sup>, который сохранился в пашто и диалекте йидга, иногда децеребрализуясь. В мунджанском диалекте  $r$  децеребрализовался. В памирских языках  $*d$  претерпел следующие изменения: в шугнанском диалекте шугнано-рушанской группы он децеребрализовался в  $d$ , в остальных диалектах этой группы (в таблице они представлены рушанским диалектом) и язгулямском языке осуществился переход  $*d > g$ . Такой переход было бы трудно предположить для дентального  $*d$ , но для церебрального  $*d$  он, по-видимому, более реален<sup>12</sup> как отражающий более заднюю артикуляцию, чем у дентального  $d$ . Примечателен факт, что изоглосса  $*d > d$  и  $*d > g$  прошла по группе близкородственных диалектов, оставив с одной стороны шугнанский диалект с переходом  $*d > d$ , с другой стороны — остальные диалекты этой группы и язгулямский язык, где  $*d > g$ . В ишкашимском языке  $*d > l$ , который в ишкашим-

<sup>9</sup> Ср.: И. М. Оранский, Введение в иранскую филологию, М., 1960, стр. 342; G. Morgenstierne, Neu-iranische Sprachen, стр. 169.

<sup>10</sup> См. об этом G. Morgenstierne, Orthography and sound-system of the Avesta, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XII, Oslo, 1940, стр. 53—54. Ср. глухой рефлекс  $*rt$  в Авесте, преобразованный позднее в  $s$ . Развитие  $*rt > *rd > *d$  (см. G. Morgenstierne, IFL, II, стр. XVI, 109) менее вероятно, поскольку современные рефlekсы  $*d < *rt$  и  $*d < *rd$  несколько различны (см. выше, стр. 70).

<sup>11</sup> Очевидно, этот процесс проходил вначале на фонетическом уровне ( $r$  было аллофоном  $d$ ). Ср. аналогичное положение в ряде живых языков, например хинди, башкирк., безудском.

<sup>12</sup> См. G. Morgenstierne, Notes on Shughni, стр. 41; ср., однако, Р. Х. Додых у доев, Отражение древнеиранской группы  $-rt-$  в шугнанском языке, «Научная конференция по иранской филологии [ЛГУ] (Тезисы докладов)», Л., 1962, стр. 10—11.

ском диалекте находится в настоящее время в стадии децеребрализации<sup>13</sup>, в остальных диалектах церебральный характер его сохраняется<sup>14</sup> (ср. типологически параллельные переходы  $d > l$  и  $dh > lh$  в ведийском языке и  $*d > l$  в языках папто и мунджанском). Исключение представляет ваханский язык, оставшийся вне данной изоглоссы и сохраняющий в ряде случаев группу  $*rt$  (этот факт стоит в одном ряду с другими архаичными чертами в области фонетики, морфологии и лексики, сохраняющимися в ваханском языке). Данная изоглосса охватывает языки парачи ( $*rt > r$ ) и ормури ( $*rt > l$ ). Возможно, и для них развитие плю путем  $*rt > *t > *d$  с последующим переходом в  $r$  (парачи) и  $l$  (ормури).

Древнеиранская группа  $*rd$  в своем развитии прошла, по-видимому, ступень  $*rd > *d$ , однако соответствия по различным языкам, восходящие к этому  $*d$ , прослеживаются не так регулярно, как соответствия, восходящие к  $*d$  из  $*rt$ . В папто это  $*d$  дает обычно  $r$ , как и  $*d < *rt$ , например:  $z\dot{r}\dot{a}$  «сердце» (ср. авест.  $z\dot{e}r\dot{a}d$ ; санскр.  $h\dot{r}d-$ ),  $pu\dot{s}tawarga$  «почка (анат.)» (ср. авест.  $v\dot{e}r\dot{a}dka-$ ); в гораздо более редких случаях сохраняется  $\dot{d}$ :  $geda$  «желудок» (диалект вазири —  $ged\dot{d}a$ ). В мунджанском языке  $*d < *rd$  дает  $l$  в отличие от  $*d < *rt$ , которое дает  $r$ ; например: йидга  $wul\dot{y}ak\dot{a}$ , мундж.  $wul\dot{g}a$  «почка» и т. д. Ишкашимский язык дает обычно  $l$ , как и при  $*d < *rt$ : ишк.  $gul/la$  «желудок»,  $gol/la$  «ленешка», санглич.  $wolk$  «почка»,  $as\dot{a}l$  «в этом году». Ваханский язык в одних случаях дает  $r$  ( $do\dot{v}r$  «сердце»,  $dur$  «желудок»), в других —  $l$  ( $wal\dot{t}k$  «почка»). Шугнано-рушанская группа диалектов обычно сохраняет  $*rd$  со спирантизацией  $\dot{d} > \delta$ : шугн.  $zord$  «сердце»,  $gard\dot{a}$  «ленешка». Язгулямский язык дает  $*rd > wd$ :  $saw\delta$  «год»,  $zaw\delta$  «сердце».

Второй ряд звуковых корреспонденций (см. табл. 3) состоит в соответствии церебрального  $\xi$  западных диалектов папто, диалекта йидга мунджанского языка, ваханского и ишкашимского языков звуку  $\dot{x}$  в гильзайских диалектах папто, диалектах шугнано-рушанской группы (кроме сарыкольского) и язгулямском языке, и звуку  $x$  в восточных диалектах папто и сарыкольском диалекте шугнано-рушанской группы.

Глухой целевой характер согласных, являющихся членами этих соответствий, заставляет предполагать исходный глухой целевой согласный. Церебральный характер этого согласного в тех языках, где имеются церебральные, заставляет думать, что этот глухой целевой согласный был церебральным. Сопоставление материала, обобщенного в табл. 3, приводит к исходному  $*\xi$ . Это подтверждается также тем, что в рассматриваемой категории слов в сакском языке непосредственно засвидетельствован церебральный  $\xi$ . Этот  $*\xi$  сохранился в западных диалектах папто, ваханском и ишкашимском языках (хотя в ряде случаев и здесь наблюдается нерегулярная децеребрализация), в меньшей степени — в диалекте йидга (случаи децеребрализации отмечаются здесь чаще). В мунджанском диалекте децеребрализация  $*\xi$  произошла, по-видимому, полностью. Исходный  $*\xi$  появился в юго-восточной языковой общности на месте различных древнеиранских групп согласных —  $*sr$ ,  $*str$ ,  $*r\dot{s}$ ,  $*x\dot{s}$  и др. При этом группа  $*x\dot{s}$  дала  $*\xi$  не для всех юго-восточных языков: мунджанский язык остался вне данной изоглоссы и сохраняет группу  $x\dot{s}$ . В ваханском исторически начальная группа  $x\dot{s}$  дает  $\dot{s}$ , реже  $\xi$ , а интервокальная группа  $*x\dot{s}$  дает  $\xi$  или  $\dot{x}$ , например:  $ul\dot{s}k$ ,  $ye\dot{x}k < yux\dot{s}aka$  «учащий»,  $Wu\dot{s}$  ( $Wu\dot{s}/Wux$ ) «Вахан»

<sup>13</sup> См.: В. С. Соколова, Очерки..., II, стр. 236; Т. Н. Пахалина, указ. соч., стр. 26.

<sup>14</sup> См. G. Morgenstierne, IFL, II, стр. 288.

(ср. сак. *bašša*, *vaššu* «бурная река»), *yošt* «соглашение» (ср. авест. *āxšti-*), *višiv* «нестись» (< \**abi-xšwaib?*)<sup>15</sup>. Появление *kš* на месте группы *xš* в глаголе *kšyū-*: *kšən* «слышать» — единичное явление<sup>16</sup>. В диалектах шугнано-рушанской группы, язгулямском языке и гильзайских диалектах папшто исходный \**š* дал закономерный *ṣ̌*. В сарыкольском диалекте и восточных диалектах папшто этот процесс пошел далее: *ṣ̌* > *x*<sup>17</sup>. В ряде случаев этот процесс затрагивает и ваханский язык. В папшто наблюдается иногда позднейшее озвончение исходного \**š* в интервокальной позиции в *ṣ̌*<sup>18</sup>, в ряде случаев — с последующей децеребраллизацией.

Группа соответствий *l* в папшто, ваханском, ишкашимском языках и диалекте йидга и *l* в шугнано-рушанской группе, язгулямском и (нерегулярно) в мунджанском (см. табл. 4) дает основания предполагать исходный \**l*, сохранившийся в языках, где имеется церебральный ряд, и децеребрализовавшийся в языках, ныне его не имеющих. Ваханский язык и здесь выявляет некоторые отклонения от регулярных соответствий, обнаруживая в ряде случаев любопытные архаизмы (см. *mōst* «кулак»). Этот исходный \**l* возник здесь, по-видимому, на месте древней группы \**št*, возможно, через ступень \**ṣ̌t* (остатки которой прослеживаются в мунджанском *ṣ̌č/ṣ̌k* в слове «кулак») с последующей утерей \**ṣ̌*; оставшийся \**l* дал закономерные рефлексы по языкам.

В табл. 5 приводятся следующая группа соответствий: церебральный *ž* западных диалектов папшто соответствует *l* в ишкашимском языке, *l* в сарыкольском диалекте шугнано-рушанской группы, *ʃ* в шугнанском диалекте и гильзайских диалектах папшто, *w* в остальных диалектах шугнано-рушанской группы, в язгулямском языке. В мунджанском языке соответствующие позиции занимают гласные: *-o* (в йидга), *-a* или *-y(a)* (в мунджанском).

Звонкий щелевой характер согласных, являющихся членами указанных выше соответствий по большинству языков, дает основания предполагать в общем языке исходный звонкий щелевой. Церебральный характер соответствующего рефлекса в папшто позволяет предположить в качестве прототипа этого соответствия именно звонкий щелевой церебральный \**ẓ̌*<sup>19</sup>, появившийся в общем состоянии юго-восточных иранских языков, по-видимому, в результате озвончения в интервокальной или поствокальной позиции древнего \**ṣ̌*. Исторически это подтверждается наличием в данной позиции в сакском языке звонкого церебрального щелевого *ẓ̌*, который в произношении часто выпадал, о чем свидетельствует пропуск в сакских документах знака *ṣ̌* (означавшего *ẓ̌*, в отличие от *šš*, означавшего *ṣ̌*) или замена его другим знаком с полукружком, указывающим на ощущение звука. Ср. в табл. 5 написание сакских слов *gguṣa* «ухо», *suṣā-*, *zṣi-* «легкое», доказывающее церебральный звонкий характер этого звука в сакском языке, и рефлекс *w* в ряде диалектов шугнано-рушанской группы и язгулямском языке.

Табл. 6 представляет соответствия *r/g* в папшто, *r* или *l* в диалекте йидга

<sup>15</sup> G. Morgenstierne, IFL, II, стр. 465.

<sup>16</sup> Г. Моргенстьерне (там же) склонен выводить эту глагольную основу не из др.-иран. *xšnā-*, а из \**g(u)šaya-*. Более вероятным представляется сохранение здесь в ваханском языке одной из тех «индийских» черт, о которых писал сам Г. Моргенстьерне (G. Morgenstierne, Indo-European *k'* in Kafiri, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XIII, 1945, стр. 233).

<sup>17</sup> См.: R. B. Shaw, On the Chalchah languages (Wakhi and Sarikoli), «Journal of Royal Asiatic society of Bengal», XLV, pt. 1, 11, 1876, Calcutta, стр. 149; W. Geiger, Kleinere Dialekte und Dialektgruppen, в кн. «Grundriss der iranischen Philologie», I, 2, Strassburg, 1898—1901, стр. 306; Ив. Зарубин, указ. соч., стр. 129.

<sup>18</sup> См. G. Morgenstierne, IFL, II, стр. XVIII, 53 и сл.

<sup>19</sup> См. G. Morgenstierne, IFL, II, стр. 53.

и *l* в ишкашимском языке, *ʃ* в шугнанском диалекте, *w* в рушанском и примыкающих к нему диалектах, а в единичных случаях — и в язгулямском языке, который обычно дает здесь *g*. Мунджанский диалект дает церебрализованные пары к церебральным в йидга, ваханский язык — звонкие согласные различной артикуляции. Таким образом рефлексy языков пашто, мунджанского, язгулямского и ишкашимского возводятся к  $*d$ , а рефлексy шугнано-рушанской группы к  $*\dot{z}$ . Все эти соответствия в конечном итоге возводятся к древнеиранским  $*rt$  и  $*rd$  в позиции перед суффиксом  $*ka$ . Эти соответствия можно объяснить следующим образом: после того как произошли процессы  $*rt > *t > *d$  (см. табл. 2) и  $*rd > *d$ , эти  $*d$  в диалектах, составивших впоследствии шугнано-рушанскую группу, перед суффиксом  $*ka$ , где  $*k$  спирантизовался в *l*, подверглись также спирантизации:  $*dl > *\dot{z}l$ <sup>20</sup>. Дальнейшее развитие рефлексов  $*rt$  и  $*rd$  в данной позиции в этих диалектах шло уже обычным путем развития  $*\dot{z}$  (см. табл. 6). Вах. *yūmj* «мука» является, возможно, заимствованием<sup>21</sup>.

По системе соответствий, развившихся из древнеиранской группы  $*rz$  (см. табл. 7), юговостоноиранские языки четко подразделяются на три части: 1) сохранившие группу *rz* (ваханский, мунджанский языки и сарыкольский диалект), 2) несколько видоизменившие эту группу (язгулямский и диалекты шугнано-рушанской группы, за исключением сарыкольского) и 3) церебрализовавшие эту группу:  $*rz > \dot{z}d$  (языки пашто и ишкашимский). Развитие группы  $\dot{z}d$  из древнеиранской  $*rz$  в пашто и ишкашимском языках могло идти путем последовательного ряда ассимиляций ( $*rz > *r\dot{z} > *\dot{z}\dot{z}$ ) с заключительной диссимиляцией ( $*\dot{z}\dot{z} > \dot{z}d$ ). Косвенным указанием на наличие промежуточной ступени  $*r\dot{z}$  может являться рефлекс  $-r\dot{z}$  в ишкашимском языке (см. в табл. 7 слово «береза») и  $r\dot{z}$  в диалекте пашто — ванетси, в котором обычно  $\dot{z}$  соответствует церебральному  $\dot{z}$  западных диалектов пашто, что позволяет предположить для данной группы слов в ванетси следующее развитие:  $*rz > *r\dot{z} > r\dot{z}$ ; например: *wurza* «голодный», *xūr\dot{z}* «сладкий»<sup>22</sup> (ср. *wə\dot{z}ai*, *xō\dot{z}* западных диалектов пашто). В других словах эта же исходная группа дает  $\dot{z}d$ : *ū\dot{z}d* «длинный», *ē\dot{z}dan* «просо» (ср. *ū\dot{z}d*, *\dot{z}dan* западных диалектов)<sup>23</sup>. Встречаются и рефлексy промежуточной ступени  $*\dot{z}\dot{z}$ , отразившиеся в виде  $\dot{z}$  (см. в табл. 7 слова «кривой», «сладкий»). Особенно часто следы  $*\dot{z}\dot{z}$  прослеживаются в пашто (*sar-we\dot{z}* «подушка» наряду с *sar-we\dot{z}d*, *wə\dot{z}ai* «голодный» и *hwa\dot{z}a* «голод», *le\dot{z}al* «завертывать» наряду с *blē\dot{z}dal* «пеленать», *wa\dot{z}ay* «колос» и др.)<sup>24</sup>. Последняя ступень  $*\dot{z}d$  выявляется в ряде слов в пашто и ишкашимском языках. Отражение группы *rz* как  $\dot{z}$  в шугнанском является, возможно, также результатом церебрализации. Сохранение в ишкашимском языке  $*\dot{z}$ - вместо ожидаемого перехода  $*\dot{z} > l$  объясняется поздним возникновением группы  $*\dot{z}d$  и тем, что  $*\dot{z}$ - выступает здесь в со-

<sup>20</sup> См. G. Morgenstierne, Notes on Shughni, стр. 41.

<sup>21</sup> Г. Моргенштерне этимологизирует вах. *yūmj* из  $*ā-ma\dot{c}i-$  (см.: G. Morgenstierne, IFL, II, стр. 554; его же, [рец. на ки.] D. L. R. Lorimer, The Wakhi language, BSOAS, XXIII, 1, 1960, стр. 152); однако не исключена возможность возведения вах. *yūmj* к заимствованию типа  $*yauj$  с позднейшей меной  $w > m$  (ср. переход  $w > m$  в некоторых северо-западных индийских языках).

<sup>22</sup> Г. Моргенштерне склонен в данном слове видеть рефлекс не  $*rz$ , а  $*r\dot{z}$ , по сравнению с другими иранскими языками приводит именно к исходному  $*rz$  [ср. G. Morgenstierne, Additional notes on «The development of R + sibilant in some Eastern Iranian languages» (отд. оттиск, б. м. и г.)].

<sup>23</sup> G. Morgenstierne, The Wanetsi dialect of Pashto, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», IV, 1930, стр. 161.

<sup>24</sup> См.: G. Morgenstierne, 'Pashto', 'pathan' and the treatment of r + sibilant in Pashto, «Acta orientalia», XVIII, 2, Lund, 1940; А. Н. Рагоза, Древнеиранские группы согласных и их отражение в афганском языке (пушту), «Уч. зап. [ЛГУ]», 294. Серия востоковедческих наук, 12, 1961, стр. 65—66.

ставе группы. Типологически эта система соответствий близка к системе соответствий, возникших из др.-иран. \*rs (табл. 8), которая дала *št* в папшто и ишкашимском, возможно, тем же путем последовательных ассимиляций (\*rs > \*rš > \*šš) <sup>25</sup> с заключительной диссимиляцией (\*šš > \*št).

Система соответствий, восходящих к древнеиранской группе \*rn (табл. 9), состоит в выявлении церебрального *n* (в тех языках, где есть церебральный ряд) и *n* (где его нет). Группа *ng* в мунджанском диалекте, очевидно, является рефлексом церебрального *n*, передающим его артикуляцию — более заднюю, чем у дентального *n*.

Таким образом, по предварительным данным можно предложить для юго-восточной группы иранских языков по ряду соответствий реконструкцию исходного церебрального ряда, включавшего, по-видимому, \*t, \*d, \*š, \*ž, \*n. Эти исходные церебральные возникли, несомненно, на разных этапах развития этой группы диалектов, однако в какой-то период могли существовать синхронно. Наличие в синхронном плане такого церебрального ряда в группе восточноиранских языков вполне вероятно, поскольку этот церебральный ряд находит типологическую параллель в фонологических системах других языков (ср. сакский язык, некоторые дардские языки, пракрыты и т. д. <sup>26</sup>). То, что ваханский язык, выявляющий относительно закономерные рефлексы по отражению исходных \*š и отчасти \*t, не дает таковых по остальным исходным церебралам, позволяет предположить, что \*š и \*t сложились до обособления ваханского от этой группы. Остальные церебралы этого ряда сложились позже для всех диалектов данной группы, уже не включавшей в себя ваханский. Развитие же церебральных групп на месте др.-иран. \*rz и \*rs произошло в более поздний период, когда даже шугнано-рушанская группа уже распалась на диалекты.

Наличие церебрального ряда в общем для юго-восточных иранских языков состоянии становится более вероятным, если учесть данные исторической фонологии дардских и индийских языков. Например, группа \*rt, уже в пракрытах переходившая в *t* или *l*, в ряде современных индийских и дардских языков дает церебральные, хотя и различные, как правило, от церебральных, возникших из \*rt в иранских (что говорит именно о параллелизме в развитии церебральных, происшедших из этой группы, а не о заимствовании их со словами в иранские языки из индийских).

Параллельно развитию в иранских языках церебральных на месте групп \*xš, \*sr и др., в дардских и ряде индийских языков развиваются согласные или группы согласных, в ряде случаев церебральные (но не всегда совпадающие с иранскими) из аналогичных древнеиндийских групп (*kš*, *śr* и др.). Параллелизм с иранскими языками отмечается и в развитии древних групп \*str, \*st (дававших рефлекс *t*th еще в пракрытах) и др. Древнее интервокальное и поствокальное \*š в дардских и некоторых индийских языках дает звонкие согласные рефлексy, или же в соответствующей позиции обнаруживается гласный. По пути церебрализации идет в дардских и ряде индийских языков и развитие др.-инд. группы \*rn.

Некоторые церебральные ряды соответствий индийских и дардских языков не находят параллели в иранских языках. Например, группа \*tr по живым иранским языкам не дает регулярных церебральных соответствий, хотя не исключена возможность, что на пути к современным рефлексам (церебральным и нецеребральным) эта группа прошла в некоторых язы-

<sup>25</sup> См. в папшто *tšal*- наряду с *tšədəl*- «избегать» (ср. авест. *tarəsa*-).

<sup>26</sup> О проверке реальности реконструкции данными типологии см. R. Jakobson, *Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics*, в кн. «Proceedings of the VIII International congress of linguists», Oslo, 1958, стр. 23.

как церебральную ступень (см. табл. 10)<sup>27</sup>. По ряду дардских и индийских языков группа *\*tr* дает церебральные соответствия.

Отмеченные соответствия не дают оснований считать иранские церебральные результатом заимствования из индийских языков, хотя отдельные лексические заимствования с церебральными из индийских языков в иранские и обратно имеют место. Уместно отметить, что с точки зрения теории заимствования церебральных восточноиранскими языками из индийских остается необъяснимым большее развитие системы церебральных в западных диалектах пашто, чем в восточных, граничащих с индийскими языками. Факты соответствий между церебральными в юго-восточных иранских, с одной стороны, и в дардских и индийских, с другой, показывают определенный параллелизм в развитии церебральных по этим языкам, объясняющийся общей тенденцией их фонетического развития.

Общинеоэвропейская фонологическая модель, как известно, не имела церебрального ряда. Поэтому наличие этого ряда в языках индо-иранской группы справедливо расценивается как местная инновация. В связи с этим перед диахроническим исследованием встает вопрос о соотношении образования церебральных согласных с определенным хронологическим уровнем в истории восточноиранских языков и о путях их возникновения в иранских языках. Наличие церебралов в исконом иранском материале и факты закономерных соответствий по отдельным иранским языкам юго-восточной группы свидетельствуют об их древности в этом ареале, о том, что они развились в иранских самостоятельно, а не усвоены «пограничными» иранскими языками из соседних индийских (или дардских).

Установить хронологически период существования общезыкового уровня, в котором предполагается наличие реконструируемого церебрального ряда, пока трудно. Однако тот факт, что эта система церебральных находит поддержку в памятниках сакского языка (который, возможно, являлся одним из диалектов, входивших в эту общность, либо был диалектом, близкородственным этой общности) дает возможность соотнести наличие реконструируемого церебрального ряда с периодом не позже средней эпохи в истории иранских языков. Параллелизм же в развитии церебральных в иранских языках, дардских и части индийских языков заставляет думать, что факт появления здесь церебральных хронологически можно соотнести с еще более отдаленной эпохой в истории индо-иранских языков.

Причиной появления церебральных в иранских, как и в индийских языках явился, по-видимому, тот неиндоевропейский субстрат, на который осела часть индо-иранских диалектов<sup>28</sup>. Трудно установить сейчас, к какой именно группе принадлежали эти субстратные языки, так как церебральные ряды отмечаются во всех неиндоевропейских группах языков, контактирующих в настоящее время с индо-иранскими языками в ареале распространения церебральных. В развитии церебральных в индо-иранских языках этот субстратный фактор сыграл, по-видимому, роль катализатора, поддержавшего и развившего процесс противопоставления двух фонологических рядов — церебрального и нецеребрального.

Появление же фонетической базы церебральных — какуминальной артикуляции ряда переднеязычных согласных — было обусловлено внутренними законами развития ряда индоевропейских языков, где соседство

<sup>27</sup> См. G. Morgenstierne, *Distribution of Indo-European features surviving in modern languages*, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956, стр. 369. Сохранение в ваханском языке группы *tr*, наличие в ряде случаев в ягдобском *tir-* и *dir-* из *\*tr*, в сакском *dr* < *\*tr*, в осетинском *rt* и в отдельных случаях *-rd* (метатеза с озвончением) заставляют думать, что в древнеиранском общем языке могло быть именно *\*tr*, а не *dr*, которое могло возникнуть позже и не во всех диалектах.

<sup>28</sup> См. И. М. Орскин, указ. соч., стр. 307, примеч. 32.

Таблица 2

Язык Значение	Панто	Мунджанский		Ишкашим- ский	Шугнано-руш. группа		Язгулямский	Ваханский	Примечания
		йидга	мундж.		шугн.	руш.			
«Съел»	-xūṛ-	xūṛo-	xur-	xūl/l, санглич. x(w) o!	xūd	xūg	xūg		Ср. авест. x <sup>v</sup> ašam- (основа x <sup>v</sup> ar-), сак. hviḍā «ест»
«Умер»	-mər-	mur-, mṛo («умерший»)	mur-	məl/l, санглич. mə!	mūd	mūg	məg	mərt	Ср. сак. muḍa-, авест. a-məša- «бессмертный»
«Сделал»	-kər-	kər-	kər-	kəl/l	čūd	čūg	k'eg	kərt	Ср. сак. yāda-, авест. kərata-, санскр. kṛta-
«Смолол»	ḍṛə «мука» («смолотое»)	yīṛ-	yūr-	u!	yūd	орошор. yūg	yūg		
«Принес»	-wṛ-	āvər-	āvər-		vūd	avūg	vəg		Ср. сак. biḍā «несет», авест. bərata-
«Имел»	-lod	lat	lat	dūl/l	ḍūd	орошор. ḍūg	pa-ḍūg «удержи- ваться»	dōžd- («брать»)	
«Нож»	čāra, čārakai	kəṛo	k̄əro	kə!	čēd	čēg		kəž, kōž	Ср. авест. karata-, перс. kārd

Язык Значение	Пашто	Ваханский	Ишнашим-ский	Мундванский		Шугнано-руш. гр.			Явгулям-ский	Примечания
				йндра	мундж.	шугн.	руш.	сарык.		
«Слеза»	<i>uška, uša</i>	<i>yašk</i>	<i>ošk</i> , санглич. <i>ašik</i>	<i>yāšk</i>	<i>yāšk, yošk</i>	<i>yūšk</i>	<i>yošk</i>	<i>yuxk</i>	<i>yāšk</i>	Ср. сак. <i>āška</i> -, авест. <i>asru</i> -, санскр. <i>aśru</i> -
«Рог»	<i>šānga</i>	<i>šau, šau</i>	<i>šox</i> , санглич. <i>šow</i>	<i>šū</i>	<i>šūw</i>	<i>xōš</i>	<i>šaw</i>		<i>šow</i>	Ср. сак. <i>šsu</i> -, авест. <i>sru</i> -, белудж. <i>srong</i> , санскр. <i>śṅga</i> -
«Бёдра, поясница, ягодицы»	<i>šəngərai</i> («берц. кость»), <i>šena</i> («нога»)	<i>šunj, šin</i> («anus»)	<i>šənj</i> («ляж- ка»), <i>šen</i> («anus»)	<i>šina</i>	<i>šina</i>	<i>xūn</i>	<i>xun</i>	<i>xaun</i>		Ср. сак. <i>ssuni</i> -, авест. <i>sraoni</i> -
«Теща, свекровь»	<i>xvaše</i>	<i>xšāš</i>	<i>xvš</i>		<i>xūše</i>	<i>xīx</i>	<i>xoš</i>		<i>xuš</i>	* <i>x<sup>v</sup>as(u)-rā</i> -
«Ночь»	<i>šab</i>		<i>šab</i>	<i>xšovoh</i>	<i>xšawā,</i> <i>xšovoh</i>	<i>xāb, xap</i>	<i>xāb</i>		<i>xāb</i>	Ср. сак. <i>ssavā</i> -, <i>ksap</i> -, ягн. <i>x(i)šap</i> -, согд.-маних. <i>xšp</i> -, авест. <i>xšapā</i> -, <i>xša-</i> <i>fna</i> -
«Молоко»	<i>šide</i>				Ср. <i>axšow</i> -, <i>axševd</i> («же- вать»)	<i>xūvd</i>	<i>xūvd</i>	<i>xevd</i>	<i>x<sup>o</sup>ovd</i>	Ср. авест. <i>xšvipta</i> -, <i>xšvid</i> -, ягн. <i>xīšift</i> -, согд. <i>*γšyzi</i>
«Внимать»	<i>kšən-kšūy-</i>					<i>xin-</i>	<i>xan-</i>	<i>xan-</i>	<i>xan-</i>	Ср. авест. <i>xšnā</i> -
«Трава»	<i>wāšə</i>	<i>wuš</i>	<i>wuš</i>	<i>wuš</i>	<i>wūš</i>	<i>wōš</i>	<i>woš</i>	<i>vox</i>	<i>wēš</i>	Ср. авест. <i>vāstrya</i> -, <i>vāstra</i> -, осет. <i>xvasā</i> -, согд. <i>wyš</i> -, ягн. <i>wayš</i> -, <i>wēš</i>
«Верблюдо»	<i>ūš, uš</i>	<i>šətar, štar</i>		<i>išuro</i>	<i>škūr(a),</i> <i>iškirō</i>	<i>uštur,</i> <i>štur</i>	<i>uštur</i>	<i>xštūr</i>	<i>aštōr</i>	Ср. сак. <i>ušt</i> -, авест. <i>uštara</i> -
«Медведь»	<i>yaž</i>		<i>xurs</i>	<i>yerš</i>	<i>xōrs</i>	<i>yūrš</i>	<i>yurš</i>	<i>yūr</i>	<i>yurš</i>	Ср. авест. <i>arəša</i> -, санскр. <i>ṛkṣa</i> -
«Тянуть, тащить»	<i>kšal, škī-</i>	<i>xaš-</i>	<i>kreš-, xaš-</i>		<i>xāš-</i>	<i>kašān sittow</i> («прице- питься»)			<i>kašān-</i> <i>xəraš-</i>	Ср. авест. <i>karš-</i>
«Веревка»	<i>wāš</i>	<i>šiven</i>	<i>vūš</i>			<i>vāš</i>	<i>vāš</i>		<i>vəš</i>	

Таблица 4

Язык Зна- чение	Шапто	Вахан- ский	Ишкашим- ский	Мунджацкий		Язгу- лям- ский	Шугнано-руш. гр.		Примеча- ния
				йидга	мундж.		шугн.	руш.	
«Корот- кий»	<i>kētəyi</i> («обре- зать»)	<i>kət</i>	<i>kət</i> , санглич. <i>kuł</i>	<i>kōt</i> , <i>kūk<sup>h</sup>a</i>	<i>kūtyo</i>		<i>kuł</i>	<i>kuł</i>	
«Откры- тый»		<i>(h)ət</i> , <i>hōt</i>	<i>ał</i> , санглич. <i>hət</i>			<i>ot</i>	<i>yet</i>	<i>at</i> , <i>ōt</i>	
«Кулак»	<i>mūt</i>	<i>mōst</i> , <i>mič</i>	<i>mət</i> , <i>muł</i>	<i>muł<sup>h</sup></i> , <i>mišč</i>	<i>mušk</i>	<i>mol</i>	<i>mut</i>	<i>mut</i>	Ср. сак. <i>m<sup>a</sup>šti-</i> , санскр. <i>mi<sup>h</sup>i-</i>

*r* и *š* (которые сами являются в большинстве случаев какуминально-постальвеолярными) с переднеязычными согласными придает последним какуминальную артикуляцию (частичная ассимиляция)<sup>29</sup>, которая сохраняется и в случае последующего выпадения *r* и *š* (см. развитие групп *xš*, *št*, *str*, *rš*, *sr* и др., табл. 2—10)<sup>30</sup>. В этом плане процесс упрощения ряда древнеиранских и древнеиндийских консонантных групп по типам «*r* + дентальный (в ряде случаев „дентальный + *r*“) = церебральный» и «*š* + дентальный = церебральный» явился дальнейшим развитием процесса упрощения индоевропейских групп в древнеиндийском по типу «\**l* + дентальный = церебральный»<sup>31</sup>. В отдельных случаях процесс «*r* + дентальный = церебральный» отмечается уже в древнеиндийском<sup>32</sup>.

Проблема церебральных связана с одной из характерных изоглосс, объединяющих юго-восточные иранские языки с индийскими и особенно с дардскими языками. Эту изоглоссу следует рассматривать в ряду всей суммы довольно многочисленных типологических и материальных параллелизмов, имеющихся между этими языковыми группами. Эти типологические и материальные параллелизмы наводят на мысль о том, что так называемые «пограничные» иранские языки наряду с дардскими и некоторыми индийскими отражают древний переходный ареал в индо-иранском языковом континууме: эти параллелизмы, по-видимому, свидетельствуют о сложном характере древнего индо-иранского диалектного членения.

Целый ряд изоглосс по-разному объединяет часть иранских языков с частью индийских еще и в настоящее время: не считая известных черт материально-лексического сходства, это такие типологические параллелизмы, как, например, наличие эргативной конструкции, сохранение в некоторых языках аугмента (языки ховар, калаша, ягнобский и талышский<sup>33</sup>), некоторые типы определительной конструкции, остатки вигезимальной системы исчисления, церебральный ряд в фонологии и т. д.<sup>34</sup>. Не удивительно поэтому, что современная граница между индийскими и иранскими языками не совпала с границей распространения церебральных.

<sup>29</sup> Ср. «церебрализацию» согласных после *r* и *š* в санскрите.

<sup>30</sup> Ср. аналогичный процесс какуминализации дентального в позиции после *r* при исчезновении *r* в шведском языке и восточнонорвежских диалектах.

<sup>31</sup> См.: F. F. Fortunatov, *L + dental im Altindisch*, «Beiträge zur Kunde der indogermanische Sprachen», VI, стр. 245 и сл.; Ф. Ф. Фортунатов, Индоевропейские плавные согласные в древнеиндийском языке (отд. отд. б. м. и г.), стр. 461.

<sup>32</sup> A. Thumb, *Handbuch des Sanskrit*, I, 1, Heidelberg, 1958, стр. 242.

<sup>33</sup> См.: G. Morgenstierne, *Distribution...*, стр. 371; Б. В. Миллер, Талышский язык, М., 1953, стр. 152.

<sup>34</sup> Г. Моргенштерне отмечает ряд изоглосс, где «индийские» черты проявляются в восточноиранских языках (см. его «Indo-European *k'* in Kafiri»).

Язык Значение	Пашто	Ишкашим- ский	Шугнано-руш. гр.			Язгулям- ский	Мунджанский		Ваханский	Примечания
			сарык.	шугн.	руш.		йидга	мундж.		
«Ухо»	<i>ɣwaʒ</i>	<i>ɣâl/l</i>	<i>ɣawl</i>	<i>ɣāʕ</i>	<i>ɣōw</i>	<i>ɣəvon</i>	<i>ɣū</i>	<i>ɣūy</i>	<i>ɣiʃ</i>	Ср. сак. <i>gguya-</i> , авест. <i>gaōša-</i>
«Шесть»	<i>ʃpaʒ</i>	<i>xâl/l</i>	<i>xel</i>	<i>xōʕ</i>	<i>xūw</i>	<i>xu(w)</i>	<i>uxʂō</i>	<i>oxšo</i>	<i>ʃad</i>	Ср. сак. <i>kʂasa-</i> , <i>kʂei-</i> , авест. <i>xʂvaš-</i> , санскр. <i>śas-</i>
«Овца»	<i>mēʒ</i>	<i>mel</i>	<i>mawl</i>	<i>māʕ</i>	<i>māw</i>	<i>maw</i>	<i>māo</i>	<i>māya</i>	<i>mai</i>	Ср. авест. <i>maēša-</i>
«Вошь»	<i>spəʒa,</i> <i>spaʒ</i>	<i>s(b)pyl, spuʔ</i>	<i>spal</i>	<i>sipaʕ</i>	<i>sipaw</i>	<i>səpaw</i>	<i>spīo</i>	<i>sʔpəya</i>	<i>ʃiʃ</i>	Ср. авест. <i>spiš-</i>
«Своха»	<i>nʒor</i>	<i>wuznul</i>	<i>z(ə)nal</i>	<i>zinaʕ</i>	<i>zinaw</i>	<i>zəpaw</i>		<i>zʔnīya</i>	<i>stəx, steʕ</i>	* <i>sniša-?</i>
«Легкое (анат.)»	<i>saʒai,</i> <i>caʒay</i>		<i>sūl</i>		орошор. <i>su</i>				<i>ʒūʃ</i>	Ср. сак. <i>su yū-</i> , <i>syi-</i> , авест. <i>suši-</i>
«Ломать- (ся)» (осно- ва наст. вр.)	<i>vran-</i> (по- нуд.)	<i>vʔrēl-</i> , санг- лич. <i>vrēl</i>	<i>varal-</i> («уто- лять жаж- ду»)	<i>viraʕ-</i>	<i>viraw-</i>	<i>vəraw-</i>	<i>vri-</i>	<i>vʔrīr-</i>		

Таблица 6

Язык Значение	Пашто	Мунджанский		Ишкашимский	Язгулямский	Шугнано-руш. гр.		Ваханский	Примечания
		йидга	мундж.			шугн.	руш.		
«Мука, смо- лотое»	<i>wigə, ōgə,</i> <i>ugə</i>	<i>yāgē-</i>	<i>yōgiy</i>	<i>wuluk, ulʔluk;</i> санглич. <i>wu, ok</i>	<i>yəgag(in)</i>	<i>yōʕʔ</i>	<i>yāwʔ</i>	<i>yūmʔ</i>	* <i>arta(ka-)?</i>
«Почка (анат.)»	<i>puʃtawarga</i>	<i>wulɣa,</i> <i>wulɣakə</i>	<i>wulʔga</i>	санглич. <i>wolʔk, wʔʔk</i>		<i>wūʕʔ</i>	<i>wawʔ</i>	<i>wɔʔlk, welk</i>	Ср. авест. <i>v.r. δka-</i> , сак. <i>bilga-</i> , санскр. <i>vṛtka-</i> , перс. <i>gurda</i>
«Желать, хотеть, лю- бить»	<i>ɣwāɣ-</i>				<i>ɣu(w)</i>	<i>ʒīwʔ</i>	<i>ʒīwʔ</i>		
«Съевший»					<i>xʔiga(g)</i>	<i>xūʕʔ</i>	<i>xūʔ</i>		* <i>xʔɣta-ka-</i>
«Умерший»					<i>miga(g)</i>	<i>mūʕʔ</i>	<i>mūʔ</i>		* <i>mṛta-ka-</i>

Таблица 7

Язык Значе- ние	Пашто	Ишкешим- ский	Язгулям- ский	Шугнано-руш. гр.			Виханский	Мунджанский		Примечания
				руш.	шугн.	сарык.		йндга	мундж.	
«Длинный»	(w)ūʒd	vəʒdūk, санглич. vəʒdūk	vəz	vūz	vūʒʒ		vörz	vān	vāŋgʻ	Ср. авест. <i>bər:zant-</i>
«Подушка, изголовье»	sar-weʒd, sar-weʒ	voʒd	vāwz	vāwz	vīʒʒ(ej)		vörzik, vörz	virzanē	vēzni, vīzni	Ср. авест. <i>barəziš-</i>
«Береза»		брььʒ	vāwz	vāwz	vēʒʒ		furz	zevirγo	vəzvurgo, vəzvulga	Ср. тадж. <i>burz</i> , русск. <i>береза</i>
«Голодный»	wəʒai, lwaʒa («голод»)			mawz	mōʒūnʒ	marzānʒ	merz, mərzi («голод»)			
«Просо»	ʒdan	uʒdʒn, санглич. wūʒdān			γiʒar		yurzn	arzamin («просьяная лепешка»)	yūrzan	
«Заверты- вать»	leʒəl, blēʒdəl («пеленать»)	санглич. peʒ-				ðerz-		p <sup>ə</sup> larz-	pəlorz-	* <i>pati-darz</i>
«Сладкий»	xōʒ	xəʒūk	xuʒ	xoʒ	xiʒ, xūʒ	xeg	xūʒg			Ср. авест. <i>x<sup>v</sup>arəzišta-</i> «сладчайший», бе- лудж. <i>awarza</i> , осе- тиск. <i>xwarz</i>
«Колос»	waʒay			rūz	roʒʒ					
«Косой, кривой»	kōʒ	kaʒ	kaʒ k.	kaʒ	kaʒ					

Таблица 8

Язык Значение	Пашто	Ишканим- ский	Ягулям- ский	Шугнано-руш. гр.			Вахан- ский	Мунджанский		Примечания
				руш.	шугн.	сарык.		йидга	мундж.	
«Спрашивать»	<i>puštedəl</i>	<i>f(ʷ)ras-</i>	<i>pis-</i>	<i>pāws-</i>	<i>peħc</i>	<i>pōrs-</i>	<i>pōrs-</i>	<i>pərs-</i>		* <i>pṛsa?</i> авест. <i>pərəsa-</i>
«Можжевательник»	<i>obašt</i> , ванет. <i>obašta</i>	санглич. <i>wəšt</i>	<i>əmbis</i>	орошор. <i>əmbaws</i>	<i>ambaxc</i>	<i>əmbārs</i>	<i>būškanč</i>	<i>yovurso</i>		Ср. авест. <i>hapərəsi-</i> (* <i>ham-pṛsa-</i> ), перс. <i>burs</i> («ягоды можжев.»), санскр. <i>vištara-</i> [назв. дерева]; ванч. <i>vərs</i>
«Козья шерсть»			<i>δus</i>	бартанг. <i>δōws</i>	<i>doxc</i>	<i>δōrs</i>		<i>lirs</i>		
«Ребро»	<i>puštai</i>				<i>pêṛǰ</i>		<i>pōrs (k)</i>	<i>pərsəṛə</i>	<i>pursiga</i>	Ср. сак. <i>palsu-</i> , <i>palsua-</i> , авест. <i>pərəsu-</i> , санскр. <i>parśuka-</i> , <i>parśvaka-</i> , согд. <i>prs'k</i>
«Волосы»	<i>wəšta</i> , вост. <i>wəxta</i>		<i>vorxin</i> («воло- сяной»)	<i>virx</i> («кон- ский во- лос»)	<i>virx</i> («кон- ский волос»)		<i>ša/š</i>			Ср. авест. <i>varəsa-</i> , согд. <i>wrs</i> .

Таблица 9

Язык Значение	Пашто	Мунджанский		Ишкашимский	Ваханский	Шугнано-руш. гр.		Язгулям-ский	Примечания
		йидга	мундж.			шугн.	руш.		
«Глухой»	<i>kōḡ, kuḡ</i>	<i>kuḡastē</i>	<i>kūḡ</i>		<i>kār</i>	<i>čun</i>	<i>čun</i>		Ср. авест. <i>karəna-</i> , согд. <i>kṛn</i> , ягн. <i>kann</i> , сак. <i>kārra-</i>
«Молоть» (основа наст. вр.)	<i>an-</i>			<i>yurn-</i> , санглич. <i>yūr-</i>		<i>yān</i>		<i>yāwn</i>	* <i>arna-</i> ?
«Яблоко»	<i>taḡa</i>	<i>amūḡo</i>	<i>amiḡyo, amīḡa</i>	<i>menḡ</i> ; санглич. <i>me', mīel', mīer'</i> ; зebak. <i>mēn</i>	<i>taḡu, tur</i>	<i>mān</i>	<i>māwn</i>	<i>māwn</i>	* <i>tarna-</i> ?
«Перо»	<i>baḡa</i>	<i>pūḡā</i>	<i>pūḡ (gy)</i>		<i>pār</i>	<i>pit</i>	<i>pūn</i>	<i>pūn</i>	Ср. авест. <i>parəna-</i>
«Лист»	<i>pāḡa</i>	<i>p-ḡēk, puḡuk</i>			<i>plē</i>		<i>pārḡ</i>		Ср. сак. <i>parra-</i>

Таблица 10

Язык Значение	Пашто	Мунджанский		Ишкашим-ский	Шугнано-руш. гр.		Язгулям-ский	Вахан-ский	Примечания
		йидга	мундж.		шугн.	руш.			
«Сын»		<i>pūr, pūl</i>	<i>pūr</i>		<i>pic</i>	<i>pic</i>	<i>roc</i>	<i>pōtr</i>	Ср. авест. <i>puθra-</i> , сак. <i>pura-</i> , санскр. <i>putra-</i> , осет. <i>фырт</i> .
«Огонь»	<i>or, yōr, ūr</i>	<i>yūr</i>	<i>ḡūr, yūr</i>		<i>yōc</i>	<i>yūc</i>	<i>yec</i>		Ср. согд. 'ḡr, 's, ягн. <i>ōl</i> , хорезм. 'rw, осет. <i>apn</i> .
«Веретено»	<i>caḡāi</i>	<i>čeḡo</i>	<i>čeḡe</i>					<i>cūtr</i>	
«Серп»	<i>lōr</i>			<i>dur</i>		<i>der</i>	<i>ḡac</i>	<i>ḡetr</i>	
«Три»	<i>dre</i>	<i>ḡ'ray, šuroy</i>	<i>ḡuroi, ḡiray, šerai</i>	<i>rū(y), rōy</i>	<i>aray</i>	<i>aray</i>	<i>cūy</i>	<i>trūi</i>	Ср. сак. <i>dre-</i> , авест. <i>θrayo-</i> , согд. 'ḡry, šy, хорезм. <i>šy</i> , ягн. <i>iray</i> , санскр. <i>traya-</i> , осет. <i>æpmæ</i> .

В. Б. КАСЕВИЧ

**О ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ РОЛИ ЯВЛЕНИЙ ЗВОНКОСТИ  
И ГЛУХОСТИ В СОВРЕМЕННОМ БИРМАНСКОМ ЯЗЫКЕ**

Во всех работах, в той или иной мере касающихся вопросов бирманской фонетики, утверждается, что в фонологической системе бирманского языка существует противопоставление фонем по линии звонкость — глухость<sup>1</sup>. При этом авторы, рассматривающие вопросы бирманской фонетики специально (Л. Армстронг, У. Корнин), указывают, что такое четкое противопоставление существует в абсолютном начале; в интервокальном же положении, а также в положении после заднеязычного носового сонанта /ŋ/ отмечаются позиционные сандхиальные изменения, состоящие в озвончении ротовых смычных и щелевых согласных.

Наблюдения над живой бирманской речью, а также анализ некоторых кимограмм, однако, показывают, что в абсолютном начале в слогах с этимологически звонкой инициальной имеются случаи свободного варьирования звонких и глухих (а также полувзвонких типа глухая выдержка — звонкая рекурсия)<sup>2</sup>; случаи аналогичного варьирования наблюдаются также и в интервокальном положении и в позиции после /ŋ/, причем здесь отсутствие или наличие вышеупомянутых сандхиальных изменений не обнаруживает на первый взгляд никакой системы.

Наблюдаемые факты заставляют, естественно, усомниться в правильности традиционной трактовки вопроса о глухости — звонкости в бирманском языке. На основании этих предварительных наблюдений было высказано предположение, что противопоставления фонем по различительному признаку звонкость — глухость в фонологической системе бирманского языка не существует<sup>3</sup>.

Настоящая статья является попыткой решения этого спорного вопроса бирманской фонологии путем применения экспериментального, а также некоторых математических методов. Работа выполнена в Лаборатории экспериментальной фонетики ЛГУ<sup>4</sup>. Диктор, быв. преподаватель ЛГУ У Ш. М., является уроженцем севера страны — г. Мейктила (где нет резко выраженных диалектных особенностей). Запись речи информанта производилась на кимографе при синхронной работе пишчиков рта и гортани, в связи с чем в основу чтения кимограмм были положены следующие принципы. Случай, при котором начало колебаний на гортанной кривой предшествовало подъему ротовой кривой (обозначающему рекурсию согласного — взрыв для взрывного смычного и раскрытие щели для щелево-

<sup>1</sup> См. W. Corry, *Outline of Burmese grammar*, 1944 [*«Languages»*, XX, 4 (Suppl.) — *Language dissertation*, 38], стр. 7—8; L. E. Armstrong, *Pe Maung Tin, A Burmese phonetic reader*, London, 1925, стр. 11—14; В. Г. Эпштейн, *Правила русской транскрипции бирманских географических названий*, М., 1959, стр. 8 [ротапринт].

<sup>2</sup> Следует отметить, что случаи оглушения звонких инициалей регистрирует уже Армстронг, не делая, правда, из этого никаких выводов.

<sup>3</sup> Это предположение принадлежит Н. Д. Андрееву (было сделано в виде устного высказывания).

<sup>4</sup> Пользуемся случаем, чтобы выразить благодарность сотруднику Лаборатории доц. М. В. Гординой за ценную помощь, оказанную в процессе работы.

го и аффрикаты), рассматривался как случай звонкости согласного. Если же начало колебаний на гортанной кривой следовало за подъемом ротовой кривой и совпало с началом колебаний на последней (обозначающим последующий гласный), то этот случай трактовался как глухость согласного. Случай, при котором начало колебаний на гортанной кривой совпадало с началом подъема ротовой кривой и предшествовало началу гласного на ротовой кривой, приравнивался к случаю полувонкости согласного.

Таким образом, фонетически (т. е. акустически) мы исходили из наличия в бирманском следующих типов согласных в аспекте различения звонкости — глухости: а) звонкие, б) глухие, в) полувонкие (смычные ротовые и щелевые), г) полувонкие сонанты (hm, hn, hñ, hŋ, hl, hw) <sup>5</sup>. Полувонкие сонанты, несомненно, суть самостоятельные фонемы и в указанном плане не представляют интереса.

Попытаемся выяснить вопрос о фонологической роли первых трех типов согласных. Такие согласные в силу особенностей структуры бирманского слога могут встречаться лишь в качестве инициалей. Учитывая процессы словообразования и словосложения в бирманском, позиции для согласных вышеупомянутого типа могут быть изображены следующим образом: *OXГ*, *ГХГ*, *НХГ*, *ЛХГ*, где *О* — поль звука, *Х* — ротовой шумный согласный, *Г* — гласный, *Н* — заднеязычный носовой сонант /ŋ/ и *Л* — ларингальный смычный согласный /ʔ/ (гортанная смычка). Очевидно, что для разрешения поставленной задачи необходимо исследовать установленные выше позиции для согласных <sup>6</sup>. Начнем с позиции *OXГ* (абсолютное начало). Экспериментальные данные, представляющие эту позицию, сведены в таблицу <sup>7</sup>.

	<i>b</i>	<i>d</i>	—	<i>z</i>	<i>j</i>	<i>g</i>	Итого
Глухие	15	8	—	8	19	6	56
Полувонкие	25	12	—	4	7	20	68
Звонкие	3	9	—	8	9	8	37
	<i>p</i>	<i>t</i>	0	<i>s</i>	ç	<i>k</i>	Итого
Глухие	16	40	15	4	5	7	57
Полувонкие	14	12	15	—	—	6	47
Звонкие	—	—	—	—	—	—	0

Уже изучение таблицы обнаруживает, что четкого и последовательного противоположения согласных по различительному признаку звонкость — глухость на рассматриваемом материале не наблю-

<sup>5</sup> Следует отметить, что фонема /hw/ не зафиксирована ни в одной из известных работ, посвященных бирманскому языку. На то, что /hw/ является фонемой, указывает наличие таких минимальных пар, как /wùŋ/ «живот» — /hwùŋ/ «берег» и т. д.

<sup>6</sup> В позиции *ЛХГ* изменения согласного *Х* в интересующем нас аспекте исключены ввиду принципиальной невозможности озвончения согласных после гортанной смычки. Поэтому на позицию *ЛХГ* должны распространяться выводы, которые будут сделаны для позиции *OXГ*. Ввиду этого позиция *ЛХГ* отдельно рассматриваться не будет.

<sup>7</sup> Здесь и далее /b, d, p, t/ и т. д. обозначают соответствующие этимологические согласные. Цифры показывают, сколько раз этимологически звонкая (глухая) инициаль реализовалась соответственно в позиции *OXГ* в качестве звонкой, глухой, полувонкой.

дается. В самом деле, если бы такое противоположение существовало как четкое и последовательное, то, очевидно, звонкие инициалы оставались бы постоянно и неизменно звонкими. Однако материалы записей показывают, что, например, слово /jōuŋ/ «пшеница» 4 раза встретилось со звонкой инициальной, 4 раза — с глухой /jōuŋ/ и 2 раза — с полувзвонкой jōuŋ; /dáuŋ/ «угол» 2 раза встретилось в виде /dáuŋ/ и 5 раз — /dáuŋ/; /zèi/ «рынок» 2 раза встретилось в виде /zèi/ и 3 раза — /zèi/; /dāpēimé/ «но» 3 раза встретилось в виде /dāpēimé/ и 3 раза — /dāpēimé/; /gōudāuŋ/ «хранилище» 3 раза встретилось в виде /gōudāuŋ/ и 1 раз — /gōudāuŋ/ и т. д.

Допустим далее, что противоположение по звонкости — глухости в абсолютном начале не существует вообще. Это допущение, очевидно, можно было бы считать доказанным, если бы удалось показать, что звонкость этимологически звонких инициалей является лишь одним из возможных вариантов, наряду с которым (и на равных основаниях) могут появляться другие возможные варианты, а именно: полувзвонкость и глухость; иными словами, если бы удалось показать, что случаи появления звонкости, глухости и полувзвонкости в слогах с этимологически звонкой инициальной в абсолютном начале равновероятны.

Для того чтобы доказать это, необходим определенный статистический материал; и в таблице и последующих некоторых расчетах суммированы численные показатели по отдельным звукам, в результате чего мы имеем число независимых испытаний, равное 161. Как представляется, серьезных препятствий, не позволяющих провести эту операцию, не существует, так как, несмотря на различный механизм образования различных согласных, последние не имеют различий в аспекте наличия или отсутствия голоса.

Пусть  $A$  есть событие, состоящее в замене этимологически звонкой инициали соответствующей полувзвонкой;  $B$  — событие, состоящее в замене этимологически звонкой инициали соответствующей глухой, и  $C$  — событие, состоящее в сохранении звонкости у этимологически звонкой инициали. Тогда, по допущенному,  $p(A) = 1/3$ ,  $p(B) = 1/3$  и  $p(C) = 1/3$ , причем представляется не требующим доказательств, что, так как  $p(A) + p(B) + p(C) = 1$ , достаточно доказать  $p(A) = 1/3$  и  $p(B) = 1/3$ .

Математическое ожидание  $M = \frac{n}{3}$ , где  $n$  — общее число тестов, т. е.  $M = 161 : 3 \simeq 54$ . Для проверки того, находятся ли экспериментальные показатели для  $A$  и  $B$  в допустимых пределах отклонения от математического ожидания, будем пользоваться нормальным приближением к биномиальному закону распределения. За уровень значимости возьмем вероятность, равную 0,05. Тогда вероятность того, что полученные значения окажутся в критической области, будет равна 0,95. Эта вероятность отвечает при нормальном распределении интервалу  $(-2,58, +2,58)$  около центра распределения. Отсюда критическая граница соответствует  $2,58\sigma$ , где  $\sigma$  — среднее квадратичное отклонение. По формуле  $\sigma = \sqrt{npq}$ , где  $q = 1 - p$ , определяем  $\sigma$ .

$$\sigma = \sqrt{161 \cdot 1/3 \cdot 2/3} \simeq 5,98$$

$$2,58\sigma = 2,58 \cdot 5,98 \simeq 15,4 \simeq 15.$$

Таким образом, область допустимых значений определяется границами

$$np \pm 2,58\sigma = 54 \pm 15.$$

В нашем случае отклонение составило для А:

$$68 - 54 = 14$$

и для В:

$$56 - 54 = 2,$$

т. е. и в первом, и во втором случае оно находится в области допустимых значений.

Отсюда следует, что нет оснований считать гипотезу противоречащей экспериментальным данным, и, таким образом,

$$p(A) = p(B) = p(C) = 1/3.$$

Из всего вышеизложенного, если учесть при этом факт, что, как это видно из таблицы, этимологически глухие инициали также могут выступать в качестве полувзвонких, не отличаясь при этом от соответствующих этимологически звонких, выступающих в качестве полувзвонких, вытекает следующий вывод: звонкость и глухость в абсолютном начале являются признаками иррелевантными и, стало быть, фонологической роли не играют.

Перейдем к рассмотрению позиций ГХГ и НХГ. Ниже дается ряд примеров различных реализаций глухих согласных в этих позициях. Слово /'jōutú/ «искусственный спутник» 8 раз встретилось в виде /jōutú/;<sup>8</sup> /gʷyúsaɪ/ «заботиться» 3 раза встретилось в виде /gʷyúsaɪ/ и 4 раза /gʷyúsaɪ?/?/gùŋse?/ «хлопковая фабрика» 10 раз встретилось в виде /gùŋse?/?/; /bíóukā/ «основатель» 9 раз встретилось как /bíóukā/ и 2 раза — /bíóúkā/; /yōuŋčī/ «верить» 2 раза встретилось в виде /yōuŋčī/, 1 раз — /yōuŋči/ и 2 раза — /yōuŋčī/; /sòsò/ «рано» 4 раза встретилось в виде /sòsò/; /thāŋčhá/ «садиться» 2 раза встретилось в виде /thāŋčhá/<sup>9</sup> и 6 раз — /thaŋčhá/ и т. д.

Как показывают данные примеры, случаи различной реализации этимологически глухих согласных в позициях ГХГ и НХГ не поддаются систематизации на фонетической основе, так как однородные расхождения обнаруживаются: а) в примерах на все типы согласных — смычные, взрывные, аффрикаты, щелевые, а также на соответствующие им придыхательные; б) в позиции после узких гласных — равно как и после широких гласных; в) равно в обеих позициях (ГХГ и НХГ). Таким образом, чисто фонетические критерии должны быть исключены из рассмотрения.

Привлечем далее критерии иного порядка — а именно те, которые касаются словосложения и словообразования. Здесь необходимо указать, что в бирманском языке практически все слоги, за исключением формальных элементов, — это семемы. Отсюда в позициях ГХГ и НХГ представлено не просто и не только сложение слог + слог, но сложение 1-я семантическая единица + 2-я семантическая единица. Предположим поэтому, что наличие (отсутствие) сандхиального озвончения инициали Х в позициях ГХГ и НХГ зависит от характера отношений, в которые вступают сопологаемые слоги.

В качестве критерия, в соответствии с которым сочетания слогов должны быть отнесены к тому или иному типу, изберем возможность (невозможность) вставки между данными слогами, где под вставкой понимается любой элемент грамматического (в том числе формообразующего), лексического или фонетического (пауза) характера. В соответствии с этим комплексы, состоящие из компонентов, между которыми вставки абсолютно невозможны, будем называть «истинными сложными словами» (ИС) и

<sup>8</sup> В том случае, когда приводится лишь один вариант, это означает, что в экспериментальном материале данное слово встречалось исключительно в указанном виде.

<sup>9</sup> čh̄ = j̄ (а не j̄h̄), так как в бирманском языке отсутствуют звонкие придыхательные, а глухие придыхательные, озвончаясь, теряют свою придыхательность.

говорить, что они «неделимы»; комплексы, состоящие из элементов, вставки между которыми возможны, но количественно и качественно ограничены, будем называть «несобственно сложными словами» (*НС*) и говорить, что они «делимы»; комплексы, вставки между которыми количественно и качественно неограничены, будем называть «свободными сочетаниями» (*СС*) и говорить, что они «предельно делимы».

Применим этот критерий к сочетаниям слогов, имеющимся реально в бирманском языке. Мы принимаем, что все слоги — знаменательные элементы (семемы) — бирманского языка могут быть отнесены к именным или глагольным<sup>10</sup>. Обозначим глагольный и именной слоги соответственно через *V* и *N*. Тогда сочетания слогов выразятся комбинациями *VV*, *VN*, *NV*, *NN*. Рассмотрим эти сочетания.

1. *VV*. Имеются 2 группы: а)  $V_1 \equiv V_2$ , обозначим через  $V^2$ ; б)  $V_1 \neq V_2$ , обозначим через  $V_1V_2$ .

К группе а) относятся особые глагольные образования, которые неделимы (тип /*thúà thúà*/ «много»). Следовательно, по условленному, такие образования суть *НС*. Группа б) имеет следующие подгруппы: а)  $V_1V_2$  — однородные члены предложения (сказуемые), между которыми могут быть вставлены другие  $V_3, V_4, \dots, V_n$  ( $V_1V_2$  предельно делимо): /*tháuyūthí*/ «встал и взял» → /*tháwbwáyūthí*/ «встал, пошел и взял» и т. д. Следовательно, такие комплексы относятся к *СС*; б)  $V_1V_2$ , которые делимы посредством разновидностей форманта так называемого «предварительного сказуемого» /*ywéi*/, /*ruí*/, /*kā*/; морфемы /*Λ*/, которая, будучи присоединена к обоим *V*, превращает  $V_1V_2$  в имя /*Λ*/ $V_1$ / *Λ*/ $V_2$ : отрицания /*mΛ*/, присоединяющегося по модели: /*mΛ*/ $V_1$ / *mΛ*/ $V_2$ . Некоторые из  $V_1V_2$  допускают одни из выше перечисленных вставок, некоторые — другие. Так: /*kāuŋbʷābī*/ → /*kāuŋwəi*bʷābī/ «выздоровел»; /*yūŋhīcī*/ «верить» → /*Λ*yūŋhīcī/ «вера»; /*čāŋmā*/ «быть здоровым» → → /*mΛ*čāŋmā/ «больной». Следовательно, комплексы, составляющие эту подгруппу, относятся к *НС*.

2. *VN*. Этот тип сочетания представлен сравнительно немногими примерами в бирманском языке, причем эти примеры неоднородны в интересующем нас аспекте. Одни из *VN* могут быть делимы посредством так называемой «адъективирующей частицы» /*θ̄*/ (разговорный вариант *té*), например, /*čāŋjōuŋ*/ → /*čāŋt̄jōuŋ*/ «остатки пшеницы»; другие (как правило, устойчивые образования) неделимы: ср. /*čhī<sup>2</sup>θ̄ā*/ «любимый», /*čhī<sup>2</sup>-θ̄θ̄ū*/ «любящий». Некоторые слова из числа неделимых *VN* претерпевают своего рода «опрошение» первого слога (*V*), выражающееся в нейтрализации гласного; так, /*sàrwè*/ «стол», образованное словосложением (/*sà*/ «есть» и /*rwè*/ ~ «мероприятие»), произносится как /*sàrwè*/. Слова, аналогичные первому примеру, следует отнести к *НС*, аналогичные последним — к *НС*.

3. *NV*. Обнаруживает три основные разновидности: а) *NV*, которое в плане синтаксиса представляет собой *OP'*, где *O* — прямое дополнение и *P'* — сказуемое. В этом случае *NV* есть *СС* (предельно делимо): /*khètā-ŋuŋpā*/ «возьмите карандаш» → /*khètāŋpésá*<sup>(?)</sup> ou<sup>2</sup>twēikōuŋpā/ «возьмите карандаш и тетрадь»; б) сочетание *NV*, которое делимо словами, обозначающими степень качества или действия: /*mōuŋwābī*/ «идет дождь» → → /*mōuŋwābī*/ «идет сильный дождь», а также отрицанием /*mΛ*/: /*dīmōukΛrēisīčā*/ «быть демократическим» → /*dīmōukΛrēisīmΛčāphū*/ «быть недемократическим». *NV* такого типа должны быть отнесены к *НС*; в) *NV*, где  $N : V = D : A$ , где *D* — определяющее и *A* — определяемое (опреде-

<sup>10</sup> См., например, Д. И. Е л о в к о в, О частях речи в бирманском языке, «Уч. зап. ЛГУ», 306. Серия востоковедч. наук, 16, 1962.

ление); например, /m̥iŋʃuəʔ/ «благородный царь». Сочетания такого рода неделимы и, следовательно, относятся к *ИС*.

4. *NN*. Как и *VN*, включает в себя разнородные комплексы. Можно выделить случай, когда  $N_1$  связано отношениями притяжательности с  $N_2$ . *NN* такого типа есть *СС*: /l̥r̥h̥eī<sup>(2)</sup>ŋeīŋ/ «дом отца» → /l̥r̥h̥eī l̥m̥eīn̥eīŋ<sup>(2)</sup>ŋeīŋ/ «дом отца, матери и мой», и т. д. Можно также выделить *NN*, делимое лишь союзом /h̥iŋ̥/ «и» (разговорный вариант /n̥eī/). Такие *NN* аналогичны композитам санскрита типа «dvandva»: /ʃh̥ʌyāmi bá/ → /ʃh̥ʌyān̥eīm̥ibá/ «учителя и родители». Такие *NN* следует отнести к *НС*.

Наиболее разнородны примеры *NN*, когда  $N_1$  выступает в роли определения (не в притяжательном отношении) к  $N_2$ . Среди *NN*, однако, встречаются сложные слова, не допускающие вставок между  $N_1$  и  $N_2$ ; например, /l̥eīʃheīʔ/ «аэродром» (образовано словосложением: /l̥eī/ «воздух» и /ʃheīʔ/ ~ «остановка»). Некоторые *NN* такого рода также претерпевают своего рода «опрощение»: /s̥l̥k̥āroŋ̥/ «поговорка» (/s̥l̥k̥à/ «слово», /r̥oŋ̥/ «пример, форма») произносится как /s̥l̥k̥ʌr̥oŋ̥/.

Таким образом, к *ИС* относятся: 1) сочетание  $V^2$ , которое назовем предварительно «атрибутивом»; 2) сочетание *NV*, где *V* выступает в атрибутивном отношении к *N*; 3) некоторые типы *VN* и *NN*, наиболее яркими примерами которых являются слова, претерпевающие так называемое «опрощение».

К *НС* относятся: 1) так называемые «сложные глаголы» типа  $V_1V_2$ ; 2) так называемые «отыменные сложные глаголы» типа *NV* группы б); 3) некоторые типы *VN* и *NN*. К *СС* относятся все прочие типы сочетаний.

В результате произведенного рассмотрения было установлено, что звонкость согласного *X* в позициях *ГХГ* и *НХГ* зависит, как и предполагалось, от типа сочетания сопологаемых слогов, а именно: звонкость согласного в этих позициях является обязательной, если сопологаемые слоги образуют *ИС*. Например: слово /ʃb̥utú/ «спутник» (буквально «имитированная планета») представляет собой тип *NV*, где *V* (/tú/ «подражать», «имитировать») находится в атрибутивном отношении к *N*; /s̥òs̥ò/ «рано» — тип  $V^2$ ; /g̥ùŋ̥s̥eʔ/ «хлопковая фабрика» — тип *NN*, где вставка невозможна, а /r̥àŋ̥çh̥ikà/ «картина» — типа *NN* с «опрощением» (/r̥àçh̥ikà/ — в записях 7 раз встречается в виде /r̥àçh̥ikà/). Слуховые впечатления подтверждают невозможность появления в данных словах глухих в интересующих нас позициях. Слово /s̥àr̥wè/ «стол» произносится как /s̥ʌr̥wè/ (слуховые впечатления) — тип *VN* с «опрощением» и т. д.

Звонкость согласного в позициях *ГХГ* и *НХГ* является факультативной, если слоги образуют *НС*, т. е. комплекс, обладающий меньшей цельнооформленностью по сравнению с *ИС*; см. примеры: /th̥àŋ̥çh̥á/ «садиться» — сложный глагол; /g̥ʌyútsaiʔ/ «заботиться» — отыменный сложный глагол; /y̥òŋ̥ç̥i/ «верить» — сложный глагол.

Этимологически глухие согласные в позициях *ГХГ* и *НХГ* не приобретают звонкости в полном стиле произношения (в смысле Щербы), если слоги образуют *СС* (т. е. сочетание, лишённое цельнооформленности). Однако следует отметить, что уже при небольшой беглости речи озвончению могут подвергаться практически все этимологически глухие согласные (за небольшими исключениями — в частности в тех случаях, когда в силу вступает противоположение по линии придыхательность — не придыхательность). Так, на кимограмме фразы /b̥ʌm̥āloŋ̥ r̥y̥òt̥aʔt̥e̥/ «умею говорить по-бирмански», за исключением отрезка, соответствующего /b/ в /b̥ʌm̥āloŋ̥/, колебания на гортанной кривой не прекращаются на протяжении всей кимограммы фразы<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Звонкость инициала /t̥e̥/ в /r̥y̥òt̥aʔt̥e̥/ не находится в противоречии, как может показаться, с высказанным выше положением о невозможности появления звонкости

Таким образом, в полном стиле произношения наличие (отсутствие) звонкости в интервокальном положении и в позиции после /ŋ/ есть характеристика, которая полностью зависит от типа сочетания сопологаемых слогов, причем обязательной звонкостью является лишь внутри слова (как можно, на наш взгляд, назвать ИС). Следовательно, звонкость (глухость) согласного в этих позициях есть явление позиционное и, стало быть, фонологической роли не играет.

Итак, 1) реализации этимологически звонкой инициали в качестве глухой, звонкой и полувзвонкой в абсолютном начале равновероятны; 2) этимологически глухие инициали в абсолютном начале могут выступать в качестве полувзвонких, не отличаясь при этом от этимологически звонких, также выступающих в качестве полувзвонких; 3) в интервокальном положении и положении после /ŋ/ звонкость в полном стиле произношения есть явление позиционное; 4) в беглой речи в тех же позициях озвончению могут подвергаться практически все согласные. Из всего этого вытекает, что в современном бирманском языке произошла дефонологизация звонких согласных, в результате чего вместо противопоставившихся пар фонем /b — p/, /d — t/ и т. д. образовались фонемы /b : p/, /d : t/<sup>12</sup> и т. д., имеющие позиционно-комбинаторные оттенки соответственно /b/, /d/ и т. д. В это положение может быть внесена некоторая поправка, связанная с произношением минимальных пар (которые также были записаны в процессе работы). Как выяснилось, звонкие инициали членов минимальных пар в относительно меньшей степени подвержены оглушению. Так, слово /gàũ/ (член минимальной пары /gàũ/ «голова» — /kàũ/ «быть хорошим») 4 раза встретилось в виде /gàũ/ и 1 раз — /gàũ/; то же самое можно проследить на примере /dou/ (члена минимальной пары /dou/ «палка» — /tou/ «быть кратким, сжатым»). Ср., однако: с одной стороны, /dāpēmé/ «но», которое встречается исключительно в виде /dāpēmé/ и /dāpēmé/, и, с другой стороны /jū/ (член минимальной пары /jū/ «хорошее и плохое вместе» — /cū/ «раб»), которое 4 раза встретилось в виде /jū/, 4 раза — /jū/ и 1 раз — /jū/.

Подводя итог вышеизложенному, следует констатировать: в современном бирманском языке происходит процесс конвергенции глухих и звонких шумных ротовых фонем, который, по-видимому, находится в заключительной стадии.

после гортанной смычки. Это обстоятельство можно пояснить следующими соображениями: а) tē, как и почти все формальные элементы бирманского языка, встречаются исключительно в постпозиции по отношению к семемам; б) так как в исходе бирманского слога может находиться всего лишь 3 типа (финали) звуков — гласный (тональ), /ŋ/ и /ʔ/, то общее количество слогов, оканчивающихся на гласный и на /ŋ/, больше, чем общее количество слогов с финалью /ʔ/; в) формальные элементы бирманского языка, таким образом, встречаются большей частью в интервокальном положении и в положении после /ŋ/, где подвергаются озвончению. Поэтому практически формальные элементы бирманского языка имеют звонкую инициаль, что и сохраняется после /ʔ/. Записи аналогичных примеров полностью подтверждают это положение.

<sup>12</sup> Полувзвонкость как случай переходный мы не учитываем.

## ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В архиве АН СССР в фонде акад. Л. В. Щербы (фонд 770, опись 1, № 91) хранится машинопись с заглавием «Ф. Ф. Фортунатов в истории науки о языке», содержащая 10 страниц. Заглавие и правка в тексте сделаны рукой Л. В. Щербы. Статья не датирована и не подписана. Статья Л. В. Щербы о Ф. Ф. Фортунатове не потеряла своей актуальности и в наши дни, и, наряду с его известной статьей о Бодуэне де Куртене \*, представляет одну из глав истории отечественной науки о языке. Она свидетельствует о внимательном и критическом отношении ее автора к научному лингвистическому наследию, из которого исходил и которому нередко противопоставлял свою собственную научную концепцию покойный Л. В. Щерба. Текст статьи публикуется без изменений, но с введением современных правил орфографии.

*Н. А. Слюсарева*

Л. В. ЩЕРБА

### Ф. Ф. ФОРТУНАТОВ В ИСТОРИИ НАУКИ О ЯЗЫКЕ

В старой России было три замечательных лингвиста-теоретика: А. А. Потебня, Ф. Ф. Фортунатов и И. А. Бодуэн де Куртене. Я не говорю о филологах, бывших в той или другой мере хорошими языковедами, и не говорю о Н. Я. Марре, который пришел к лингвистике уже в наши дни. Не говорю даже о А. А. Шахматове, который был тоже совершенно исключительным ученым и прекрасным лингвистом, но едва ли он не был прежде всего историком, в частности историком языка как одного из основных элементов истории культуры, и собственно лингвистика — ее теоретические основы — лежала за пределами его кровных интересов. Будучи гениальным ученым вообще, он являлся истинным вдохновителем у нас всей работы в области русской филологии в самом широком смысле слова (отчасти он оказывается им еще и в настоящее время); однако его никак нельзя считать вождем в теоретической лингвистике — он был и сам себя считал учеником Фортунатова в этом отношении. Между тем Потебня, Фортунатов и Бодуэн де Куртене, хотя и в совершенно разной мере, были действительно самостоятельными мыслителями в этой области и оставили глубокий след в истории общего языкознания в России. Менее всех пострадалось в этом отношении А. А. Потебне: затерянный в провинциальном университете, он оказался в значительной мере вне путей мировой науки и остался чем-то вроде «русского самородка». Едва ли не наибольшая удача выпала на долю Ф. Ф. Фортунатова: он имел особенно много учеников — будущих профессоров разных русских университетов, которые и распространяли его идеи.

Впрочем, я сопоставил эти три имени вовсе не для того, чтобы сравнивать их между собой, а для того, чтобы констатировать, что все трое не сыграли в мировой науке о языке той роли, которую они должны были бы сыграть по своим личным ученым качествам, по широте и глубине своего лингвистического мировоззрения. Они были вождями лингвистической мысли у себя на родине, но не были вождями мировой науки о языке.

\* Л. В. Щерба, Бодуэн де Куртене (некролог), ИОРЯС, III, кн. 1, 1930.

Причины этого глубокие и сложные, и я хотел бы несколько остановиться на них в применении к Филиппу Федоровичу, не претендуя, однако, исчерпать этот вопрос.

Внешняя причина лежит, конечно, в языке, на котором они все писали: *gossica non leguntur*. Один из видных лингвистов [зачеркнуто: ныне здравствующих — Н. С.] сказал мне тридцать пять лет тому назад на прощанье, после того как я целый год у него занимался одним редким языком: «Желаю Вам стать знаменитым специалистом по этому языку; только не пишите по-русски — все равно не буду читать»<sup>1</sup>.

Из времен Филиппа Федоровича напомним следующий любопытный случай. В 1875 г. знаменитый Johannes Schmidt выпустил вторую часть своего не менее знаменитого труда «Zur Geschichte der indogermanischen Vocalismus», где специально славянскому вокализму отводится около 170 стр. В следующем 1876 г. V. Jagić в 1-м томе своего «Archiv für slavische Philologie» пишет по этому поводу большую статью («Über einige Erscheinungen der slavischen Vocalismus», стр. 337—412). В этой статье выясняется, что Schmidt открывает явления (дело идет о сочетании гласных с плавными), давно известные славянским ученым, и что он не знает таких замечательных для своего времени исследований, как: Лавровский «О русском полногласии», 1859 и Потехина «Два исследования», 1886.

Специально для Филиппа Федоровича была как будто и другая не менее очевидная причина слабого влияния его идей за границей: он вообще мало писал. Его биографы ставят это в связь с некоторыми чертами его характера и с особенностями его научного творчества (ср. некролог, напечатанный А. А. Шахматовым «в Известиях Академии наук», 1914), и в этом, вероятно, есть та или другая доля правды. Не невозможно и то, что некоторую роль мог сыграть также характер его сравнительно-грамматических изысканий, при которых он стремился находить в реконструируемом им праязыке объяснения многих исторически засвидетельствованных различий<sup>2</sup>.

Это вызывало настолько сложные построения, что они сравнительно легко рушились, по крайней мере в некоторых своих частях, что в свою очередь обуславливало необходимость реконструкций и в силу исключительной добросовестности Филиппа Федоровича останавливало печатание начатой работы.

Однако обратимся к фактам. Филипп Федорович всю жизнь и больше всего занимался балтийскими языками и был, по-видимому, совершенно исключительным литуанистом. Это видно из того, что при всем небольшом объеме исходящего от него печатного материала никто и сейчас не может стать литуанистом, не изучив всего того, что написал по этому поводу Фортунатов и люди, находившиеся под его влиянием. Но написал он все же в конце концов исключительно мало и в этой области. Возможно, что тут интересовало его более то, что могли дать балтийские языки для его сравнительно-грамматических построений, но не сами балтийские языки.

Но вот возьмем акцентологию балтийских и славянских языков. Это

<sup>1</sup> Считаю нужным отметить, что последнее время положение вещей несколько улучшилось: покойный Meillet читал все значительные лингвистические работы, выходящие на русском языке. Многие и другие крупные лингвисты следуют его примеру. Сейчас, когда благодаря нашей национальной политике обследуется все великое множество языков Союза, мы пускаем в мировой оборот такое количество свежего языкового материала, что образованному лингвисту трудно будет не знать русского языка.

<sup>2</sup> Ср. замечание по этому поводу С. К. Булича в статье о Ф. Ф. Фортунатове (помещенной в 71-м полутоме энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона) о том, что при таком методе «трудность wird verschoben, aber nicht gehoben» (откуда у Булича здесь немецкий язык и принадлежит ли это «mot» ему лично или кому-либо из немецких лингвистов — сейчас уже не могу припомнить).

один из триумфов современной сравнительной грамматики. Шестидесятилетняя работа ряда крупных умов создала на основе только одного сравнительного метода почти без всяких исторических данных историю ударения, количества и интонаций в балтийских и особенно в славянских языках. Не все еще, конечно, доделано, но в основном здание построено. Эту блестящую главу индоевропейской сравнительной грамматики начинает Филипп Федорович в 1880 г. своей совершенно изумительной статьей в *AfslPh*, IV — «Zur vergleichenden Betonungslehre der lituslavischen Sprachen». Статья короткая — всего 14 страничек, но насыщенная, как всегда у Филиппа Федоровича, и содержащая *in puse* до известной степени многое из всего дальнейшего развития акцентологии. Статья кончалась многозначительной припиской «wird fortgesetzt». И однако продолжение не появилось. В совершенно попутном замечании одной большой русской статьи («Разбор сочинения Г. Ульянова „Значения глагольных основ в литовско-славянском языке“») Филипп Федорович в 1897 г. открывает одновременно с de Saussure'ом закон переноса ударения в связи с качеством слогового акцента в балтийских и славянских языках, закон, которому много позже усваивается [так в рукописи — *Red.*] его имя наряду с именем de Saussure'a. Кроме того, в 1895 г. Филипп Федорович печатает довольно большую статью на русском языке «Об ударении и долготе в балтийских языках», I (РФВ, XXXIII, 1—2, стр. 252—297)<sup>3</sup>. Она посвящена прусским фактам, являясь основоположной для них, и заключает в себе целый ряд ценных попутных замечаний. Однако продолжения (частей II, III и т. д.) не появилось, и вообще больше ничего не появилось, что бы было написано Филиппом Федоровичем в этой области. В результате все то замечательное здание славяно-балтийской и специально славянской акцентологии, о котором говорилось выше, оказалось построенным без Фортунатова. Leskien в 1885 г., открыв серию относящихся сюда работ, сделал простые, но для всей славянской акцентологии основополагающие выводы из сравнительной грамматики индоевропейских языков и в ряде исчерпывающих исследований («Untersuchungen über Quantität und Betonung in der slavischen Sprachen») разработал громадный относящийся сюда материал в области славянских языков. За Leskiem последовал целый ряд других исследователей — Valjaves специально в области словинского, Цонев в области болгарского, Кульбакин в области польского, Černý в области чешского, позже Белий в области чакавского и т. д. В дальнейшем целый ряд крупнейших лингвистов принимает участие в работе, и в их трудах имена Фортунатова и de Saussure'a, посвятившего вопросу — это любопытно отметить — даже всего 10 страничек в IV томе *IF Anz.*, начинают связываться с определенным открытием в области балтийско-славянской акцентологии. Однако надо подчеркнуть, что в 1885 г. Leskien не считал нужным даже упомянуть имя Фортунатова.

Какими бы чисто личными причинами не объяснять тот факт, что Фортунатов мало печатал и, в частности, почти что не участвовал в коллективном построении славянской акцентологии, я не могу, однако, не сопоставить всего этого со следующим высказыванием Hirt'a («Indogermanische Grammatik», V. Der Akzent, 1929), где он, жалуясь на то, что славянские ученые в свое время мало занимались ударениями, говорит: «Allerdings, veröffentlichte Fortunatov (*AfslPh*, IV, 586) eine hochwichtige Entdeckung, und es ist sicher, dass er noch einen ganzen Schatz neuer Erkenntnisse besass, aber seine Anregung fand wenig Anklang, und so behielt er seine Entdeckungen zurück».

Это высказывание заставляет меня предположить, что не случилось ли

<sup>3</sup> Переведена на немецкий язык и появилась в ВВ, XXII.

с Филиппом Федоровичем, по крайней мере отчасти, того же, что случилось с de Saussure'ом и Schuchardt'ом, т. е. не оказался ли он чересчур передовым для тогдашней немецкой науки и не было ли это в той или другой мере одной из причин — я не хочу отрицать других — его молчания, как это несомненно имело место у de Saussure'a. Из просмотра его курсов по сравнительной грамматике сравнительно с аналогичной немецкой литературой того же времени следует, что он был головой выше большинства своих немецких современников<sup>4</sup>. Этим и объясняется восторг некоторых приезжавших к нему молодых ученых перед пытливой и глубокой мыслью учителя и этим объяснялось бы и то раздражение, которое слышалось в тоне маститых основоположников младограмматизма, которое мне самому приходилось наблюдать и которое в общем якобы естественно объяснялось упорным молчанием Филиппа Федоровича. Своевременное опубликование на общедоступных языках сравнительно-грамматических трудов Филиппа Федоровича несомненно оказало бы большое влияние на ход развития индоевропейской сравнительной грамматики. Поручкой этому является отношение к трудам Фортунатова такого исключительно талантливого индоевропейиста, каким был рано умерший профессор Боннского университета Solmsen<sup>5</sup>.

Правда, разработка Филиппом Федоровичем сравнительно-грамматических вопросов шла не по тем путям, по каким она пошла в дальнейшем. Один Hirt на западе до самой своей (недавней) смерти продолжал стремиться восстановить реальную историю общиндоевропейского праязыка. Однако и теперь, думается, опубликование плодов глубокого анализа и тонкой мысли Филиппа Федоровича окажет большое влияние на формирование умов лингвистов, желающих заниматься сравнительной грамматикой.

Но если в этой области некоторые крохи фортунатовской мысли все же стали всеобщим достоянием, то гораздо хуже дело обстоит с общими идеями Филиппа Федоровича о языке: они просто никому неизвестны. Между тем, если даже читать его курс лекций по общему языкознанию, предназначенный в конце концов для начинающих студентов, то невольно и теперь еще восторгаешься светлыми и глубокими мыслями Филиппа Федоровича по разным вопросам.

Таковы, например, его идеи об отношении между языком и диалектом и сосуществовании диалектов в языке. Таковы идеи об отдельном слове и идеи о сложных словах. Такова идея «отрицательной формальной принадлежности» (ср. «морфологический и фонетический» нули Бодуэна). Таковы идеи о переносном значении слов и многое, многое другое.

Таковы, я бы сказал, и идеи о форме слов, и о классах слов, и о словосочетаниях, если бы эти идеи в дальнейшем, у людей чересчур внешне полюбивших фортунатовскую тонкую мысль, не привели к совершенно неприемлемым концепциям. Фортунатов вполне различал — и не раз говорил об этом — историческое от актуального, т. е. то, что являлось всегда основным для всей научной концепции Бодуэна и что выражено у Saussure'a

<sup>4</sup> А. А. Шахматов говорит в некрологе Фортунатова, стр. 969: «В них (т. е. в университетских курсах Фортунатова) все самобытно, все глубоко продумано заново, все сравнительно с современной им немецкой лингвистикой свежо и оригинально». С. К. Булич пишет еще в 1902 г. в словаре Брокгауза и Ефрона: «Среди современных лингвистов Ф. занимает совершенно самостоятельное и независимое положение. В начале своей научной деятельности он несколько отражал влияние геттингенской школы (Фик) и отчасти Шлейхера, но впоследствии совершенно эмансипировался от него и пошел своим оригинальным путем».

<sup>5</sup> Ему мы обязаны переводами на немецкий язык немногочисленных статей Филиппа Федоровича сравнительно-грамматического содержания.

терминами «*linguistique historique*» и «*linguistique synchronique*»; но на практике он часто переносил справедливое для предполагаемых предшествовавших языковых состояний в современность и часто этим запутывал мысль своих учеников. Но это было бы более чем естественно для его подчеркнута исторических позиций: научным он признавал лишь историческое языкознание.

Теоретические идеи Филиппа Федоровича в области синтаксиса надо признать особо глубокими. Не могу в этой связи не вспомнить здесь то впечатление, которое на меня произвели синтаксические идеи Филиппа Федоровича: я имел счастье слушать его лекцию «О преподавании грамматики русского языка в средней школе» на Первом съезде преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях. Отчасти исходя из идей Филиппа Федоровича, а отчасти отталкиваясь от них, я строю свой синтаксис.

И неудивительно, что общелингвистические идеи Филиппа Федоровича были столь интересными и глубокими. А. А. Шахматов пишет в его некрологе: «Фортуналов получил основательное философское образование. Одно время он специально занимался философией, следил за философскими журналами, а в особенности за успехами философии в Англии. Самостоятельно изучив психологические проблемы и постоянно возвращаясь к вопросам теории познания, с отношением мышления к внешнему миру, Фортуналов во всеоружии знания брался за разрешение вопросов об отношении языка к мышлению, так же, как уже указано, за исследование семасиологии и синтаксиса».

Все сказанное уполномочивает меня сделать в конце концов следующий вывод: Филипп Федорович был гениальным лингвистом своего времени, и только какие-то внешние обстоятельства помешали ему сделаться одним из вождей мировой науки о языке.

---

Р. В. ПАЗУХИН

**УЧЕНИЕ К. БЮЛЕРА О ФУНКЦИЯХ ЯЗЫКА КАК ПОПЫТКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ**

Представление о том, что языку не свойственна какая-либо единая функция, но некоторое множество частных, не допускающих обобщения функций, возникло под влиянием классической психологии. Последняя различает взаимоисключающие «психические способности» — мысль, чувство, волю — и утверждает, что каждый из этих феноменов находит в языке самостоятельное и непосредственное выражение<sup>1</sup>.

Таким образом, с точки зрения языкового полифункционализма, язык представляет собой совокупность разнородных средств выражения: «интеллектуальных» (для выражения мысли) и «аффективных» (для выражения эмоций и воли). К первым обычно относят «правильные» формы и парадигмы упорядоченной письменной речи, а разнообразные трудноорганизуемые в систему феномены («косвенные» наклонения глагола, побудительные, вопросительные, неполные предложения, междометия, эллипсы, выкрики, тон и пр.) рассматривают как языковые средства выражения «аффекта».

В развитии современной лингвистики негативная роль идей языкового полифункционализма сказывается преимущественно в том, что они дезориентируют языковедов, направляя усилия последних по бесперспективному пути догадок о предполагаемых соответствиях между явлениями языка и категориями общей психологии. Это препятствует выработке объективной лингвистической методик в таких разделах, как теория наклонений, теория высказывания и т. п.; приводит к смешению лингвистической и психологической точек зрения; искажает общее представление о границах и структуре языка и т. п. В этой связи теория функций языка К. Бюлера является первым и необходимым объектом критики, направленной против языкового полифункционализма, так как она содержит в себе единственное законченное изложение полифункционалистической точки зрения на язык.

\*

О действительно полифункциональной теории языка можно говорить лишь в том случае, если эта теория предполагает несводимые друг к другу функции. Этим объясняется постоянная связь языкового полифункционализма с противопоставлением мысли чувству и воле, которому в классической психологии придается абсолютный и категорический характер.

В отличие от других полифункционалистов, Бюлер не ограничивается тем, что согласует свои функции с триадой: мысль, чувство, воля, соответственно *Darstellungsfunktion* (повествовательные высказывания), *Ausdrucksfunktion* (восклицательные высказывания), *Appellfunktion* (побудительные высказывания)<sup>2</sup>. Он стремится показать, что психологические

<sup>1</sup> Ср. Ж. Вандриес, *Язык*, М., 1937, стр. 134.

<sup>2</sup> Ср. F. J. Junker, *Die indo-germanische und die allgemeine Sprachwissenschaft*, «Festschrift W. Streitberg», Heidelberg, 1924; A. Gardiner, *The theory of speech and language*, Oxford, 1932, стр. 188; F. Kainz, *Psychologie der Sprache*, I, Stuttgart, 1941, стр. 176 и сл. и др.

различия между функциями ведут не просто к дифференциации высказываний по их содержанию (что не исключает сводимости функций), но к «сематологическим» различиям между «интеллектуальным» и «аффективным» способом общения<sup>3</sup>. По мысли Бюлера, *Darstellung* — это коммуникативная (т. е. передача информации — *Mitteilen*, *Bericht*)<sup>4</sup>, а *Ausdruck* и *Appell* представляют собой непосредственную «индукцию» аффекта, известный психологам процесс «заражения» или «психического резонанса» (*Ansteckung*, *Resonanzvorgang*)<sup>5</sup>.

Заражение состоит в том, что один из партнеров при помощи «выразительных движений» (*Ausdrucksbewegungen*) провоцирует у другого партнера бессознательные реакции (зевоту, испуг, возбуждение и т. д.). Это — единственный вид общения, о котором можно говорить (с известными ограничениями) как о «не опосредованном мыслью прямом аффективном контакте». Согласно Бюлеру, каждому высказыванию свойственно смешанное «информативно-резонансное» воздействие, основанное на раздельно-параллельном функционировании независимых друг от друга выразительных средств интеллектуального и аффективного типа<sup>6</sup>.

Ссылка на заражение влечет, однако, за собой неразрешимые трудности для всей бюлеровской схемы. Заражение — это самостоятельный вид контакта, ничем не связанный с языком. В общении людей заражение играет ничтожную роль, так как оно предполагает самые примитивные реакции, ограничено пределами непосредственного восприятия и не допускает никаких «перекодирований».

Предлагаемый Бюлером способ включения «психического резонанса» в круг языковых закономерностей основан на грубых ошибках, из которых главной следует признать чрезмерно упрощенное понимание языка как инструмента (*Organon*, *Gerät*) общения<sup>7</sup>. Такое определение не устанавливает границ языка и допускает трактовку самых различных способов и средств общения в качестве компонентов «языкового орудия общения». Так, к «аффективным» средствам языка Бюлер относит «динамические, ритмико-темповые и мелодические модуляции голоса, жестикуляцию, внешнюю и внутреннюю ситуацию высказывания» наряду (!) с формами глагольных наклонений и другими знаменательными словами<sup>8</sup>.

Эта механическая концепция языка положена Бюлером в основу так называемой «инструментальной модели языка» (*Organonmodell*)<sup>9</sup>, где, как всякому инструменту, языковому знаку приписываются естественные связи прямого воздействия с деятелем и объектом деятельности<sup>10</sup>. Этим, по мнению Бюлера, доказывается наличие у языкового знака трех «семантических» отношений к говорящему, слушателю и предметам речи, а также возможность соединения в единой языковой форме симптомов, сигналов и символов, которые являются выражением этих отно-

<sup>3</sup> K. Bühler, *Kritische Musterung der neuern Theorien des Satzes*, «Indogermanisches Jahrbuch», 1918, VI, 1920, стр. 8 (далее — *Musterung*).

<sup>4</sup> Г. Стрен («*Studia neophilologica*», XV, 1942, стр. 10) и С. Л. Рубинштейн (ВЯ, 1957, 2, стр. 48) под влиянием внутренней формы слова *Darstellung* приписывают соответствующей функции Бюлера смысл «символизирующей» функции. На самом деле речь идет именно о коммуникативной (ср. F. Kainz, указ. соч., стр. 175—176).

<sup>5</sup> K. Bühler, *Die Axiomatik der Sprachwissenschaften*, «Kant-Studien», XXXVIII, 1933, стр. 84 и сл., 88 (далее — *Axiomatik*).

<sup>6</sup> *Axiomatik*, стр. 81—85.

<sup>7</sup> K. Bühler, *Sprachtheorie*, Jena, 1934, стр. I и сл.

<sup>8</sup> *Musterung*, стр. 9.

<sup>9</sup> *Axiomatik*, стр. 90; *Sprachtheorie*, стр. 28. Совершенно неудовлетворительное толкование этого термина дается в хрестоматии В. А. Звегинцева («История языкознания XIX и XX вв.», II, М., 1960, стр. 24).

<sup>10</sup> *Axiomatik*, стр. 74; *Sprachtheorie*, стр. 25.

пений <sup>11</sup>. Согласно Бюлеру, аффективные показатели, т. е. симптомы и сигналы, налагаются на нейтральные словесные формы, т. е. символы, и придают последним экспрессивный или побудительный смысл <sup>12</sup>.

Анализируя доказательство Бюлера, следует иметь в виду, что Organonmodell строится на бюлеровском понимании термина «язык», которое отнюдь не эквивалентно сосюрровскому. По этой причине центральный элемент инструментальной модели Бюлера нужно рассматривать не как языковой знак в сосюрровском смысле, но как речевой акт, т. е. единицу речевой деятельности (langage). Этот феномен совмещает в себе одновременно языковые и речевые особенности: он связан условными семантическими отношениями с предметами речи (Zuordnung) и прямыми причинными связями с конкретными собеседниками <sup>13</sup>. «Языковому знаку» Бюлера свойственны и условное значение слова, и вещественные достоинства акустических феноменов — носителей этого значения <sup>14</sup>.

Таким образом, Organonmodell Бюлера предполагает лишь физическое единство речевого акта, но отнюдь не доказывает ни сематологической однородности последнего, ни принадлежности к языку (langue) какого бы то ни было «прямого аффективного воздействия» и средств его выражения. Правильное понимание этого обстоятельства дает ключ к истолкованию ошибочных выводов, которые делаются из Organonmodell'и.

Ausdruck и Appell выражают физическую зависимость между речевым актом и собеседниками <sup>15</sup> и потому должны быть отнесены к разряду экстралингвистических явлений. Бюлеровский термин Sprachfunktion не должен давать повода рассматривать их как функции языка (langue).

Совершенно неприемлемо утверждение о том, что физическое взаимодействие речевого акта с собеседниками является естественным способом выражения эмоциональной оценки и побуждения в языке <sup>16</sup>. Это утверждение восходит к известной традиции, которая рассматривает побудительные и восклицательные высказывания просто как воле- и чувствоизъявления <sup>17</sup>. Бюлер последовательно выводит из классического понимания воли и эмоции принцип «прямого аффективного воздействия» в образе отражения. Это воздействие произвольно отождествляется Бюлером с отношением «говорящий — знак — слушатель» в Organonmodell'и, что, по мнению Бюлера, доказывает некоммункативный характер языкового побуждения и экспрессии <sup>18</sup>. Не касаясь недостатков этого доказательства, заметим только, что оно исходит из недоказуемой посылки о прямой связи побудительных и восклицательных предложений с волей и чувством. Естественно, что это делает столь же недоказуемой и выводимую Бюлером связь между этими типами высказываний и «прямым аффективным воздействием». Наоборот, принимая во внимание действительный характер заражения, доказательство Бюлера следует рассматривать как убедительное приведение к абсурду тезиса о тождественности побудительных и восклицательных предложений с проявлениями воли и чувства.

Ни Appell, ни Ausdruck не представляют собой общения при помощи

<sup>11</sup> Axiomatik, стр. 80 и сл., 90; Sprachtheorie, стр. 28.

<sup>12</sup> Sprachtheorie, стр. 46.

<sup>13</sup> Axiomatik, стр. 80; Sprachtheorie, стр. 31; Musterung, стр. 10.

<sup>14</sup> Sprachtheorie, стр. 36.

<sup>15</sup> Musterung, стр. 2—3.

<sup>16</sup> Musterung, стр. 1; Axiomatik, стр. 87 и сл.

<sup>17</sup> Musterung, стр. 7.

<sup>18</sup> Axiomatik, стр. 78 и сл. (§§ 3—5).

знаков. Попытка Бюлера, исходя из трехстороннего «языкового знака» *Organonmodell*'и, рассматривать показатели этих функций как «признаки» (*Anzeichen, Indizien*) Э. Гуссерля и других логиков<sup>19</sup>, противоречит им же самим предложенной трактовке данных функций как «психического резонанса». Как известно, признаки предполагают общенное познавательного характера: на основании данных восприятия наблюдатель узнает, догадывается, заключает о состояниях партнера<sup>20</sup>. В то же время заражение представляет собой иррациональный контакт, основанный на врожденных реакциях и не связанный с оценкой адресатом каких-либо значимостей. Бюлер указывает, что «прямое аффективное воздействие» проникает в психику «адресата как не контролируемое разумом переживание»<sup>21</sup>.

Соединение этих двух несовместимых качеств, несомненно, представляет собой попытку смягчить явное противоречие между непосредственным характером заражения и знаковой природой, присущей языковым средствам<sup>22</sup>. В связи с этим Бюлер отступает от строгого понимания термина «заражение» и придает ему черты оценки поведения партнера<sup>23</sup>. Иногда он даже приравнивает *Appell* к передаче неязыковой информации при помощи условных знаков (например, сигналам светового) <sup>24</sup>.

Как можно видеть, бюлеровские функции языка не вытекают из каких-либо языковых закономерностей. Бюлер навязывает свои функции языку, основываясь только на априорной убежденности в том, что традиционная дифференциация психической деятельности проецируется на язык. Естественно, что такая установка может привести только к нахождению случайных внешних совпадений или к приспособлению языковых фактов к определенной лингвистической концепции. Об этом свидетельствуют попытки практического приложения идей Бюлера в лингвистике.

\*

Лингвисты обычно исходят из несколько измененного варианта бюлеровской теории функций, так как их вводят в заблуждение многочисленные противоречия и недоговоренности Бюлера. Чаще всего игнорируется и даже отрицается участие в схеме Бюлера психического резонанса. Так, Н. Трубецкой видит в *Kundgabemittel* Бюлера отнюдь не средство проявления внутренних состояний говорящего<sup>25</sup>, но совокупность фонологических показателей диалекта<sup>26</sup>. А. В. Исаченко оспаривает идею заражения как небюлеровскую (!)<sup>27</sup> и т. д.

Этим объясняется тот факт, что центральным понятием современного варианта теории Бюлера является идея «языкового эмотивного знака» (понимаемого как признак), которую пытаются привести в соответствие с сосюрговской концепцией языка.

«Необюлеряницы» сосредоточивают свое внимание на тех изменениях облика слова и высказывания, которые не имеют морфологического и син-

<sup>19</sup> *Axiomatik*, стр. 82 и сл. Ср. E. Husserl, *Logische Untersuchungen*, II, Halle, 1913, стр. 23 и сл.

<sup>20</sup> E. Husserl, указ. соч., стр. 31.

<sup>21</sup> *Musterung*, стр. 8.

<sup>22</sup> Ср. *Axiomatik*, стр. 86.

<sup>23</sup> K. Bühler, *Die Krise der Psychologie*, Jena, 1929, стр. 84 и сл.

<sup>24</sup> *Axiomatik*, стр. 90.

<sup>25</sup> *Axiomatik*, стр. 85; K. Bühler, *Ausdruckstheorie*, Jena, 1933, стр. 192.

<sup>26</sup> Н. Трубецкой, *Основы фонологии*, М., 1960, стр. 24 и сл.

<sup>27</sup> А. В. Исаченко, *О призывной функции языка*, «Recueil linguistique de Bratislava», I, 1948, стр. 48. Напомним, что термин *Appell* произведен из англ. *sex appeal* («*Sprachtheorie*», стр. 29; «*Axiomatik*», стр. 80, примеч. 1).

таксического значения<sup>28</sup>. Принято считать, что эти «нарушения» «правильных» грамматических форм с и г н а л и з и р у ю т эмоциональную и волевою настроенность говорящего<sup>29</sup>. Данным изменениям приписывают знаковый характер и утверждают, что они образуют самостоятельные «эмотивные зоны» в системе языка<sup>30</sup>. К эмотивам относят выразительные удлинения типа венг. *é'mber*<sup>31</sup>, нем. *schschööön*<sup>32</sup>, русск. *Ва-а-аня!*<sup>33</sup>, различные выкрики и спонтанные звукоочетания *Ах!*, *Тррррр!*, *Тили-бом!*, *Тра-ля-ля!*<sup>34</sup>, форму императива, представляющую собой чистую глагольную основу<sup>35</sup>, эллипсы, вариации порядка слов и т. д.

О языковом характере эмотивов заключают на основе следующих соображений. Эмотивы наблюдаются только в речевых обращениях; они у с л о в н ы, т. е. разнятся от языка к языку; им свойственна определенная функция<sup>36</sup>, они обладают определенным фонематическим составом<sup>37</sup>. Эти соображения не могут считаться, однако, исчерпывающим доказательством, так как среди них отсутствует основной и решающий довод: о том, что эмотивы являются частью языковой системы и что между ними и прочими языковыми средствами существуют структурные отношения.

Отсутствие подобного довода не случайно. Концепция эмотива предполагает, что эмотиву постоянно свойственны специальные показатели, отличные от показателей «экспликативной зоны» и не образующие морфем и лексем<sup>38</sup>. Так, сверхдолгота звуков, по мнению Трубецкого, является постоянным показателем «эмотивного значения» слова, например, в *schschööön!* Из этого положения необходимо следует, что фонетический облик эмотивного средства непосредственно определяет его семантику и что эмотив, таким образом, нужно понимать как обусловленный, мотивированный знак. Из этого положения также вытекает, что значение эмотивов не определяется их отношением к экспликативам: подобные отношения не могут рассматриваться как языковые оппозиции, так как в таком случае они заключали бы в себе с м ы с л о в ы е (!) противоположения ф о н о л о г и ч е с к и х элементов (т. е. *schön: schschööön* = = [š]: [š:] = [ø]: [ø:] = «интеллектуальное значение»: «эмотивное значение»). Данные следствия со всей очевидностью показывают, что включение эмотивов в состав языка может быть осуществлено только при условии пересмотра общепринятого понимания языка как «системы, все элементы которой образуют целое, а значимость одного проистекает только от одновременного наличия прочих»<sup>39</sup>.

Несовместимость идеи «языкового элемента» с современной концепцией

<sup>28</sup> Р. Якобсон, О чешском стихе, Берлин, 1923, стр. 37; П. Трубецкой, указ. соч., стр. 22.

<sup>29</sup> А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 46.

<sup>30</sup> Там же, стр. 55; Н. Трубецкой, указ. соч., стр. 34. J. von Lazičius, Probleme der Phonologie, «Ungarische Jahrbücher, XV, 1936, стр. 504 и сл.

<sup>31</sup> J. von Lazičius, указ. соч., стр. 499 и сл.

<sup>32</sup> Н. Трубецкой, указ. соч., стр. 30 и сл.

<sup>33</sup> А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 51.

<sup>34</sup> Там же, стр. 51, 55; Н. Трубецкой, указ. соч., стр. 34, примеч. 2, стр. 255.

<sup>35</sup> А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 54.

<sup>36</sup> Н. Трубецкой, указ. соч., стр. 30.

<sup>37</sup> Там же, стр. 31; А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 53. J. von Lazičius, указ. соч., стр. 500.

<sup>38</sup> Предположение о возможности совпадения эмотивных и экспликативных средств выражения (ср. А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 50) непоследовательно с точки зрения теории эмотивов, которая рассматривает эмотивы как орудия непосредственного, алогического выражения аффекта в языке. Естественно, что языковые средства, выражающие аффект при помощи грамматических и лексических значений, должны рассматриваться этой теорией как разновидности экспликативов (ср. Р. Якобсон, указ. соч., стр. 37, 40).

<sup>39</sup> Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 114.

языка объясняется тем, что эта идея возникла на основе гипотезы о сематологической однородности речевого акта (см. предыдущий раздел). Естественно, что механическое совмещение теории эмотивов с сосюрровским пониманием языка, которое основано на сематологической дифференциации речевого акта<sup>40</sup>, не может иметь успеха. Оно приводит лишь к ошибочной трактовке некоторых пограничных явлений речи как языковых средств особого типа. Речевую природу эмотивов подтверждают и некоторые наблюдения Трубецкого: оказывается, эмотивы отнюдь не образуют подлинной системы с «чувствозразличительными» противоположениями, а их эмоциональное значение, в конечном счете, мотивируется ситуацией и «звуковыми жестами»<sup>41</sup>.

Обратимся к вышеприведенным доводам сторонников Бюлера. Функция эмотивов в высказывании не является языковой функцией; последние не способны отличать «рационально-нейтральный» и «эмоциональный» стили речи<sup>42</sup>. Так, сверхдолгота в нем. *schschööön* не имеет обязательной связи с выражением чувств. Она может также характеризовать *Lentoform*, принадлежащую сузубо «рационально-эмплякативной» речи (например, при диктовке, разьянении и т. д.). В то же самое время восхищение, удивление и прочие чувства могут быть с равным успехом выражены формой *schön!* (без удлинения). По этой причине в парах *schschööön* — *schön*, *e'mber* — *ember*, *бо-о-оже* — *боже* не содержится фонологического противоположения, так как здесь формальные отличия не связаны с определенными семантическими различиями. В данных парах слов удлинение звуков не имеет самостоятельного значения. Оно — элемент ритмической структуры интонации и потому не может выступать самостоятельно как достаточный отличительный признак стиля речи: как эмоциональным, так и нейтрально-рассудочным типам интонации свойственны ритмические структуры как нормальной (*schön*), так и увеличенной (*schschööön*) длительности<sup>43</sup>.

Нефонологический характер подобных удлинений подтверждается и тем, что их связывают отнюдь не с различием слов, но с различием высказываний (удивленных, восторженных и пр.): *Ma-a-ама!*, *Llueber Freund!*, *Schschaamlos!*<sup>44</sup> и др.

Условность выразительного средства отнюдь не предполагает обязательной его принадлежности к системе немотивированных знаков, например к языку. Необходимо признать существование выразительных средств условно национального, но все же время мотивированного и несистемного характера. Так, пантомимические средства выражения эмоций представляют собой передаваемые в жизненном опыте условные комбинации элементарных мимических движений, каждое из которых мотивировано. В силу этого подобные мимические выражения понятны представителям других народов, хотя и не теряют своей национальной специфики. К этому типу знаков принадлежат и эмотивы, которые нужно рассматривать как условные комбинации речевых приемов.

Постоянная физическая принадлежность какого-либо фономена речевому акту, а также его формальные и субстанциальные особенности не являются достаточным основанием для того, чтобы считать этот феномен языковым

<sup>40</sup> Там же, стр. 34 и сл.

<sup>41</sup> Н. Трубецкой, указ. соч., стр. 32, 34—35.

<sup>42</sup> Ср. Н. Трубецкой, указ. соч., стр. 32.

<sup>43</sup> Ср. Н. Трубецкой, указ. соч., стр. 35.

<sup>44</sup> Там же, стр. 31.

я в л е н и е м. Решающее значение для определения принадлежности феномена языковой системе играет факт, в силу каких закономерностей этот феномен получает значимость, а именно: вытекает ли эта значимость из внутренних отношений системы языка.

Напомним, что разграничение речевой деятельности на язык и речь вызвано необходимостью дифференциации объектов лингвистических и нелингвистических методов исследования<sup>45</sup>. В соответствии с этим принципом в конкретном речевом акте следует различать два вида компонентов, из которых одни истолковываются слушателем на основе языкового, а другие — на основе общечеловеческого опыта<sup>46</sup>. Компоненты первого типа образуют в ы с к а з ы в а н и е (совокупность слов и грамматических отношений). Прочие компоненты речевого акта — пантомимика, особенности артикуляции, «звуковые жесты» — составляют о б р а з г о в о р я щ е г о. Условные вторичные закономерности, на основе которых организовано в ы с к а з ы в а н и е, принадлежат замкнутому микромиру языка. В то же время отношения, связывающие элементы образа говорящего, представляют собой прямые продолжения первичных естественных и универсальных отношений причинности, принадлежности, смежности и пр., объединяющих явления макромира, в котором живут и действуют сами собеседники. Включение отдельных компонентов образа говорящего в цепь языковых закономерностей высказывания недопустимо, так как оно размыкает языковую структуру и превращает языковые феномены в естественные объекты макромира.

Было бы грубой ошибкой, однако, полагать, что образ говорящего и высказывание отделимы друг от друга просто как независимые физические объекты. Некоторые акустические компоненты речевого акта принадлежат одновременно и высказыванию, и образу говорящего. Но это взаимное наложение двух планов не означает их пересечения: различные характеристики этого феномена сохраняют независимые связи с различными смыслообразующими средами. Так, содержание высказывания типа *schschöön!* образуется з н а ч е н и е м фонемической комбинации *šon* и п р и ч и н о й удлинения звуков<sup>47</sup>.

Эмфатическое удлинение в *e'mber!*, *ma-a-ama!*, *schschöön!* обнаруживает независимость от фонемического состава слов и не подчиняется фонологическим закономерностям, но оно входит в систему соответствий между элементами образа говорящего. Подобные высказывания, например, не сочетаемы с решительными, резкими или недружественными тоном и пантомимикой. Русск. *ma-a-ama!* *Пе-е-е-тя!* и др. допустимы только в обращениях просительного характера. Подобные соответствия между элементами образа говорящего играют решающую роль в опознавании смысла указанных удлинений в письменной речи: на основе воображаемой ситуации читатель д о м ы с л и в а е т недостающие интонационно-пантомимические характеристики высказывания.

Эмотивы *ой!*, *уф!*, *тра-ля-ля!*, *тиль-бом!* и подобные представляют собой «звуковые жесты» условномотивированного характера. Искусственная ф о н е м и з а ц и я, вызванная стремлением приспособить их для графического воспроизведения, не скрывает их физиогномической природы. Последняя проявляется в неопределенности их фонетического состава, а также в том, что они не участвуют в фонетическом развитии

<sup>45</sup> Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 34 и сл.

<sup>46</sup> В целях упрощения мы не рассматриваем специального опыта, связанного с условными неязыковыми знаковыми системами.

<sup>47</sup> Интересно, что такое толкование эмотивных средств полностью соответствует идее «признака»: Е. Н u s s r l, указ. соч., стр. 25.

данного языка <sup>48</sup>. «Слова» *ой!*, *уф!* и пр. постоянно связаны с мотивирующими их «значение» тоном и пантомимикой, в противоположность с л о в а м *дом*, *твердый*, *читать* (а также *ахать*, *оханье!*). Последние безразличны к облику говорящего, так как их значение полностью устанавливается внутрисистемными языковыми отношениями.

Эллипсы, нарушения порядка слов, паузы и т. п. также не имеют собственного значения и приобретают смысл только в составе определенного образа говорящего. Разумеется, что отношение к эмоциям чистоосновной формы императива ошибочно, так как последняя является элементом морфологического отношения: *amā: amāte*.

В других случаях к эмоциям относят сигналы не языковых систем — обращения к животным: *мпр-р-пу!*<sup>49</sup>, а также следствия различных помех: *šāgam mārš!*<sup>50</sup> (ср. *voix sombre*, *voce sorerta* у вокалистов)<sup>51</sup>. Хотя конкретные детали в объяснении эмотивов могут расходиться, общая особенность их состоит в том, что они являются случайными по отношению к языковой структуре высказывания акустическими отражениями поведения говорящего, которые произвольно или независимо от воли говорящего могут выступать в речевом общении как источники неязыковой информации<sup>52</sup>.

Опыт необюлерянцев показывает, что устранение психического резонанса из теории функций К. Бюлера не меняет ее лингвистического характера. Идея знака, выделяемого на психологических основаниях, неизбежно ведет к ложному разграничению языка и речи, которое преимущественно принимает во внимание не сематологическую, но физическую природу акустических явлений.

\*

Язык (*langue*) представляет собой «набор» средств, которые служат для построения высказываний. Составляет ли такое использование языка единую функцию? На этот вопрос необходимо ответить положительно ввиду того, что в предыдущем разделе мы установили, что в языке отсутствуют специальные средства прямого выражения аффекта. Таким образом, язык способен образовывать только однородные высказывания, семантические различия которых не выходят за пределы функции передачи сообщений, т. е. коммуникативной функции.

Данный способ решения вопроса о функциях языка представляется единственным. Попытки приписать языку самостоятельные вспомогательные функции на том основании, что функция орудия не зависит от его структуры, построены на ошибочном отождествлении языка с техническим инструментом и потому должны быть отвергнуты. Конструкция обычного инструмента, действительно, определяет только преимущественное, но не

<sup>48</sup> К. Brugmann, *Die Syntax des einfachen Satzes im Indo-germanischen*, Berlin, 1925, стр. 11.

<sup>49</sup> Н. Трубецкой, указ. соч., стр. 255, 286; А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 51.

<sup>50</sup> А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 54.

<sup>51</sup> R. H usson, *La voix chantée*, Paris, 1960, стр. 21 и сл.

<sup>52</sup> Термин «информация» мы употребляем в его широком смысле как синоним слов «сведения, вести». «Языковая информация» — это сведения, переданные языковыми знаками. Вся прочая информация является «неязыковой». Извлекаемая из языковых и неязыковых источников, составляющих речевой акт, информация синтезируется в уме слушателя в единое сообщение. Таким образом, физическая целостность речевого акта предполагает лишь информационное единство последнего, но отнюдь не сематологическую однородность (ср. *Axiomatik*, стр. 77; *Sprachtheorie*, стр. 29). Подробнее данная тема излагается в докладе автора «Речевая информация и условия общения» («Конференция по прикладной лингвистике», Черновцы, 1960).

исключительное употребление инструмента в его основной функции; например, плотничий молоток может выступать в качестве груза, рычага, метательного орудия и т. д. Объясняется это тем, что инструмент представляет собой однажды создаваемый и независимо существующий предмет, вещественные свойства которого могут быть многократно использованы в случайных функциях. Но создаваемый языком «инструмент» общения — высказывание — не представляет собой постоянной вещественной реальности, которая могла бы быть употреблена повторно и с различными целями. Высказывание создается говорящим всякий раз заново и является, таким образом, орудием, в котором процесс созидания совпадает с процессом употребления<sup>53</sup>. По этой причине, в отличие от обычных инструментов, функция и структура высказывания полностью определяют друг друга<sup>54</sup>. Отсюда следует также, что, если бы язык мог образовывать типы высказываний, функции которых несовместимы с функцией передачи сообщений, то эти высказывания обязательно содержали бы в себе специализированные аффективные языковые средства, отличные по своей семиотической природе от прочих языковых средств.

Мы пришли, таким образом, к отрицанию независимых аффективных функций языка. Использование языковых значений и отношений, а также организация их в высказывание представляют собой акт мысли (который, таким образом, является конституирующим элементом высказывания), и потому все виды языкового общения обязательно опосредованы мыслью. По этой причине эмоциональную реакцию слушателя на языковое обращение нужно рассматривать только как результат оценки содержания высказывания<sup>55</sup>.

Подобная «интеллектуализация» языка не должна вызывать опасений, так как коммуникативная функция исходит из понимания мысли как целостного акта отражения объекта субъектом, который «всегда в той или иной мере включает единство двух противоположных компонентов — знания и отношения, интеллектуального и аффективного»<sup>56</sup>. В этом коренное отличие коммуникативной функции от «Darstellungsfunktion» Бюлера, которая строится на традиционной концепции «чистой мысли», предполагающей искусственную изоляцию интеллектуального компонента мысли.

Все прочие частные языковые функции с в о д и м ы к коммуникативной функции и не могут ей противопоставляться. Это — функции отдельных элементов языка (смыслоразличительная функция фонемы, назывная слова, дейктивная — указательных местоимений<sup>57</sup> и пр.), или же многочисленные функции типов высказываний — эстетическая, побудительная, экспрессивная и даже «талейрановская»<sup>58</sup>! Все они либо обуславливают акт коммуникации, либо вытекают из него.

Коммуникативную функцию языка иногда противопоставляют функции монологической (выразительной, ментальной и пр.)<sup>59</sup>. Неавтономность

<sup>53</sup> Другое существенное отличие высказывания от технического инструмента состоит в том, что воздействие высказывания поднимается над первичным уровнем чисто физических отношений и представляет собой воздействие информацией.

<sup>54</sup> Ср. F. K a i n z, указ. соч., стр. 68.

<sup>55</sup> Разумеется, это утверждение относится только к словесной части речевого акта (т. е. собственно к в ы с к а з ы в а н и ю), но оно не обязательно по отношению к целостному речевому акту, так как комплексное воздействие последнего во многом предопределяется речевыми факторами.

<sup>56</sup> С. Л. Р у б и н ш т е й н, Бытие и сознание, М., 1957, стр. 264.

<sup>57</sup> А. А. Р е ф о р м а т с к и й, Что такое структурализм?, ВЯ, 1957, 6, стр. 33.

<sup>58</sup> Можно посредством языка с к р ы в а т ь свои мысли, но это достигается н е р е д а ч е й отвлекающих м ы с л е й!

<sup>59</sup> А. С. Ч и к о б а в а, Проблема языка как предмета языкознания, М., 1959, стр. 171.

последней несомненна в случаях «самоадресования», среди которых наблюдаются: обращения к воображаемому собеседнику<sup>60</sup>, косвенное воздействие на присутствующих<sup>61</sup> и самоконтроль (мысли вслух и пр.). Памятные записи и конспекты особенно наглядно демонстрируют присутствие в монологической речи момента коммуникации, который из пространственного плана (собеседник А — собеседник В) перемещается здесь во временной план: собеседник А (автор записи) — собеседник А (читатель).

Внутренняя речь, т. е. осуществление мысли в слове, представляет собой своеобразную эгоцентрическую коммуникацию<sup>62</sup>. Внутренней речи в еще большей степени, чем внешней монологической речи, свойственны свернутость, предикативность и пр. специфичные формы<sup>63</sup>, однако, эти особенности не означают перерождения языковых средств, и потому недостаточны для того, чтобы говорить о самостоятельной функции языка<sup>64</sup>.

Отсутствие в составе языка специализированных выразительных средств, исключительно связанных с какой-либо иной функцией, кроме коммуникативной, свидетельствует о справедливости монофункциональной теории языка. Единственной функцией, способной объяснить употребление и структуру языка вообще, а также каждого из языковых элементов и сообщений, является коммуникативная функция языка.

\*

Предлагаемое Бюлером решение вопроса о функциях языка не является лингвистическим, но представляет собой попытку аксиоматического навязывания положений классической психологии языкознанию. Практическое бесплодие теории Бюлера подтверждает очевидную истину: сотрудничество лингвистов и представителей смежных наук не должно строиться на смешении принципов и методов соответствующих отраслей знания.

Комплексный анализ высказывания, находящийся в центре внимания современной прикладной лингвистики, не может быть выполнен исключительно лингвистическими методами исследования. В связи с этим сужно приветствовать развитие таких дисциплин, как акустическая физика и пр., в которых лингвистическая методика может играть лишь подчиненную и вспомогательную роль. Но необходимо строго ограничить сферы приложения этих дисциплин и отказаться от попыток рассматривать их как разделы единой общей науки о языке, обладающей единой методологической основой<sup>65</sup>.

<sup>60</sup> R. H. Wegener, Der Wortsatz, IF, XXXIX, 1920, стр. 3.

<sup>61</sup> К. Вигманн, указ. соч., стр. 190.

<sup>62</sup> А. Н. Соколов, Исследования по проблеме речевых механизмов мышления, в кн. «Психологическая наука в СССР», I, М., 1959, стр. 490 и сл.

<sup>63</sup> Л. С. Выготский, Избранные психологические исследования, М., 1956, стр. 365.

<sup>64</sup> А. Н. Соколов, указ. соч., стр. 513.

<sup>65</sup> Ср. многозначительный Pluralis в заглавии «Die Axiomatik der Sprachwissenschaften», который, начиная с Н. Трубецкого (TCLP, VII, стр. 18, примеч. 1), обычно игнорируется.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

### ОБЗОРЫ

#### СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЮРКОЛОГИИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

1. Тюркология как наука сложилась в европейских странах во второй половине прошлого столетия, она внесла свой вклад в развитие мировой филологии. В Чехословакии тюркология имеет свои традиции, однако она развилась несколько позднее, чем тюркология в России, Польше, Венгрии и на Балканах, что объясняется отсутствием у чешского и словацкого народов непосредственных и продолжительных контактов с тюрками.

Для того чтобы правильно представить себе современное состояние и понять направление развития тюркологии в Чехословакии, следует рассмотреть исторические связи чешского и словацкого народов с тюрками, а также передовые традиции чехословацкой тюркологии.

2. Наиболее ранние контакты чешского и словацкого народов с представителями тюрков — аварскими племенами — относятся ко второй половине VI в., когда авары основали сильное государство, охватывавшее, вероятно, всю территорию Чехословакии; к концу X в. они сошли со сцены истории; сохранившиеся же остатки аваров со временем были полностью ассимилированы местным населением<sup>1</sup>. X веком датируется начало соприкосновения словаков с тремя тюркскими хазарскими племенами (кабарами), входившими в венгерский племенной союз и осевшими в новом венгерском государстве на правом берегу р. Тиссы, в районе современных пограничных чехословацко-венгерских областей (юго-восточные области Словакии и северо-восточные области Венгрии). Венгры, живущие ныне в этих областях, называются *palčok* (= половцы); они говорят на особом наречии, что дает основание некоторым исследователям признавать их прямыми потомками хазар-кабаров (Вамбери); другие отождествляют их с куманами (Фейер). В X—XI вв. многочисленные печенежские группы осели в местах поселения венгров, часть их осела в южной Словакии. Одновременно с печенегами появились и куманы (русск.

*половцы*, венг. *kánok*), которые начиная с XI в. и еще в XIII в. оседали в Венгрии большими или меньшими группами. В то время возникли их многочисленные поселения на территории Словакии.

Авары, печенеги, кабары и куманы оставили в Словакии, а также в Моравии ряд географических названий и сотни фамилий. Установить происхождение этих топонимов и имен из того или иного языка теперь затруднительно, поскольку различия между языками были, видимо, незначительные, а, кроме того, эти языки недостаточно изучены. Память о печенегах сохранилась в многочисленных названиях деревень, как например *Bešeňov* [от венгерского названия печенегов: *beseňub* (= *бешеню*)] на Житаве (к северу от Нове-Замков в Словакии), старое название деревни *Gabčíkovo Bös*, затем *Paďán* и *Korčany* (*karčá*)<sup>2</sup> и т. д. Куманы оставили местные названия: *Plavecký* (= половецкий) *Štvrtok* — городок недалеко от Братиславы, *Kúnégés* («поражение куманов») — название угодий в записной книге деревни Имель, округ Комарно, и т. д. Из фамилий тюркского происхождения приведем несколько характерных: *Kara, Gara, Gara* (= кара «черный»), *Balabán* («медвежонок»), *Balo Balla* (= *bala* «дети»), *Lalák* (= *leylek* «аист»), *Koman, Kumán, Kumánek* (= куман), *Kesan, Kasan, Kesánek* (= *kesen* «косарь, косящий»), *Kajan, Kajánek* («ливень; паводок, паводочные») и т. д.

Глубокий след в нашей истории, этнонимике и этническом составе населения оставили османские турки, начало соприкосновения которых с нашим населением относится к периоду после взятия ими Остригома (венг. *Esztergom*) в 1543 г.<sup>3</sup> В юго-восточных областях Сло-

<sup>2</sup> Все три деревни находятся на Житном острове (см. об этом J. Blaskovics, указ. соч.). *Bös* означает «главный вождь» (деревня была центральным поселением печенегов); *Paďán* = *padan, batan* «болотистый»; *Karčá* = *kara* + *čaj* «черная вода, черная река».

<sup>3</sup> См. об этом: J. Blaskovics, Some notes on the history of the Turkish occupation of Slovakia, «Acta Universitatis Carolinae, Philologica 1.—Orientalistický sborník», Bratislava, 1963.

<sup>1</sup> См. об этом: J. Blaskovics, *Tradicie a úkoly turkologie na Slovensku, «Orientalistický sborník», Bratislava, 1963.*

вакии османские турки установили свое господство после 1553 г., когда была захвачена Римавска-Собота (венг. Rimaszombat) и ее окрестности, которые позже были административным путем присоединены к эгерскому вилайету (словац. Jáger, венг. Eger в Венгрии). Непрерывающаяся борьба против турецкого владычества на территории современной Словакии окончилась освобождением Эгера от турок 12 декабря 1687 г.

3. Тюркология как наука в Словакии имеет старую традицию. Первым тюркологом был Ян Грабский, уроженец Радваны. Он учился в Виттенберге, занимался тюркологией и арабистикой. Сохранилось два его письма, написанных по-турецки, одно из них относится к 1654 г.<sup>4</sup>

Другим крупным исследователем был известный ученый Франтишек Коллар (1718—1783 г.), управляющий императорской библиотекой в Вене. Самая значительная его заслуга состоит в издании турецкой грамматики, второй по времени после грамматики Мепчинского. Из его собрания в Геттингене сохранилось (под шифрами Turc. 29 и Turc. 30) два турецких дефтера, которым Коллар дал название: «Protocollum correspondentiae Turcarum Vezirii cum praecipuis Europae aulis». Дефтеры эти содержат около 500 списков писем султанов и великих визирей, адресованных разным правителям и князьям Европы, и охватывают период от 1650 г. до 1687 г.<sup>5</sup> Младшим современником Ф. Коллара был Матиаш Корабинский (1740—1811 гг.), профессор Братиславского лицея, известный картограф. Он составил малую турецкую практическую грамматику и словарь<sup>6</sup>.

Нашим соотечественником является и Герман Вамбери (1831 или 1832—1913 гг.), один из крупных тюркологов, выдающийся венгерский ученый. Вамбери создал целый ряд книг по турецкой филологии и этнографии, материал для которых он собирал во время предпри-

talía Pragensia, I, 1960; его же, Ein Schreiben des ofener Defterdār Mustafa an den Hatvaner Mauteinnehmer Devānī baša, сб. «Charisteria orientalia praecipue ad Persiam pertinentia», Praha, 1956.

<sup>4</sup> См. «Slavica-Auswahl-Katalog der Universitätsbibliothek Jena», II, Weimar, 1959, стр. 92, №№ 6126 и 6128.

<sup>5</sup> В дефтере, хранящемся в геттингенском собрании под шифром Turc. 29, есть копии 42 грамот, адресованных семиградским князьям; они касаются взятия Кошиц и семи восточнословацких жуп, копией и семиградской дани в 1640—1672 гг.

<sup>6</sup> M. Korabinsky, Versuch eines kleinen Tuerkischen Woerterbuchs mit beygefaßten deutsch-ungarischer und bohemischer Bedeutungen, und einer kurzgefaßten tuerkischen Sprachlehre, Preßburg, 1788.

нятого им в 1863 г. путешествия в Бухару и Хиву. Некоторые из них и поныне сохраняют свою ценность<sup>7</sup>.

Историей османско-турецкого государства в Словакии занимался известный историк Михаль Матушак (1866—1932 гг.), которому принадлежит исследование «Нове-Замки под турецким господством»<sup>8</sup>.

К тюркологическим исследованиям в Чехии приступили много позже. Первым исследователем, занимавшимся не только турецким языком, но также китайским, арабским и другими восточными языками, был проф. Рудольф Дворжак (1860—1920 гг.); начиная с 1884 г. (еще до выхода большого научного словаря Отто) он написал много литературно-критических статей об османско-турецкой литературе; Дворжак переводил газели Баки и посвятил творчеству этого поэта ряд своих исследований.

Систематическое изучение и исследовательская деятельность в области тюркологии развернулись только после установления Чехословацкой республики. В 1925 г. в Карловом университете (Прага) были назначены доцентами д-р Ян Рыпка (род. 1886 г.) по иранистике и тюркологии<sup>9</sup> и д-р Феликс Тауэр (род. 1893 г.) по истории исламских государств<sup>10</sup>. Однако в этот период исследования по ориенталистике велись только на философском факультете Карлова университета, и тематика тюркологических работ ограничивалась лишь изучением грамматики и старой османско-турецкой литературы; кроме того, студенты не имели возможности заниматься ориенталистикой как основной специальностью.

4. Новые, ранее не виданные возмож-

<sup>7</sup> См., например: H. V á m b e r y, Etymologisches Wörterbuch der turkotatarischen Sprachen, Leipzig, 1878; его же, Das Türkenvolk in seinen ethnologischen und ethnographischen Beziehungen, Leipzig, 1885, и др.

<sup>8</sup> «Slovenké pohľady», XVIII, Turč. Sv. Martin, 1898.

<sup>9</sup> Я. Рыпка работает преимущественно в области иранистики. В области османско-турецкой литературы он с большим успехом занимался изучением поэзии; см., например: J. R y p k a, Báqi als Ghazeldichter, Praha, 1926; его же, Beiträge zur Biographie, Charakteristik und Interpretation des türkischen Dichters Sábit, I Teil, Praha, 1924, и т. д. Подробная библиография работ акад. Я. Рыпки помещена в сб. в честь его семидесятилетия: «Charisteria Orientalia praecipue ad Persiam pertinentia».

<sup>10</sup> Из работ Ф. Тауэра наиболее важными являются исследования: F. T a u e r, Histoire de la campagne du Sultan Suleyman I. contre Belgrad 1521, Praha, 1924; его же, Solimans Wiener Feldzug, Praha, 1954, и т. д.

ности развития нашей науки открылись лишь после освобождения Чехословакии Советской Армией в 1945 г. Во время фашистской оккупации были закрыты все наши университеты; библиотеки не снабжались новой специальной литературой. Тем не менее сразу после освобождения были начаты исследования под руководством проф. Я. Рыпки и проф. Ф. Тауэра.

Важный этап в развитии чехословацкой тюркологии начался с 1950 г., когда новые законы о высшей школе обеспечили развитие всех областей науки на широкой основе. Задачи, поставленные перед учеными Чехословакии народно-демократической властью, требовали безотлагательно выработать план и начать лекции уже по новому положению, которое давало возможность студентам изучать ориенталистику как свою специальность и, таким образом, позволяло подготавливать новые научные кадры в области тюркологии. Уже в 1950—1951 уч. году по линии Кафедры изучения стран Азии и Африки при философском факультете Карлова университета, единственного высшего учебного заведения, где подготавливаются специалисты с высшим образованием по тюркской филологии, мною были осуществлены курсы современной турецкой грамматики, в следующем учебном году — лекции по современной турецкой литературе, в 1953 г. — по турецкой филологии, в 1954 г. — по османско-турецкой палеографии, в 1958 г. — по советской тюркологии, после 1958 г. — по древней тюркской и старой османско-турецкой литературе, в 1960 г. — по турецкому фольклору и географии. В последующие годы появляются все новые и новые курсы; будут читаться лекции по языкам и литературам современных тюркских народов (так, узбекский язык запланирован на 1963—1964 гг.). В этой работе было много трудностей, не хватало специальной литературы. Пользуюсь случаем выразить сердечную признательность коллегам-ориенталистам, которые в ответ на наш призыв прислали нам наиболее нужные издания. Сильно сказывается и нехватка квалифицированных лекторов, особенно наших соотечественников, которые бы могли вести практические занятия по современному турецкому языку.

В настоящее время, однако, несмотря на все сложности, на отделениях тюркологии на первом и втором курсах обучаются по четыре слушателя, на третьем — два. Количество часов в неделю по тюркологии — 32. Преподавание ведут 6 преподавателей, из них штатных — двое (проф. Ф. Тауэр и доц. И. Блашковиц). С 1950 г. по 1962 г. отделение тюркологии выпустило 10 специалистов, из них 2 кандидата наук, 1 аспирант и 1 научный работник. С воспитанием новых кад-

ров непосредственно связана работа по созданию учебников и пособий; пока, однако, на чешском языке по тюркологии имеются лишь два собственных учебника<sup>11</sup>; некоторые курсы продолжают оставаться без отечественных пособий.

5. Для успешного осуществления работы важно было составить такой план научно-исследовательской и воспитательно-педагогической работы по тюркологии, который опирался бы на передовые традиции нашей науки и на плодотворные результаты и опыт советской тюркологии. Такой план был разработан нами в 1953 г. и в 1958 г. дополнен. Его основной принцип — это, прежде всего, актуальность: наша тюркология в широких масштабах должна быть связана с чехословацкой наукой о родной стране и в то же время должна иметь точки соприкосновения с тюркологией других стран. Надлежащим образом координируя деятельность отдельных научных институтов и работников, этот план должен органически контактировать с научным планом нашей кафедры и философского факультета в целом и являться частью общего перспективного плана научных работ.

Согласно этому плану тюркология в Чехословакии развивается в следующих областях:

а) В области чехословацкой науки о родной стране надлежит исследовать период османско-турецкого господства в Словакии (1543—1687 гг.), для чего необходимо шире привлечь к исследованию ценный архивный материал, который хранится в словацких и зарубежных архивах и который может не только дать много нового для истории Чехословакии, но и служить ценным источником для изучения истории средней и юго-восточной Европы и Балкан. Работа в этой части уже начата — см., например, статью акад. Я. Рыпки о турецких документах из Долины Каменец<sup>12</sup>.

б) К изучению нашей родины относятся также исследование печенежского и куманского периодов в истории Чехословакии. Такие исследования помогут объяснить современный этнический состав населения нашей страны, особенно в определенных областях Словакии, выяснить происхождение многих географических названий и фамилий; это позволит также глубже изучить наш словарный состав, в котором целый ряд слов имеет тюркское происхождение<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> J. B l a s k o v i c s, *Dějiny nové turecké literatury*, Praha, 1953 (rotaprint); его же, *Učebnice moderní turečtiny*, Praha, 1962 (на правах рукописи).

<sup>12</sup> J. R y p k a, *Styři turecké listiny z Dolního Kamence, Průdy XI*, стр. 355—365, а также названные выше мои статьи и докторскую диссертацию.

<sup>13</sup> См. об этом: J. B l a s k o v i c s, *Ček dilinde Türkçe kelimeler*, «VIII. Türk

в) Одной из актуальных задач является работа в области изучения современных литературных языков тюркских народностей Советского Союза, достигших в советскую эпоху могучего развития в области культуры. Молодые исследователи изучают тюркские языки народов СССР преимущественно с целью перевода написанной на них литературы, которую у нас любят и хорошо знают.

г) Необходимо продолжать передовые традиции в литературно-исторических исследованиях, не останавливаясь на достигнутых результатах (например, в изучении старой османско-турецкой литературы); актуализируя эту деятельность, нужно переводить прогрессивные произведения современных турецких поэтов и прозаиков.

д) Необходимо как можно шире наладить контакт с институтами и отдельными исследователями в области тюркологии в Советском Союзе и странах народной демократии; в частности, важны для нас творческие связи с советской тюркологией как научкой о родных языках.

6. На основе этого широкого плана наша тюркология начала интенсивно развиваться. В 1953 г. при реорганизации Чехословацкой Академии наук Институт востоковедения (основанный в 1929 г.) стал одним из главных в стране центров ориенталистики. Здесь была предусмотрена работа и по современным тюркским языкам Советского Союза; сейчас в этой области работают три молодых тюркологов. В Институте востоковедения ведется также подготовка ассистентов и аспирантов.

В 1960 г. был основан новый научный центр — Кабинет ориенталистики при Словацкой Академии наук в Братиславе. Этот Кабинет может стать в ближайшее время важным тюркологическим центром благодаря обращению к уже сложившимся традициям, а также на основе тесных исторических связей тюрков и словаков. Кабинет ориенталистики уделяет особое внимание тюркологии как одной из дисциплин науки о родной стране; в в текущем году здесь разработаны планы издания турецких документов из словацких архивов. Кабинет ориенталистики проявляет заботу о подготовке новых кадров; так, в Карлов университет было направлено 4 студента для изучения тюркологии. В ближайшие годы также и в Кабинете ориенталистики САН будет осуществляться подготовка ассистентов и аспирантов.

Историей османско-турецкой империи и в особенности историей Балкан в период турецкого господства, как и подготовкой историков-тюркологов, специализирующихся в этой области, занимается коллектив историков Брненского уни-

верситета под руководством доц. д-ра Й. Кабрды, известного историка-балканиста<sup>14</sup>; исследовательская работа здесь ведется в тесном контакте с кафедрой изучения стран Азии и Африки при философском факультете Карлова университета.

7. Что касается издания и исследования турецких источников по истории Словакии, начатого акад. Я. Рыпкой, то в течение 1952 — 1962 гг. мною были обследованы все словацкие архивы, а также некоторые румынские и венгерские, и осуществлено изучение турецких архивов и библиотек. Результат был поразительный. Даже в Ленинграде нашлись документы по нашей истории<sup>15</sup>. Первое и наиболее значительное собрание турецких документов по истории нашей родины находится в архиве города Римавска-Собота (255 единиц хранения). Подготавливаемое акад. Я. Рыпкой и И. Блашковицем двухтомное издание этого документального материала, представляющего ценность в историческом и филологическом отношении, намечено в издательском плане Кабинета ориенталистики САН на 1964 г. Другое собрание документов (61 единица хранения) найдено в архивах г. Мишковец (Мишкольц в Венгрии). Эти документы, составленные теми же административными органами Эгера, что и документы из Римавска-Соботы, дополняют материал последних. По этим соображениям издание из Мишкольца запланировано Кабинетом ориенталистики САН на 1965 г.

Третьим изданием Кабинета ориенталистики САН (запланированным на 1967 г.) будет гёттингенский دفتر Turc. 29 из наследия Ф. Коллара<sup>16</sup>.

Обработка документального материала по истории нашей родины и далее останется центральной целью нашей тюркологической деятельности. В перспективном плане на 1964—1970 гг. мы наметили дальнейшую разработку источников<sup>17</sup>. Параллельно с работой над документальным материалом по плану нашей кафед-

<sup>14</sup> Из его трудов см., например: J. K a b r d a, Turecké pramene vzťahujúce sa na dejiny tureckého panstva na Slovensku, «Historický časopis SAV», IV, 2, 1956.

<sup>15</sup> См. «Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la Bibliothèque impériale publique de St. Pétersbourg», St. Pétersbourg, 1852, Nr. DXXXVI.

<sup>16</sup> В свое время этот материал был подготовлен мною в качестве докторской диссертации: «Listiny Vysokej party vo veci obsadenia Košic, košickej a sedmohradskej dane, z rokov 1640—1672» (Bratislava, 1949).

<sup>17</sup> Подробно см. об этом: J. B l a s k o v i c s, Tradice a úkoly turologie na Slovensku; e r o ж e, Some notes...

ры мы вели коллективную подготовительную работу по изданию арабских, турецких и персидских рукописей библиотеки Братиславского университета, которое было осуществлено в начале 1962 г.<sup>18</sup>

Исследование нашего словарного состава в аспекте печенежского и куманского периодов находится еще в начальной стадии: вышли лишь 2 статьи. По турецкому фольклору также опубликованы 2 статьи<sup>19</sup>. Публикация научных статей наших ориенталистов осуществляется в востоковедческом журнале «Archiv orientální»; в настоящее время Кабинет ориенталистики САН начал выпускать еще одно периодическое издание — «Orientalistický sborník», первый выпуск которого вышел в 1963 г. В этих журналах уже начинают появляться первые статьи выпускников и аспирантов нашей

<sup>18</sup> См. «Arabischen, türkische und persische Handschriften der Universitätsbibliothek in Bratislava». Unter der Redaktion Jozef Blaškovičs bearbeiteten: Die arabischen Handschriften — K. Petráček, die türkischen Handschriften — J. Blaškovič, die persischen Handschriften — R. Veselý, Bratislava, 1961.

<sup>19</sup> J. Blaškovič, Dobruca Tatarları folkloruna ait notlar, журн. «Türk folklor araştırmaları», №№ 145, 146, İstanbul, 1961; J. Blaškovičs, Dobruca Tatarlarının halk türkülerini, сб. «Németh armağan», Ankara, 1962.

кафедры<sup>20</sup>. Наши выпускники участвуют главным образом в популяризаторской работе и делают переводы из турецкой литературы. Уже переведены произведения таких прогрессивных современных поэтов и писателей, как Назым Хикмет, Орхан Вели, Яшар Кемаль, Сабахаттин Али, подготавливаются переводы рассказов Азиза Несина, популяризируется и турецкий фольклор. Переводы из турецкой литературы печатаются в популярном ежемесячном журнале «Nový Orient».

Из этой небольшой заметки видно, что тюркология в Чехословакии при всем своем многообразии успешно развивается на основе старых прогрессивных традиций. В ближайшем будущем тюркологические исследования еще более расширятся, залогом чему служит рост новых молодых кадров. Наша работа служит великой идее сближения культур разных стран.

И. Блашкович

Перевела с чешского О. А. Лаптева

<sup>20</sup> См., например: H. Turková, Annotations critiques au texte du Seyâ hatnâme d'Evliya Celebi..., «Archiv orientální», XXV, 1, 1957; e e же, Le siège de Constantinople d'après le Seyâ hatnâme d'Evliya Celebi, «Byzantino slavica», XIV, Prague, 1953; Zd. Veselá-Přenosilová, Quelques chartes turques concernant la correspondance de la Porte Sublime avec Imre Tökölly, «Archiv orientální», XXIX, 4, 1961, и т. д.

## СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ТЮРКОЛОГИИ И АЛТАИСТИКИ В ПОЛЬШЕ

Тюркология и алтаистика имеют в Польше богатые и древние традиции, серьезные достижения и одновременно широкие перспективы дальнейшего развития; надо сказать, что своим нынешним местом в науке польское востоковедение обязано в значительной мере научной и организационной деятельности тюркологов и алтаистов такого масштаба, как, например, Т. Ковальский, В. Котвич и их ученики и преемники — акад. А. Зайончковский и М. Левичкий.

В первые послевоенные годы в Польше существовали три университетских тюркологических центра: кафедра восточных языков Ягеллонского университета в Кракове, кафедра турецкой филологии Института востоковедения при Варшавском университете и Институт востоковедения при факультете гуманитарных наук Вроцлавского университета. После смерти Т. Ковальского (1948 г.) первый из них во многом утратил свое первоначальное значение для тюркологии; основным его направлением стала теперь арабистика. Во Вроцлавском университете велась главным образом дидактическая деятельность под руководством приез-

жавшего из Варшавы А. Зайончковского до начала 50-х годов, когда из-за недовостатка кадров занятия тюркологией здесь были прекращены. Варшавский же тюркологический центр, созданный еще в 1933 г. А. Зайончковским и руководимый им до настоящего времени, в послевоенные годы переживает период бурного развития. В 1950 г. в Институте востоковедения при Варшавском университете была открыта новая родственная кафедра филологии народов Средней и Центральной Азии, которую возглавил проф. М. Левичкий (умер в 1955 г.). В конце 1953 г. был создан Институт востоковедения ПАН (Zakład orientalistyki Polskiej Akademii Nauk) под руководством А. Зайончковского — первое в Польше академическое востоковедное учреждение, в научных планах которого одно из главных мест заняли тюркологические темы.

Большая часть наиболее серьезных польских тюркологических исследований последних десятилетий сосредоточена вокруг вопросов языков и языковых памятников турецких народностей кыпчакской группы. В разработке этого

ставшего уже традиционным для нашей тюркологии предмета исследований главная заслуга принадлежит А. Зайончковскому — его научному творчеству, педагогической и организационной деятельности. Проблематика исследований этого ученого концентрируется в первую очередь вокруг следующих тематических комплексов: 1) тюркские языковые памятники, языки и самая история тюркских народностей причерноморских и прикаспийских степей (особенно кыпчаки и хазары), а также созданные в Египте и Сирии мамелюкско-кыпчакские языковые памятники; 2) вопросы сравнительной и исторической грамматики тюркских языков; 3) вопросы восточных, особенно тюркских, влияний на польский и на другие славянские языки.

Первой наиболее крупной публикацией А. Зайончковского среди его работ из первой тематической группы является книга «Из исследований по хазарскому вопросу»<sup>1</sup>. Хазарский вопрос рассматривается здесь в свете новейших достижений науки, автор определяет тюркское происхождение хазаров, проводит историко-этнографические изыскания по культуре хазаров и их наследников, намечает задачи и направления дальнейших исследований по этому вопросу. Среди наследников хазаров А. Зайончковский указывает каранмов. По его мнению, хазары не принадлежали к тем группам западных гуннов, потомками которых являются современные чуваша, но они были «собственно тюрками», т. е. их язык принадлежал к группе *а*-языков.

Целью ряд своих работ А. Зайончковский посвятил исследованиям по кыпчакскому языку на основе средневековых мусульманских источников из мамелюкского Египта и Сирии. Количество этих памятников и их характер свидетельствуют о той важной роли, какую играл кыпчакский язык во многих странах тогдашнего Ближнего Востока. Одной из первых послевоенных работ А. Зайончковского в этой области является «Арабско-кыпчакский словарь, ч. II. Глагол». Первая часть словаря появилась в печати еще в 1938 г., но так как почти весь тираж сгорел во время войны, она была переиздана с некоторыми дополнениями в 1958 г.<sup>2</sup> Эти издания обога-

<sup>1</sup> A. Z a j a c z k o w s k i, *Ze studiów nad zagadnieniem chazarskim*, Kraków, 1947; см. обширную рецензию О. Прицака на эту книгу: «Der Islam», 29, 1, 1949.

<sup>2</sup> A. Z a j a c z k o w s k i, *Słownik arabsko-kipczacki z okresu Państwa Mameluckiego Bułgat al-Muštāq fi luğat at-Turk wa-l-Qifžāq*. Cz. II. — *Verba*, Warszawa, 1954; е го же, *Vocabulaire Arabe-Kiptchak de l'époque d'États Mamelouk*. Pt. 1 — *Le nom*, Warszawa, 1958 [рецензию Р. Хартмана на 1-ю часть ра-

тили тюркологию новым сравнительно-историческим материалом по морфологии и лексике кыпчакских диалектов. А. Зайончковский доказал, что этот словарь, как и другие опубликованные им мамелюкско-кыпчакские памятники, написан смешанным языком, в котором наряду с кыпчакскими элементами выступают формы огузские (староосманские). Этот факт свидетельствует о том, что на территорию мамелюкского Египта и Сирии проникали, кроме кыпчакских этнических элементов из степей Причерноморья, также огузы из Малой и Передней Азии. Вторым весьма ценным открытием автора, сделанным на основе анализа арабского языкового материала упомянутого памятника, является установление факта, что он был написан на территории Сирии, а не Египта, как это можно было предполагать.

Вслед за этим изданием кыпчакского языкового памятника XV в. появились следующие: «Мамелюкско-тюркская версия арабского трактата о стрельбе из лука» на основе рукописи из рукописного фонда Национальной библиотеки в Париже<sup>3</sup> и «Мамелюкско-кыпчакский перевод арабского трактата Мукаддима Абу-л-Ланса ас-Самарканди» на основе рукописи из стамбульской библиотеки Аля София<sup>4</sup>. Первое из этих изданий содержит описание рукописи, ее языка, словарь, транскрипцию и факсимиле. Как показал А. Зайончковский, язык памятника представляет собой почти классический пример смешанного языка (староосманских и кыпчакских элементов)<sup>5</sup>. Мамелюкско-кыпчакский подстрочный перевод арабского трактата «Мукаддима», имеющего ритуально-правовое содержание, заслуживает внимания прежде всего потому, что переводчик стремился передавать при помощи тюркских оборотов и слов разные арабские терминологические формулировки и термины. Кроме того, этот не очень большой текст содержит редкие формы, не засвидетельствованные даже в больших тюркских словарях. В работе А. Зайончковского,

боты см.: «Orientalistische Literaturzeitung» (далее — OLZ), Jg. 54, 7/8, 1959]. Ср. также А. З а й о н ч о в с к и й, *Арабско-кыпчакский словарь эпохи господства мамлюков*, в кн. «Сообщения польских ориенталистов», М., 1961 («Зарубежное востоковедение», II).

<sup>3</sup> A. Z a j a c z k o w s k i, *Mamelucko-turecka wersja arabskiego traktatu o łucznictwie z XIV w.*, RO, XX, 1956.

<sup>4</sup> A. Z a j a c z k o w s k i, *Mamelucko-kipczacki przekład arabskiego traktatu Mukaddima Abū-l-Lait as-Samarḳandī*, RO, XXIII, 1, 1959.

<sup>5</sup> Ср. также А. Z a j a c z k o w s k i, *Mamelucka wersja arabskiego traktatu łucznictwie z XIV w.*, «Sprawozdania PAU», LI, 10, 1950.

посвященной переводу «Мукаддима», дано подробное описание рукописи, в небольшом разделе охарактеризован язык рукописи, сюда же приложен словарь, а также текст издаваемого перевода и его транскрипция. Факсимиле этого произведения было издано отдельно<sup>6</sup>.

Фундаментальным трудом А. Зайончковского, имеющим большое значение не только для тюркологии, но и для лингвистики<sup>7</sup>, являются его публикации, связанные с изданием и обработкой текста поэмы «Хосрев-у-Ширин» Кутба, а также исследованием материалов, содержащихся в этом большом литературном памятнике Золотой Орды. К основным, изданным до сих пор публикациям по этой теме принадлежат: транскрипция текста, факсимиле и словарь<sup>8</sup>; четвертая часть, посвященная исследованию языка памятника, подготавливается к печати. Кроме того, автор опубликовал целый ряд исследований и статей, основанных на материале поэмы Кутба «Хосрев-у-Ширин»<sup>9</sup>. Предметом исследований автора здесь является самый древний тюркский перевод (относящийся к первой половине XIV в.) известной поэмы Низами «Хосрев-у-Ширин», осуществленный Кутбом и сохранившийся в уникальной рукописи парижской Национальной библиотеки. Перевод написан на восточно-тюркском (так называемом хорезмийском) языке, но с примесью кипчакских элементов. Сопоставление перевода Кут-

ба с персидским подлинником, проведенное А. Зайончковским, показывает, что Кутб не всегда строго держался персидского текста и нередко изменял его по своему усмотрению или в соответствии со своей художественной концепцией; эти отклонения от текста оригинала часто сообщают ценные сведения о дворцовой жизни и культуре Золотой Орды. Образцовое издание памятника, являющегося своего рода продолжением классических памятников тюркской письменности, дает нашей науке новые, чрезвычайно ценные материалы для исследования по языкам и культуре тюркских народностей.

В обработке находятся и другие интересные древние рукописи. Одна из них — это древнейшая тюркская поэтическая версия (относящаяся к концу XV в.) «Шах-намэ» Фирдоуси. Упомянутый перевод осуществлен при мамелюкском дворе неким Шерифом, приехавшем из Анатолии. Перевод интересен также тем, что имеет в начале и в конце прибавления (пролог и эпилог), где содержатся сведения из истории мамелюков. А. Зайончковский намерен издать именно эти части полностью, а кроме того другие избранные фрагменты текста. В настоящее время А. Зайончковский занят изучением хранящейся в Стамбуле рукописи XIII в. (из Изгата) «Мукаддима ал-Адаб» — арабского словаря, содержащего персидские и тюркские глоссы. К изданию готовится исследование тюркских названий животных и птиц по этому источнику. Помимо упомянутых выше изысканий в области исторического развития тюркских языков, А. Зайончковский издал ряд других исследований, представляющих собой оригинальный вклад в сравнительно-историческую тюркологию<sup>10</sup>.

Среди публикаций А. Зайончковского, посвященных восточному, в частности тюркскому, влиянию на польский и на другие славянские языки или вообще тюркско-славянскому взаимовлиянию, особого внимания заслуживают три обширные монографии<sup>11</sup>, которыми пред-

ment littéraire de la Horde d'Or, «Acta orientalia», XV, 1—3, Budapest, 1962.

<sup>11</sup> См., например: А. Z a j a c z k o w s k i, Problem językowy Chazarów, «Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego», Wydz. I, XXXIX, Warszawa, 1946; ег о ж е, Remarques concernant les études sémantiques turques, RO, XV, 1948; ег о ж е, Leksyka języków tureckich, «Sprawozdania Wydz. nauk społecznych PAN», 1, 1959; ег о ж е, К вопросу о структуре корня в тюркских языках, ВЯ, 1961, 2, и др.

<sup>11</sup> А. Z a j a c z k o w s k i, Głosy tureckie w zabytkach staropolskich. I. Katedryczka turecka Jana Herbiniusa, Wrocław, 1948; ег о ж е, Związki językowe

<sup>6</sup> A. Z a j a c z k o w s k i, Le traité arabe *Mukaddima d'Abou-l-Lait as-Samarqandi* en version mamelouk-kiptchak, Warszawa, 1962.

<sup>7</sup> См. об этом в рецензии акад. Я. Рычки и Эд. Весела-Прженословой на ниже указанное издание А. Зайончковского (OILZ, Jg. 55, 3/4, 1960, стб. 178).

<sup>8</sup> А. Z a j a c z k o w s k i, Najstarsza wersja turecka *Husrev u Širin* Kutba. Cz. I — Tekst, Warszawa, 1958; cz. II — Facsimile, 1958; cz. III — Słownik, 1961.

<sup>9</sup> А. Z a j a c z k o w s k i, Zabytek językowy ze Złotej Ordy, *Husrev u Širin* Kutba, RO, XIX, 1954; ег о ж е, Старейшая тюркская версия поэмы Хосрев-у-Ширин Кутба, «Charisteria Orientalia praecipue ad Persiam pertinentia», Praha, 1956; ег о ж е, Ciepłoty załoby (jas) w tureckiej wersji poematu *Husrev u Širin* ze Złotej Ordy, RO, XXI, 1957; ег о ж е, Sur quelques proverbes tures du «*Husrev-u-Širin*» de Nizami (dans l'original persan et la version turque de Kutb), сб. «Jean Deny armağan», Ankara, 1958; А. Z a j a c z k o w s k i, Studia nad stylistyką i poetyką tureckiej wersji *Husrev u Širin* Kutba. I — RO, XXV, 1, 1961, II — RO, XXVII, 1 (в печати); ег о ж е, Sur quelques termes cosmographiques et étniques dans le monu-

шествовали многие предварительные заметки и сообщения, а также обширная работа «Восточные слова в польском языке», рукопись которой утрачена во время второй мировой войны. Первая из монографий «Тюркские глоссы в старопольских памятниках» снабжена исчерпывающим, историческим введением и публикующей транскрипционного текста (относящегося к 1675 г.) религиозного содержания. Это уже третий транскрипционный текст из польского фонда, изданный А. Зайончковским. Издание такого типа текстов имеет особо важное значение для исторической грамматики (и особенно — фонетики) тюркских языков, поэтому «Тюркские глоссы» можно отнести также к группе работ А. Зайончковского, связанных с историей тюркских языков. Текст Хербинюса в отличие от прежних текстов (изданных еще до войны), написанных на анатолийско-турецком языке, обнаруживает некоторые кыпчакские черты. Автор объясняет это просто и убедительно: информатор Хербинюса был некий Гамоцки, по происхождению армянин, а как известно, польские армяне в XVII в. все еще пользовались тюркским языком кыпчакской группы.

В «Половецко-славянских языковых связях», второй работе из данной серии, автор исследует в трех соответствующих главах славянское влияние на кыпчакский язык, кыпчакские заимствования в славянских языках и кыпчакские (половецкие) элементы в «Слове о полку Игореве». Здесь А. Зайончковский формулирует некоторые методические принципы, которым сам постоянно следует в подобного рода исследованиях: это прежде всего необходимость определить время, когда данный термин используется, и искать данное название на ближайшей языковой и географической территории.

Вопросы восточных, особенно тюркских заимствований в польском языке, которым А. Зайончковский посвятил немало внимания во многих специально на эту тему написанных статьях, нашли своего рода синтез в третьей работе из рассматриваемой серии — в «Востоковедческих исследованиях по истории польской лексики», где объективной критике подвергнуты все изданные до того времени исследования на данную тему и особенно «Этимологический словарь» А. Брюкнера. В своем исследовании А. Зайончковский стремится прежде всего определить время и среду, из которых данное заим-

ствование перешло в польский язык; он разграничивает при этом среди слов тюркского происхождения кыпчакские заимствования и заимствования из литературного османского или народного анатолийско-турецкого языка.

Из других тюркологических исследований упомянем также изданный А. Зайончковским совместно с проф. Я. Рейхманом «Очерк османско-турецкой дипломатики»<sup>12</sup> и монографическую публикацию А. Зайончковского о польских караимах<sup>13</sup> — их языке, истории, фольклоре и всей караимской культуре.

Институт востоковедения ПАН с самого начала своего существования выдвинул ряд серьезных исследовательских проблем, которые все успешнее осуществляет. С точки зрения их значения для тюркологии, наиболее важными являются проводимые здесь исследования по относящимся к XVI и XVII столетиям памятникам тюркского языка польских армян; надо сказать, что эти памятники издавна привлекают внимание тюркологов (см., например, работы Фр. Крелитца-Грайфенхорста, Т. И. Грунина, Ж. Дени). Руководство этими работами принял при сотрудничестве д-ра Р. Коповой и К. Ронки проф. М. Левицкий. Был собран богатый материал из разных библиотек и архивов (польских, венских, парижских), охватывающий около 30 обширных памятников. М. Левицкий не успел довести до конца начатого дела. Только посмертно был издан подготовленный им к печати совместно с Р. Коповой «Армянский статус»<sup>14</sup>.

Начаты М. Левицким исследования нашли своего продолжателя в лице д-ра Э. Триярского, который после подробного изучения среды польских армян, исторической обстановки создания упомянутых памятников и связанных с этим вопросов<sup>15</sup>, приступил к подготовке издания большого армяно-кыпчакско — польско — французского словаря на основе трех рукописей Венского рукописного фонда. Первый выпуск словаря уже

<sup>12</sup> A. Zajączkowski, J. Reychman, *Zarys dyplomatyki osmańskotureckiej*, Warszawa, 1955 (рецензию Л. Фекете на эту книгу см.: OLZ, Jg. 51, 11/12, 1956).

<sup>13</sup> A. Zajączkowski, *Karaims in Poland*, Warszawa, 1961.

<sup>14</sup> M. Lewicki, R. Kohnowa, *La version turque-kiptchak du Code des lois Arméniens polonais d'après le Ms. No 1916 de la Bibliothèque Ossolineum, RO, XXI, 1957* (введение, факсимиле оригинала, транскрипция текста с переводом, выполненным И. Карстом).

<sup>15</sup> См. E. Tryjarski, *Zestudiów nad rękopisami i dialektem kiptczackim Ormian polskich. I-II — RO, XXII, 2, 1960, III — RO, XXIV, 1, 1960.*

polowiecko-słowiańskie, Wrocław, 1949 (рецензию О. Прицака на эту работу см.: «Der Islam», 30, 1, 1952); его же, *Studia orientalistyczne z dziejów słownictwa polskiego*, Wrocław, 1935 [рецензию Я. Тшинадловского на эту книгу см.: «Przegląd Orientalistyczny» (далее — PO), 2, 1954].

сдан в печать<sup>16</sup>. В печати находится также другой, подготовленный Э. Трыярским вместе с Ж. Дени памятник армяно-кыпчакской письменности<sup>17</sup>. Интерес, проявляемый тюркологией к этим исследованиям, приводит к обнаруживанию все новых рукописей в разных странах и центрах. Среди других сотрудников Института востоковедения, принимающих участие в разработке этих материалов, маг. Э. Дубинска оканчивает критическое исследование армяно-кыпчакского текста псалтыря на основании нескольких рукописей, завершение этой работы — подготовка сводного текста — предусмотрено в 1963 г.; маг. Т. Нагродзак изучает городские грамоты польских армян. Общее руководство этими исследованиями осуществляется после смерти М. Левицкого А. Зайончковским.

До того как будут опубликованы основные результаты исследований, проводимых Институтом в этой области, трудно в деталях оценить их значение, однако один уже тот факт, что кыпчакский язык польских армян представляет собой промежуточное звено между кыпчакским языком XIII и XIV в., известным нам главным образом по «Codex Sumanicus» и трудам мусульманских филологов, а также по современным кыпчакским языкам, в достаточной степени определяет место упомянутых работ в современной тюркологии. В ближайшее время особенно много ожидается от издания армяно-кыпчакско — польско — французского словаря в обработке Э. Трыярского.

Э. Трыярский принимает участие также в изучении памятников турецкой эпиграфики в Болгарии, которое осуществляется на основании договора между Польской и Болгарской академиями наук; в обработке материала, собранного во время экспедиции в Болгарию, участвует также Т. Нагродзак. Завершение работы предусматривается в 1965 г.; тем не менее часть изученного материала в обработке А. Зайончковского уже опубликована<sup>18</sup>. Богатый и интересный материал собран Э. Трыярским в прошлом году, во время трехнедельной поездки в

Монголию, осуществленной на основании договора между Польской и Монгольской академиями наук. В течение этого небольшого срока он успел собрать обширный документальный материал (эстампажи, документальные снимки и др.) по древнетюркским руническим надписям, в том числе и по памятнику в честь Кюль-тегина в Хошо-цайдаме, Кули-чура в Ихе-хушоту и других. Обработка и систематизация этих материалов потребует времени, отчет о поездке появится в печати в ближайшее время.

Следующей основной задачей, которую поставил перед своим коллективом Институт востоковедения ПАН, является издание многолетнего каталога всех восточных рукописей, находящихся в Польше. Этими работами руководит эфониист проф. С. Стрельцын. Несмотря на ущерб, понесенный во время второй мировой войны, в польских архивах и других фондах сохранилось довольно много рукописей на разных восточных, в особенности на турецком и, как раньше писали, на «татарском» языках<sup>19</sup>. В настоящее время каталогизация этих рукописей, обработкой и учетом которых прежде не занимались, серьезно продвинута вперед, а несколько выпусков каталога уже издано. Описанием турецких и «татарских» рукописей занимается маг. Э. Абрахамович (сотрудник Воеводского государственного архива в Кракове), который уже выпустил в свет первую часть «Каталога турецких документов»<sup>20</sup>. В ближайшие годы предусматривается издание второй части этого каталога, а также завершение каталогизации других турецких и «татарских» рукописей и документов; в ней принимает участие маг. Т. Майда (Варшавский университет).

Примером международного сотрудничества Института востоковедения ПАН, в данном случае сотрудничества с Институтом языкознания АН СССР (начиная с 1958 г.), являются работы по изданию полного караимско-русско-польского словаря. Сейчас словарь уже подготовлен к печати. С польской стороны подготовкой словаря руководил А. Зайончковский при участии маг. А. Дубинского и доп. В. Зайончковского. Руководство с советской стороны и общую редакцию словаря взял на себя проф. Н. А. Баскаков. Ценность словаря определяется не только значением караимского языка для тюркологии или же отсутствием в тюркологической литературе подобного издания, но еще и тем, что караимский язык в настоящее время выходит из употребления.

<sup>16</sup> «Dictionnaire arméno-kiptchak d'après 3 manuscrits de collections viennoises», I, 1 (в печати). Изданные образцы статей этого словаря (E. T r y j a r s k i, Aus der Arbeit an einem armenisch-kiptschakisch — polnisch — französischen Wörterbuch, «Uralaltaische Jahrbücher», XXXII, 3—4, 1960) привлекли внимание всех тюркологов.

<sup>17</sup> J. D e n y, E. T r y j a r s k i, «Histoire du sage Hikar» dans la version arméno-kiptchak, RO, XXVII, 2 (в печати).

<sup>18</sup> A. Z a j a c z k o w s k i, Materiały do epigrafiki osmańsko-tureckiej w Bułgarii (Inskrypcje nad studnią — čašmä), RO, XXVI, 2, 1963.

<sup>19</sup> См. Z. A b r a h a m o w i c z, Dokumenty tureckie i tatarskie w zbiorach polskich, PO, 2, 1954.

<sup>20</sup> Z. A b r a h a m o w i c z, Katalog dokumentów tureckich. Cz. I, Warszawa, 1959.

К работам Института востоковедения, связанным с международным сотрудничеством, относятся также написанные для второго тома «*Philologiae Turcicae Fundamenta*» статьи: А. Зайончковского о караимской литературе, Ж. Дени и Э. Трыярского об армяно-кыпчакской литературе и С. Калужиньского о якутской литературе (эти статьи уже сданы в редакцию сборника).

Кроме того, Институт востоковедения ПАН ведет под руководством Я. Рейхмана работы в области научной документации и исследования по истории польского востоковедения (включая тюркологию). Были также начаты руководимые А. Зайончковским при участии С. Калужиньского предварительные этимологические исследования по лексике тюркских языков (см. об этом выше, примеч. 10), но в последнее время они приостановились.

Тюркологический центр Варшавского университета, несмотря на то, что дидактическая нагрузка научных сотрудников и более скромные материальные средства не способствуют такому широкому размаху исследовательской работы, как в академических центрах, достиг также серьезных результатов. В план исследовательских проблем кафедры тюркологии Института востоковедения при Варшавском университете входили темы многих из перечисленных выше публикаций А. Зайончковского. Кроме того, некоторые младшие научные работники кафедры сотрудничают с Институтом востоковедения ПАН, и их соответствующие работы упоминались выше. Старшим научным сотрудником кафедры тюркологии является Я. Рейхман — историк, выдающийся специалист в области польско-турецких отношений и вообще взаимоотношений между Турцией и Восточной Европой, а также заслуженный исследователь истории польского востоковедения. Важнейшими из его работ являются три обширные монографии: «Знание и обучение восточным языкам в Польше в XVIII в.»<sup>21</sup>, упомянутый выше «Очерк османско-турецкой дипломатики» и «Польская жизнь в Стамбуле в XVIII в.»<sup>22</sup>.

Из числа остальных сотрудников кафедры тюркологии — тюркологов (кафедра имеет также отделы арабистики и иранистики), д-р С. Рымкевич ведет исследования по истории развития рифмы в турецкой поэзии<sup>23</sup> и является автором переводов и статей в области турецкой литературы. Тюрколог-языковед

маг. А. Дубинский, об участии которого в подготовке караимского словаря уже говорилось, изучает в настоящее время проблему инфинитива в тюркских языках в сравнительно-историческом плане. Маг. Т. Майда, занимавшийся ранее исследованием армяно-кыпчакских молитвенников, теперь готовит материалы к каталогу тюркских и персидских рукописей.

Проф. М. Левидкий, вплоть до своей смерти в 1955 г. заведовавший кафедрой филологии народов Центральной и Средней Азии, много времени и труда отдал посмертному изданию работ своего учителя В. Котвича — в первую очередь написанной В. Котвичем биографии О. Ковалевского, несомненно самого лучшего в польской востоковедческой литературе биографического исследования, и «Исследований по алтайским языкам»<sup>24</sup>, ставших в последнее время доступными также широкому кругу советских читателей-специалистов<sup>25</sup>. Образцовое издание транскрипционного монгольского текста XIV в.<sup>26</sup> принесло М. Левидкому всеобщее признание в монголистике. Вторая часть этой работы — словарь — была уже посмертно издана Р. Коновой<sup>27</sup>. Кроме того, М. Левидкий является автором ряда других ценных исследований<sup>28</sup>. О его инициативе в области исследований армяно-кыпчакских памятников говорилось выше. Влияние научного сотрудничества этой же кафедры С. Калужиньского сосредоточено *schen Kunstliteratur*, RO, XXVII, 1 (в печати).

<sup>24</sup> Wł. Kotwicz, Józef Kowalewski orientalista (1801—1878), Wrocław, (монография содержит введение М. Левидкого и библиографию в обработке дочери В. Котвича — Марии Котвич); его же, *Studia nad językami altajskimi*. Wydał M. Lewicki, RO, XVI (1950), 1953.

<sup>25</sup> В. Котвич, Исследование по алтайским языкам, М., 1962.

<sup>26</sup> M. Lewicki, *La langue mongole des transcriptions chinoises du XIV<sup>e</sup> siècle*. Le Houa-yi yi-yu de 1389, Wrocław, 1949.

<sup>27</sup> M. Lewicki, *La langue mongole des transcriptions chinoises du XIV<sup>e</sup> siècle*. Le Houa-yi yi-yu de 1389. II.—Vocabulaire — Index, Wrocław, 1959.

<sup>28</sup> M. Lewicki, *Studia altaistyczne*. I, «Sprawozdania PAU», XLIX, 6, 1948; его же, *Turcica et mongolica*, RO, XV, 1949; см. также обширное введение М. Левидкого и прелышающие объемом основной текст ценные примечания в книге: Marko Polo, *Opisanie świata*, Warszawa, 1954, а также: M. Lewicki, *La terme Nemić «polonais, latin, européen» dans la langue kipchak des Arméniens polonais*, «Onomastica», II, 2, 1958 и др. Подробнее о М. Левидком см.: A. Zajączkowski, *Wspomnienie o Marianne Lewickim*, PO, 3, 1956; S. Kałużński, *Marian Lewicki*, там же.

<sup>21</sup> J. Reychman, *Znajomość i nauczanie języków orientalnych w Polsce XVIII w.*, Wrocław, 1950.

<sup>22</sup> J. Reychman, *Życie polskie w Sтамбуле w XVIII wieku*, Warszawa, 1959 (рецензию Б. Шпулера на эту книгу см.: «Der Islam», 36, 3, 1961).

<sup>23</sup> S. Rymkiewicz, *Beitrag zur Entwicklung des Reimes in der türki-*

на сравнительно-историческом изучении алтайских языков, а также тюрко-монгольских языковых отношений<sup>29</sup>. Теперь он занимается обработкой материалов к исторической морфологии и фонетике якутского и монгольскими заимствованиями в северных тюркских языках.

Краковскому тюркологическому центру, так же как и всей польской тюркологии, пришлось пережить со смертью Т. Ковальского тяжело ощутимую потерю. Этот крупный тюрколог (также известный арабист и иранист) оставил богатое научное наследство<sup>30</sup>. Из изданных после войны работ Т. Ковальского следует упомянуть до сих пор не утраченную своей ценности характеристику тюркских языков<sup>31</sup>, исследование пассивных и пассивных форм в тюркских языках<sup>32</sup> и скрупулезно выполненную работу по подготовке к изданию 12 фрагментов из древнетюркского рукописного фонда Немецкой Академии наук; эти фрагменты посмертно были изданы проф. А. фон Габен (которая в известной мере приняла участие также в их обработке) в серии турфанских текстов<sup>33</sup>.

В настоящее время наиболее активным среди краковских тюркологов является

<sup>29</sup> См. S. K a ł u ż y ń s k i, Miejsce języka jakuckiego w grupie tureckiej i jego stosunek do pozostałych języków altajskich, «Sprawozdania Wyzd. nauk społecznych PAN», 1, 1959; его же, Jakutische Wortforschungen. Einsilbige Stämme, «Central Asiatic Journal», VII, 3, 1962; его же, Некоторые вопросы монгольских заимствований в якутском языке, «Труды ИЯЛИ Якутского филиала Сиб. отделения АН СССР», 3, 1961; его же, Mongolische Elemente in der jakutischen Sprache, Warszawa, 1961.

<sup>30</sup> См. об этом: A. Z a j a c z k o w s k i, Pamięci orientalisty, PO, 1, 1949; его же, Tadeusz Kowalski i jego prace orientalistyczne, RO, XVII (1951—1952), 1953; «Bibliografia Tadeusza Kowalskiego» (opracował W. Zajęzowski), там же.

<sup>31</sup> T. K o w a ł s k i, Próba charakterystyki języków tureckich, «Myśl Karaimska», 1, 1946.

<sup>32</sup> T. K o w a ł s k i, De la nature du causatif et du passif dans les langues turques, RO, XV, 1949.

<sup>33</sup> A. v. G a b e n, Türkische Turfantexte. X. Das Avadāna des Dämons Aḷavaka, bearb. von T. Kowalski. Aus dem Nachlaß herausgegeben, Berlin, 1959 («Abhandl. der Deutschen Akad. der Wissenschaft zu Berlin», Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst, Jg. 1958, 1), Berlin, 1959.

доц. В. Зайончковский (о работах Э. Абрахамовича уже говорилось), в центре внимания которого находятся главным образом вопросы языка, литературы и культуры караимов<sup>34</sup>, а также близких им тюркских народностей, как, например, гагаузов<sup>35</sup>, и некоторые другие. Немало места в его публикациях занимают документационные статьи и очерки по истории востоковедения, в особенности тюркологии, польской и зарубежной. Среди других тюркологов — сотрудников краковской кафедры восточной филологии, заведомой арабистом проф. Т. Левицким, д-р В. Зимницкий занимается османской палеографией и дипломатикой, а также древнетюркской письменностью, а маг. И. Лисовский, подготовивший докторскую диссертацию в гамбургском тюркологическом центре, изучает вопросы чувашского языка.

Что касается ученых других университетских центров, которые в своих работах приближаются к тюркологии, на первом месте следует упомянуть Б. Барановского — профессора Лодзинского университета, историка польско-турецких отношений. В этой области он имеет серьезные и признанные исторической наукой достижения.

В настоящей статье нашли обзор только основные публикации и исследовательские темы польской тюркологии и алтаистики. Ближайшие перспективы этих областей нашего востоковедения следуют из вышесказанного. Будущее польской тюркологии и алтаистики обеспечивают относительно многочисленные и в основном хорошо подготовленные кадры исследователей младшего и среднего поколений. Основные исследовательские проблемы, вокруг которых концентрируется внимание нашей тюркологии и алтаистики, надо полагать, будут со временем еще расширяться.

С. Камужинский

<sup>34</sup> См., например, W. Z a j a c z k o w s k i, Przysłowia, powiedzenia i formułki Karaimów trockich, «Myśl Karaimska», II, 1947; его же, Un livre des songes caraime, RO, XV, 1949; его же, Die krimkaraimischen Sprichwörter, «Folia orientalia», I, 1, 1959; его же, Die mongolischen Elemente in der karaimischen Sprache, «Folia orientalia», I, 2, 1960; его же, Z poezji ludowej tatarsko-karaimskiej na Krymie, RO, XXIV, 2, 1961.

<sup>35</sup> См., например: W. Z a j a c z k o w s k i, Terminologia zwierząt domowych u Gagauzów, RO, XVII, 1953; его же, Przyczynki do etnografii Gagauzów, RO, XX, 1956.

РЕЦЕНЗИИ

«Universals of language. Report of a conference held at Dobbs Ferry, New York, April, 13—15, 1961», ed. by J. H. Greenberg. — The M. I. T. press, Cambridge (Mass.), 1963. 269 стр.

Рецензируемая книга представляет материалы конференции по языковым универсалиям, состоявшейся 13—15 апреля 1961 г. в Нью-Йорке. Помимо специальных статей Ч. Хокетта, Г. Хенгсвальда, Ч. Фергюсона, С. Сапорта, Дж. Гринберга, В. Коугилла, У. Вайрайха, С. Ульмана, посвященных различным (общим и частным) проблемам, связанным с выделением универсалий в языках мира, в книгу включены три обзорных доклада, посвященных универсалиям в лингвистике (Р. Якобсон), антропологии (Дж. Касагранде) и психологии (Ч. Осгуд), а также «Меморандум о языковых универсалиях», подготовленный Дж. Гринбергом, Ч. Осгудом и Дж. Дженкинсом и представленный участникам конференции к ее началу (J. H. Greenberg, Ch. Osgood, J. Jenkins, Memorandum concerning language universals)<sup>1</sup>.

Конференция и ее материалы представляют новый этап исследования проблемы, всегда занимавшей лингвистов, — проблемы универсального в языке. Предшественниками исследований в этом направлении являлись античные грамматики — создатели учения о членах предложения, Я. А. Коменский, Г. Лейбниц и грамматик аббатства Нор-Руаля, а в более близкое нам время — Э. Гуссерль и А. Марти (ср. Хо, 4; Як, 219). Непосредственным же стимулом к оживлению исследований универсального в языке явился, несомненно, известный доклад Р. О. Якобсона на VIII съезде лингвистов в Осло в 1958 г.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ссылки на статьи книги в дальнейшем обозначаются аббревиатурами из первых двух букв фамилии их авторов. «Меморандум» обозначается: Ме; цифры означают страницу статьи.

<sup>2</sup> См. R. Jakobson, Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics, «Proceedings of the VIII International congress of linguists», Suppl., Oslo, 1958 (далее — Туп. studies; см. русск. перевод в сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1963). См. также постановку проблемы в статье: В. W. Aginsky, E. G. Aginsky. The

Значение проблемы языковых универсалий для языкознания трудно переоценить. Действительно, едва ли не первая цель всякой науки — познать ограничения, накладываемые самой этой наукой (теорией или областью ее применения), — здесь может быть широкая аналогия со значением постулата о постоянстве скорости света в физике и теоремы Гёделя в математике<sup>3</sup>. Очевидна и практическая ценность исследований в этом направлении — например, для дешифровки и сравнительно-исторических реконструкций целых систем, а не отдельных явлений<sup>4</sup>. Значение же исследования универсальных соотношений непосредственно для типологии несомненно уже потому, что всякая классификация предполагает выявление изоморфизма классифицируемых объектов; тем самым исследование универсального составляет необходимую часть типологии<sup>5</sup>. В этой связи может быть интересно замечание С. Сапорта об универсальных соотношениях как критерии типологических построений: из двух типологий более ценной считается та, из которой следует большее количество универсальных соотношений (Са, 48—49)<sup>6</sup>.

Причины универсальных соотношений — неясны; их можно объяснять об-

importance of language universals, «Word», IV, 3, 1948 (далее — Aginsky).

<sup>3</sup> Ср. В я ч. В. И в а н о в, О построении информационного языка для текстов по дескриптивной лингвистике, «Доклады на конференции по обработке информации, машинному переводу и автоматическому чтению текста», М., 1961, стр. 2.

<sup>4</sup> В я ч. В. И в а н о в, Типология и сравнительно-историческое языкознание, ВЯ, 1958, 5 (далее — Иванов).

<sup>5</sup> Ср. Б. А. У с п е н с к и й, Принципы структурной типологии, М., 1962, стр. 6—7 (далее — Принципы).

<sup>6</sup> Это замечание в принципе оправдывает старый классификаторский подход (в досемировской типологии), выделяющий типы языков, а не типологические признаки (см. Принципы, стр. 14).

щим происхождением языков, их позднейшими контактами или общими кодовыми свойствами всех языков. Подобные объяснения, однако, надолго (если не навсегда) останутся гипотезами. Дело же общего языкознания в первую очередь — констатировать такие соотношения.

Авторы книги рассматривают теоретические вопросы, связанные с выделением языковых универсалий, а также приводят конкретные универсалии, сформулированные относительно разных языковых уровней; при этом приводимый материал (как теоретический, так и практический) разнороден и часто перекрывает друг друга. Нам представляется целесообразным поэтому сначала рассмотреть теоретические проблемы, связанные с языковыми универсалиями, а затем привести список основных (т. е. наиболее четко сформулированных) универсалий, приводимых в разных статьях. Этот список мы дополним универсалиями, известными нам из других источников.

Универсальным лингвистическим высказыванием или языковой универсалией предлагается называть высказывание вида:  $(X)X \in L \supset \dots$ , т. е. «для всех (абсолютного большинства)  $X$ , где  $X$  есть язык, имеет место...» (Me, 258). Заметим сразу, что предложённое понимание сводит универсальное высказывание к утверждению наличия или отсутствия некоторых явлений в определенном языке; между тем возможны, видимо, универсальные лингвистические соотношения, выходящие за рамки одного какого-то языка. К универсальным соотношениям последнего вида относятся, например, соотношения обратной пропорциональной зависимости между частотами появления согласных в тексте и в системе<sup>7</sup>, между средней длиной морфемы и количеством фонем<sup>8</sup>, между длиной слова и отношением числа фонем к числу слогов<sup>9</sup>. Практически авторы книги приводят примеры универсалий и такого рода (например, Ca, 55; Ян, 212). Однако большая часть приводимых примеров соответствует данному определению.

Можно различать следующие виды универсальных высказываний (как по характеру самой универсалии, так и по ее объекту).

#### Дедуктивные и индуктивные

<sup>7</sup> J. K r á m s k ý, *Fonologické využití samohláskových fonémát*, «Linguistica slovacca», IV—VI, 1946—1948.

<sup>8</sup> Ch. H o c k e t t, *A course in modern linguistics*, New York, 1958, стр. 93.

<sup>9</sup> P. M e n z e r a t h, W. M e y e r - E r p l e r, *Sprachtypologische Untersuchungen*, «Studia linguistica», IV, 1—2, 1950; P. M e n z e r a t h, *Typology of languages*, «Journ. of the Acoustical society of America», XXII, 6, 1950.

ные универсалии (definitional and empirical universals)<sup>10</sup>. В первом случае универсальность данного высказывания (соотношения) явствует из самого определения соотносимых единиц или исходных допущений о языке. В тривиальном случае такие соотношения тавтологичны (т. е. верны, но не информативны)<sup>11</sup>; в более сложных случаях, когда они несомненно очевидны, их можно доказать (дедуктивно вывести).

Во втором случае универсальность соотношения не вытекает из исходных допущений или определения соотносимых единиц, но постулируется эмпирически: в случае, если найдется противоречащий случай, мы не изменим наших исходных допущений или определений. Иными словами, соотношения такого рода не связаны с определенными конструктами, характеризующими сущность соотносимых единиц; можно себе представить (или построить искусственно) язык, где не имеет места данное соотношение. Во же время, даже если такой язык и встретится реально, это не нарушит высокой статистической вероятности устанавливаемого соотношения (см. далее разграничение абсолютных и статистических универсалий). В этом случае абсолютные индуктивные соотношения (т. е. такие, что всегда имеют место, но универсальность которых нельзя доказать) углубляют наши знания о сущности соотносимых явлений. Аналогичная ситуация может быть в математике, где известны некоторые (найденные эмпирически) факты, которые не удается доказать (например, «проблема четырех красок», т. е. достаточность четырех красок для такой раскраски всякой географической карты, когда две соседние страны окрашены в разные цвета) (Хо, 5).

Очевидно, что индуктивные закономерности несут больше информации, чем дедуктивные, — именно потому, что они ни из чего не следуют и никак не пред-

<sup>10</sup> Аналогично различение закона и генерализации у С. К. Шаумяна (см. С. К. Шаумян, Генерализация и постулирование конструктов в изучении структуры языка, «Тезисы совещания по математической лингвистике», Л., 1959). См. там же о роли мысленного эксперимента при разграничении дедуктивных и индуктивных универсалий. В самом деле, индуктивная универсальная характеристика есть такая характеристика, что если некоторая знаковая система и не обладает ею, мы все же можем называть эту систему языком (Me, 258; Ca, 50; Хо, 2).

<sup>11</sup> Наиболее тривиальный случай предстает тогда, когда утверждается универсальное присутствие некоторых операционных понятий (метапонятий) — например, высказывания типа: «во всех языках есть фонемы» (ср. Ca, 52; Me, 257).

сказуемы. По известному высказыванию Л. Блумфилда, неоднократно приводимому авторами книги: «единственно полезные генерализации о языке суть индуктивные генерализации». В связи с этим основное внимание предлагается сосредоточить на индуктивных (эмпирических) универсалиях (Me, 258). В то же время и дедуктивные универсалии полезны, если они не самоочевидны (Хо, 4—5).

Заметим, что абсолютные индуктивные универсалии, расширяя наши знания о языке, могут привести к принятию некоторых новых исходных допущений, на основании которых они превращаются в дедуктивные. Как отмечается в «Меморандуме», эмпирические универсалии «представляют потенциальный материал для выведения дедуктивных законов» (стр. 263).

Абсолютные и статистические универсалии (universals and near-universals). Первые не знают исключений. Относительно вторых известны единичные случаи исключений; однако такие случаи не нарушают высокой статистической вероятности устанавливаемого соотношения. Случаи исключений, если они единичны, можно рассматривать как нехарактерные — возникающие, например, на переходном этапе от одной устойчивой системы к другой; сами же соотношения, обладающие высокой статистической вероятностью, можно, например, рассматривать как общие кодовые характеристики.

В соответствии со сказанным выше можно считать, что закономерности, верные не статистически, но абсолютно, отражают уровень лингвистической методологии, поскольку они могут явиться результатом общей дедуктивной теории языка. В то же время абсолютные индуктивные закономерности по существу всякий раз гипотетичны, поскольку при их установлении исходят из рассмотрения ограниченного количества языков: всегда потенциально возможен противоречащий случай. Большая часть приводимых в книге универсалий носит статистический характер.

Элементарные импликационные универсалии (unrestricted universals and universal implications). Универсалиа может представлять как простое высказывание о наличии или отсутствии некоторых явлений («в а есть б»), так и высказывание о связи явлений, выраженное в форме импликации («если а, то б»). Если высказывания первого вида раскрывают универсальные свойства языка (например: «во всех языках есть собственные имена»), то импликации показывают связь или иерархию явлений в языке. При этом импликации могут быть простыми ( $a \rightarrow b$ : «если а, то б») и взаимными ( $a \rightarrow b$  и  $b \rightarrow a$ : «а если и только если б»).

Простые импликации раскрывают иерархию явлений, позволяя выделить явления доминирующие и вторичные, ими обусловленные.

Например, в области фонологии Ч. Фергусон показывает [в своей статье «Допущения о носовых» (Ch. Ferguson, Assumptions about nasals. A sample study in phonological universals)], что во всех языках носовые фонемы — вторичны (они могут быть лишь тогда, когда в языке есть шумные согласные), а из носовых доминируют звонкие смычные согласные (все прочие носовые фонемы — согласные и гласные — появляются в языке лишь в том случае, если в нем есть звонкие смычные носовые); на этом основании Ч. Фергусону удается постулировать ряд импликационных соотношений как для синхронии, так и для диахронии языка (о естественной связи синхронных и диахронических универсалий при этом см. ниже). Другой пример фонологической импликации из области структуры слога:  $CCCG \rightarrow CCG \rightarrow CG$  и  $ICCC \rightarrow ICC \rightarrow IC \rightarrow I$ , где  $I$  — гласная,  $C$  — согласная (Me, 263); очевидно, что слоги структуры  $CG$  и  $I$  доминируют над всеми прочими.

Точно так же на грамматическом уровне относительная иерархия: «единственное число — множественное число — двойственное число — тройственное число» — может быть установлена на основании цепи импликаций: 1) если в языке есть тройственное число, в нем есть и двойственное; 2) если в языке есть двойственное число, в нем выделяется и множественное (Гр, 74); 3) наконец, множественное число, разумеется, не может быть без единственного. Аналогично можно устанавливать и иерархию различных грамматических категорий (например, число доминирует над падежом<sup>12</sup>).

Если простые импликации показывают доминанцию одних явлений над другими, то импликации взаимные раскрывают их эквивалентность. Например, если в языке есть боковой клик, в нем есть и зубной клик, и наоборот (Me, 259). Видимо, особенно интересны с лингви-

<sup>12</sup> Доминируемые категории можно рассматривать как маркированные в плане содержания (всех языков). Часто им соответствует маркированность в плане выражения [например: во всех языках множественное, двойственное, тройственное числа выражаются ненулевыми элементами; различия по числу не нейтрализуются в падежах, но обратное возможно (Гр, 74)]. Об общем соотношении маркированности в плане выражения и в плане содержания см. Як, 213: «в пределах грамматической корреляции нулевой аффикс не может постоянно сосуществовать маркированной категорией, а ненулевой (реальный) аффикс — немаркированной категорией».

стической точки зрения импликация этого вида, раскрывающая взаимноисключительные явления или признаков; тогда эти признаки (явления) могут считаться вариантами одной сущности. Такие универсалии были установлены в свое время Р. О. Якобсоном; в рецензируемой книге, к сожалению, универсалии этого вида не получили достаточного освещения. Например, ни в одном языке согласные не противопоставлены одновременно по огубленности и по фарингализации; поэтому эти признаки можно считать вариантами одного противопоставления (которому можно дать физиологическую интерпретацию). Точно так же и признаки напряженности, интенсивности, придыхания согласных оказываются дополнительно распределенными вариантами одного противопоставления<sup>13</sup>. Аналогично исключают друг друга корреляция согласных по твердости — мягкости и полнотона гласных<sup>14</sup>. По существу здесь — на интерлингвистическом уровне — применяется принцип дополнительной дистрибуции. При этом характерен изоморфизм методов, применяемых на интралингвистическом и на интерлингвистическом уровне.

Универсалии, сформулированные в экстралингвистических и в собственно лингвистических терминах. Выше мы говорили, что выделение универсалий (изоморфных явлений) составляет необходимую часть типологии. В соответствии с этим выделяемые универсалии обусловлены объектом типологии — в частности тем, рассматривается ли некоторая общая по отношению к языковой типологии, например, семантическая, антропологическая и т. д. (т. е. определяется ли место языка в кругу аналогичных явлений) или же мы имеем дело с типологией собственно лингвистической. Иными словами, вопрос ставится так: сравниваются ли языки только между собой (т. е. в собственно лингвистических терминах, необходимых для описания языка *a* через сравнение его с языком *b*) или же языки сравниваются с некоторой системой близкого порядка (т. е. в терминах — необходимых для описания как всех языков, так и этой системы). Последней задаче посвящает значительную часть своей статьи «Проблема универсалий в языке» Ч. Хокетт (Ch. Hockett, *The problem of universals in language*; см. также его прежние работы). Сравнивая человеческие языки с коммуникационными системами животных, он выде-

ляет 16 универсальных признаков, каждый из которых характерен для любого языка, но отсутствует по крайней мере в одной из коммуникационных систем животных. При этом под «человеческим языком» Хокетт понимает исключительно язык устного общения (стр. 7, 11—12); если же включить в объект рассмотрения и письменный язык, количество признаков сократится, очевидно, до 11 (надлежит, видимо, отбросить первые 5 признаков)<sup>15</sup>. Специально универсалиям в области культуры и психологии и сравнению их с универсалиями собственно лингвистическими посвящены статьи Дж. Касагранде «Языковые универсалии в антропологической перспективе» (J. V. Casagrande, *Language universals in anthropological perspective*) и Ч. Остуда «Языковые универсалии и психоллингвистика» (Ch. E. Osgood, *Language universals and psycholinguistics*).

Все же остальные авторы сосредоточены на выделении конкретных лингвистических универсалий, выявленных на основе сравнения языков между собой (т. е. в пределах собственно лингвистического материала) и сформулированных в собственно лингвистических терминах.

Синхронные и диахронические универсалии. Если синхронные универсалии представляют собой высказывания типа: «для всех (большинства) *X*, где *X* есть язык (т. е. синхронное состояние), имеет место...», то универсалии диахронические строятся как высказывания типа: «для всех (большинства) *X* и *Y*, где *X* есть некоторое раннее, а *Y* — позднейшее синхронное состояние одного языка, имеет место...» (Me, 261). Большинство авторов рассматривают синхронные универсалии; исследование диахронических универсалий (как и вообще диахронической типологии) понимается обычно как вторичная задача.

Диахроническим универсалиям специально посвящена статья Г. Хенигсвальда «Имеются ли универсалии в языковых изменениях?» (H. M. Hoenigswald, *Are there universals of linguistic change?*). Автор сосредоточивается, однако, на теоретических вопросах, почти не приводя конкретных универсалий. Г. Хенигсвальд разграничивает «этические» и «эми-

<sup>15</sup> К универсалиям общего (экстралингвистического) характера относятся и утверждение, что избыточность в любом языке равна приблизительно около 50% (Ho, 19), которое также основывается на сравнении языков с другими системами передачи информации. Ряд универсалий того же порядка приводится в известной работе Инге (см. V. N. Yngve, *A model and a hypothesis for language structure*, «Proceedings of the American philosophical society», CIV, 5, 1960, особенно стр. 452, 465).

<sup>13</sup> См. R. Jakobson, *Phonology and phonetics*, в его кн. «Selected writings», I, s-Gravenhage, 1962, стр. 483—484 (далее — *Phonology*).

<sup>14</sup> R. Jakobson, *Über die phonologischen Sprachbünde*, там же (далее — *Sprachbünde*).

ческие» универсалии диахронического изменения. Этические универсалии (например, конкретные звуковые переходы) сформулировать относительно нетрудно (ср. опыты Пасси, Граммона); заметим, что при сравнительно-исторических реконструкциях ученые часто руководствовались соображениями о возможности или вероятности того или иного звукового перехода — т. е. «этическими» диахроническими универсалиями. Структурными в собственном смысле слова могут быть названы лишь универсалии, сформулированные на эмпирическом уровне (т. е. универсальные правила изменения фонем, морфем и т. д., а не конкретных звуков или морфем); выделение таких универсалий, однако, представляет значительные трудности. Как отмечает Г. Хенигсвальд, в качестве примера диахронической универсалии можно привести постулат о постоянной распаде некоторого основного словарного фонда, лежащей в основе глоттохронологических исследований (стр. 26).

Статья В. Коугилла «Поиск универсалий в индоевропейской диахронической морфологии» (W. Cowgill, A search for universals in Indo-European diachronic morphology) представляет попытку применить методику морфологической классификации Дж. Гринберга<sup>16</sup> на материале индоевропейских языков разной древности; эта статья, по существу, имеет лишь косвенное отношение к теме всей книги.

В книге не затронута, к сожалению, проблема диахронических универсалий онтогенеза<sup>17</sup>.

Между синхронными и диахроническими универсалиями может быть прямая связь: она заключается, в частности, в том, что некоторые синхронные универсальные закономерности проще всего понять, исходя из диахронических предпосылок (Me, 261). Именно поэтому Ч. Фергусон, выдвигая ряд универсальных положений о носовых согласных, в их числе приводит и диахронические закономерности, которые во многом объясняют постулируемые им синхронные закономерности. Как отмечает Р. Уэллс (см. Са, 56), каждая синхронная универ-

сальная закономерность, сформулированная в виде импликация («если  $a$ , то  $b$ »), имеет и диахронический смысл: именно, если имеется язык, где есть  $a$ , но нет  $b$ , мы предскажем или появление  $b$ , или исчезновение  $a$ . Это замечание Р. Уэллса находится в русле современных стимулирующих идей о связи синхронных и диахронических исследований (в связи с их общей лингвистической методикой и единым понятием простоты описания)<sup>18</sup>.

Фонологические, грамматические, семантические, символические универсалии. Лингвистические универсалии различаются по тому, в терминах какого уровня языка они сформулированы. Соответственно различаются фонологические, грамматические, семантические универсалии. Дж. Гринберг (следуя Э. Сепиру) предлагает выделять еще и символический уровень, анализирующий соотношение между формой и значением (в то время как остальные уровни рассматривают форму без значения или значение без формы)<sup>19</sup>.

Конкретные фонологические универсалии приводятся во многих статьях рецензируемой книги. Это и понятно — в области фонологии проблема универсалий была разработана лучше всего к началу конференции (см. особенно работы Р. О. Якобсона<sup>20</sup>). Фонологические универсалии могут формулироваться как в отношении конкретных фонем (например, носовых — см. Фе, 44—47; Як, 210), так и в терминах дифференциальных признаков. Дифференциальные признаки при этом могут быть акустические или артикуляционные. Большая часть универсалий в терминах акустических дифференциальных признаков сформулирована в предыдущих работах Р. О. Якобсона. Отчеты они повторены в его статье «Значение языковых универсалий для лингвистики» (R. Jakobson, Implications of language universals for linguistics, стр. 202—210), например, универсальность противопоставлений по признакам: гласный — негласный, согласный — несогласный, компактный — диффузный, высокий — низкий, носовой — неносовой.

<sup>16</sup> J. H. Greenberg, A quantitative approach to the morphological typology of language, «International journal of American linguistics», XXVI, 3, 1960 (см. русск. перевод в сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1963).

<sup>17</sup> См. R. Jakobson, Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze, «Språkvetenskapliga sällskapet i Uppsala förhandlingar», Uppsala — Leipzig, 1942 («Uppsala universitets årsskrift», 1942, 9); Р. Якобсон, М. Халле, Фонология и ее отношение к фонетике, «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 263 и сл.

<sup>18</sup> См. А. А. Зализняк, О возможной связи между операционными понятиями синхронного описания и диахронией, «Симпозиум по структурному изучению знаковых систем», М., 1962; M. Halle, On the role of simplicity in linguistic descriptions, «Proceedings of symposia in applied mathematics», XII, 1961.

<sup>19</sup> J. H. Greenberg, The nature and uses of linguistic typologies, «International journal of American linguistics», XXIII, 27, 1957. См. также Me, 260.

<sup>20</sup> Помимо работ, указанных выше, см. его «Retrospect» в кн. «Selected writings», I, особенно стр. 655 (далее — Retrospect).

вой. Ряд универсалий, сформулированных в терминах артикуляционных дифференциальных признаков, приводит в своей статье Ч. Хокетт (например, универсальность противопоставления взрывных — невзрывных согласных, противопоставления гласных по высоте языка). Некоторые универсалии удается сформулировать и относительно структуры слога, а также просодических явлений (начало в этом направлении заложено опять-таки в работах Р. О. Якобсона).

Грамматические универсалии формулируются почти исключительно в статье Дж. Гринберга «Некоторые грамматические универсалии, в частности относящиеся к порядку значимых элементов» (J. H. Greenberg, *Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements*) — работе, замечательной как по достигнутому результату, так и по своей методологической четкости (грамматические универсалии, которые приводит Ч. Хокетт, сформулированы значительно менее четко). Гринберг приводит 45 универсалий, затрагивающих как синтаксис, так и морфологию.

В области морфологии Гринберг находит универсальные закономерности как в плане содержания, так и в плане выражения. Рассматривая грамматические значения, он выводит в форме импликаций иерархию грамматических категорий и категориальных форм (см. выше примеры). В плане выражения грамматических категорий Гринберга особенно интересует маркированность выражения, возможность нейтрализации, значение нулевого элемента (в частности: если некоторый падеж имеет только нулевые алломорфы, среди его значений есть значение субъекта при непереходном глаголе; и т. д.).

В области синтаксиса Гринберг продолжает идеи, высказанные в свое время В. Шмидтом<sup>21</sup>, — идеи о связи между наличием предлогов или послелогов в языке, соответственно — препозицией или постпозицией определения в этом языке и позиций именного субъекта по отношению к глаголу.

Семантическим универсалиям посвящены статьи У. Вайнрайха «О семантической структуре языка» (U. Weinreich, *On the semantic structure of language*) и С. Ульмана «Семантические универсалии» (S. Ullmann, *Semantic universals*). В обеих статьях основной упор делается на исследование теоретических предпосылок для выделения языковых универсалий; практическое их выделение страдает из-за неразработанности самой области науки. В статье Вайнрайха заслуживает внимания попытка использования

символической логики для выявления и описания общих семантических категорий; в ней же исследуется выражение в разных языках таких явлений, как отрицание, различных местоименных категорий и т. д.

Рассмотрение символических универсалий ограничивается, кажется, всего одним примером: почти во всех языках обозначение матери имеет носовой согласный (Me, 260).

\*

Конкретные результаты исследований языковых универсалий (ниже приводятся в виде списка) в значительной мере страдают, во-первых, из-за частой неопределенности используемых терминов (это относится отчасти к грамматическим и особенно к семантическим универсалиям) и, во-вторых, из-за отсутствия строгих статистических критериев при выделении универсалий. В самом деле, неясно, рассмотрение скольких языков достаточно для постулирования универсального соотношения [Гринберг исходит из рассмотрения 30 языков, принадлежащих разным языковым группам (генетическим и ареальным); этот список он дополняет в отдельных случаях и другими языками]. Решение как той, так и другой проблемы — задача будущих исследований. Точно так же (и в соответствии со сказанным) задачей будущих исследований с привлечением возможно большего числа лингвистов должна быть проверка полученных данных (универсалий)<sup>22</sup> и увеличение их списка.

Необходимой предпосылкой последнего является упорядочение единообразной записи.

Для единообразной записи универсалий необходимо четко обозначить кванторы (которые неявным образом используются при формулировании универсалий). Помимо двух употребительных кванторов — квантора всеобщности ( $\forall$ ) и квантора существования ( $\exists$ ), мы считаем целесообразным введение третьего квантора — квантора вероятности (обозначим его  $\exists$ ), который означает, что с большей вероятностью (в большинстве случаев) высказываемое имеет место.

Указанные кванторы при этом могут использоваться:

1. Для характеристики самого универсального высказывания, т. е. высказывания о множестве языков; в этом случае операндами кванторов являются языки,

<sup>22</sup> По-видимому, многие абсолютные универсалии при этом будут переосмыслены как статистические. В приведенном ниже списке сделан ряд изменений такого рода (при этом приводятся исключения, на основании которых данная универсалия объявляется статистической).

<sup>21</sup> W. Schmidt, *Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde*, Heidelberg, 1926.

Квадрант унверсали	Условия действия унверсали	Лингвистические явления	Примечания
<b>Фонология</b>			
∨	—	Э противопоставление гласных — негласных	
∨	—	Э противопоставление согласных — несогласных	
∨	—	Э противопоставление компактных — диффузных <i>Г</i>	
d	—	Э противопоставление компактных — диффузных <i>С</i>	Retrospect, 655
∨	—	Э противопоставление высоких — низких	
d	—	Э противопоставление высоких — низких <i>Г</i>	
d	—	Э противопоставление носовых — неносовых	
d	—	Э не менее двух <i>Г</i>	
∨	—	Э противопоставление <i>Г</i> по высоте языка	
∨	Э более двух <i>Г</i>	{ Э носовая <i>Г</i> и { Э передняя высокая <i>Г</i> и { Э задняя высокая <i>Г</i>	Aginsky, 170
∨	—	Э взрывная <i>С</i>	Typ. studies
∨	—	Э противопоставление взрывных — невзрывных <i>С</i>	Хо, 21 (5.7)
∨	—	Э не менее двух противопоставленных артикуляций взрывных <i>С</i>	Хо, 21 (5.8)
d	—	{ Э носовая <i>С</i> и { Э шипящая <i>С</i> и { Э две взрывные <i>С</i>	Aginsky, 170; исключение: некоторые языки Новой Гвинеи (Хо, 21), каракалпакский <sup>2</sup>
d	Э противопоставление взрывной — аффрикаты	Э фрикативная <i>С</i> , соответствующая каждой таковой аффрикате	Typ. studies; исключение: кикапу (алгонкинская группа) (см. Хо, 20)
d	Э противопоставление придыхательных — непридыхательных <i>С</i>	Э фонема [h]	Хо, 20; Typ. studies

Продолжение

Квантор универсалии	Условия действия универсалии	Лингвистические явления	Примечания
d	—	Э простая носовая C <sup>3</sup>	Фе, 44 (I); Ме, 259; исключение: 3 языка салишской группы
V	Э ровно одна простая носовая C	Э апикулярная носовая C ([n])	Фе, 44 (II)
V	Э ровно две простых носовых C	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Э апикулярная носовая } C ([n]) \\ \text{или} \\ \text{Э лабиальная носовая } C ([m]) \end{array} \right.$	Фе, 45 (III)
V	Э простая носовая C	Э шумная C; количество шумных C не меньше, чем количество простых носовых C	Фе, 45 (IV)
V	Э нейтрализация простых носовых C в некотором предложении	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Э связка (juncture)} \\ \text{или} \\ \text{Э } C \end{array} \right. \left[ \begin{array}{l} \text{после такой} \\ \text{нейтрализации} \\ \text{(в данном пред-} \\ \text{ложении)} \end{array} \right.$	Фе, 45 (V)
V	Э сложная носовая C	Э простая носовая C	Фе, 46 (VI)
V	Э сложная носовая C	Э простая носовая C; количество простых носовых C не меньше количества сложных носовых C	Фе, 46 (VII)
V	Э сложная носовая C	Э простая носовая C; частота встречаемости простых носовых C больше частоты встречаемости сложных носовых C	Фе, 46 (VIII)
V	Э носовая Г	Э простая носовая C	Фе, 46 (X)
V	Э носовая Г	Э неносовая Г; количество неносовых Г не меньше количества носовых Г	Фе, 46 (XI)
V	Э носовая Г	Э неносовая Г; частота встречаемости неносовых Г больше частоты встречаемости носовых Г	Фе, 46 (XII)
V	Э нейтрализация носовых и неносовых Г в некотором предложении	Э носовая C после такой нейтрализации (в данном предложении)	Фе, 46 (XIII)
V	Э компактная носовая C	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Э высокая диффузная носовая } C \\ \text{или} \\ \text{Э низкая диффузная носовая } C \end{array} \right.$	Як, 210

## Продолжение

Квантор универсалии	Условия действия универсалии	Лингвистические явления	Примечания
V	Э противопоставление высоких и низких компактных носовых <i>С</i>	Э противопоставление высоких и низких компактных носовых <i>С</i>	Як, 210
V	Э противопоставление носовых <i>С</i> по некоторому тоновому признаку	Э противопоставление носовых <i>С</i> по всякому такому признаку	
V	Э противопоставление носовых <i>Г</i> по некоторому признаку	Э противопоставление носовых <i>Г</i> по всякому такому признаку	
V	Э огубленная передняя <i>Г</i>	Э огубленная задняя <i>Г</i>	Typ. studies
d	Э фонологическое ударение	Э противопоставление фонем в ударных слогах; количество противопоставлений в ударных слогах не меньше, чем количество противопоставлений в неударных слогах	Са, 53; исключение: некоторые таджикские и сирийские (арабские) диалекты (Фе, 43)
V	{ Э фонологическое слоговое ударение и Э фонологическое противопоставление долгих и кратких <i>Г</i>	либо V противопоставление долгих и кратких <i>Г</i> происходит в ударном слоге либо V ударение падает на долгий слог либо V ударение падает на краткий слог	Typ. studies; Иванов, 36
V	—	Э слог с начальным <i>С</i>	
V	• —	Э слог с конечным <i>Г</i>	Typ. studies
V	—	Э слог структуры: <i>СГ</i>	Retrospect, 655
V	Э слог структуры: <i>СССГ</i>	Э слог структуры: <i>ССГ</i>	
V	Э слог структуры: <i>ГССС</i>	Э слог структуры: <i>ГСС</i>	
V	Э слог структуры: <i>ГСС</i>	Э слог структуры: <i>ГС</i>	Ме, 263
V	Э слог структуры: <i>ГС</i>	Э слог структуры: <i>Г</i>	
V	Э противопоставление <i>С</i> по огубленности	Э противопоставление <i>С</i> по фарингализации	Phonology, 483—484
V	Э противопоставление <i>С</i> по фарингализации	Э противопоставление <i>С</i> по огубленности	

Квантор универсалии	Условия действия универсалии	Лингвистические явления	Примечания
V	E противопоставление C по напряженности	$\left\{ \begin{array}{l} \neg E \text{ противопоставление } C \text{ по интенсивности} \\ \text{и} \\ \neg E \text{ противопоставление } C \text{ по придыхательности} \end{array} \right.$	Phonology, 483—484
V	E противопоставление C по интенсивности	$\left\{ \begin{array}{l} \neg E \text{ противопоставление } C \text{ по напряженности} \\ \text{и} \\ \neg E \text{ противопоставление } C \text{ по придыхательности} \end{array} \right.$	
V	E противопоставление C по придыхательности	$\left\{ \begin{array}{l} \neg E \text{ противопоставление } C \text{ по интенсивности} \\ \text{и} \\ \neg E \text{ противопоставление } C \text{ по напряженности} \end{array} \right.$	
V	E противопоставление C по твердости — мягкости	$\neg E$ политония Г	Sprachbünde
V	E политония Г	$\neg E$ противопоставление C по твердости — мягкости	
V	E боковой кликс	E зубной кликс	Me, 259
V	E зубной кликс	E боковой кликс	
Г р а м м а т и к а			
V	E падеж, такой, что имеет только нулевые алломорфы	E значение S при непереходном V для всякого такого падежа	Гр, 75 (38)
V	E множественное число	E ненулевой алломорф, выражающий множественное число	Гр, 74 (35)
V	E двойственное число	D алломорф, выражающий двойственное число — ненулевой	
V	E тройственное число	D алломорф, выражающий тройственное число — ненулевой	
V	—	$\neg E$ нейтрализация различий по числу в падеже	Гр, 81
V	E морфема числа, морфема падежа, основа N в слове; основа N расположена не между морфемой числа и морфемой падежа	D морфема числа расположена между основной N и морфемой падежа (в данном слове)	Гр, 75 (39)

## Продолжение

Квантор-универсалии	Условия действия универсалии	Лингвистические явления	Примечания
V	Э флексия	Э деривационный элемент	Гр, 73 (29)
V	Э деривационный элемент, флексия, корень в слове; корень расположен не между деривационным элементом и флексией	V деривационный элемент расположен между корнем и флексией (в данном слове)	Гр, 73 (28)
V	Э прерывистая морфема	{ Э префикс или Э суффикс	Гр, 73 (26)
V	{ Э суффикс и Э префикс	{ Э послелог и Э предлог	Гр, 73 (27)
V	{ Э префикс и Э суффикс	{ Э предлог и Э послелог	
P	Э падеж	Э число	Гр, 81
V	Э род	Э число	Гр, 74 (36)
V	{ { Э категория лица у V и (или?) Э категория числа у V или Э категория рода у V	{ Э категория времени у V и (или?) Э категория накло- нения у V	Гр, 73 (30)
V	—	ЭP	Хо, 16 (4.1); Як, 210
V	—	Э три лица у P	Гр, 75 (42); Як, 210; Хо 16 (4.1)
V	—	Э два числа у P	
V	Э род у N	Э род у P	Хо, 16 (4.1); Гр, 75 (43)
V	Э двойственное число	Э множественное число	Гр, 75 (34)
V	Э тройственное число	Э двойственное число	
V	Э противопоставление одушевленного (активного) и неодушевленного (пассивного) классов у N	{ Э форма множест- венного числа у N пассивного класса и Э эргативный па- деж у N пассивного класса	Иванов, 39
P	Э различие по роду во 2-м лице ед. числа	Э различие по роду в 3-м лице ед. чиса	Ме, 259; исключе- ние: ряд языков центральной Ниге- рии

Продолжение

Квантор универсалии	Условия действия универсалии	Лингвистические явления	Примечания
V	Э различие по роду в 1-м лице у <i>P</i>	Э различие по роду во 2-м или 3-м лице у <i>P</i>	Гр, 76 (44)
V	Э различие по роду во мн. числе у <i>P</i>	Э различие по роду в ед. числе у <i>P</i>	Гр, 76 (45)
V	Э различие по роду в неединственном числе	Э различие по роду в ед. числе; количество различий по роду в ед. числе не меньше, чем количество различий по роду в неединственном числе	Гр, 75 (37)
V	Э согласование <i>V</i> с <i>S</i> или <i>O</i> по роду	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Э согласование } A \text{ и } N \\ \text{по роду} \\ \text{и} \\ \text{Э согласование } V \text{ с} \\ \text{этим } S \text{ или } V \text{ по числу} \end{array} \right.$	<p>Гр, 74 (31)</p> <p>Гр, 74 (39)</p>
V	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Э согласо-} \\ \text{вание } V \text{ с } S \\ \text{или } O \\ \text{и} \\ \text{Э } N \text{ в им. па-} \\ \text{деже в функ-} \\ \text{ции } S \text{ или } O \end{array} \right. \text{ (в некотором предложении)}$	Э категория, по которой <i>V</i> согласуется с <i>N</i> в им. падеже (в данном предложении)	Б. А. Успенский, Опыт трансформационного исследования синтаксической типологии, «Исследования по структурной типологии» (в печати)
V	—	Э союз	Принципы, 24; ср. Хо, 17 (43)
V	Э нейтрализация согласования <i>N</i> и <i>V</i> по числу, такая, что порядок слов становится обязательным в предложении	$\left\{ \begin{array}{l} V N \text{ после } V \\ \text{и} \\ V V \text{ в ед.} \\ \text{числе} \end{array} \right. \text{ (в таком предложении)}$	Гр, 74 (33)
V	Э/d/V <i>A</i> после <i>N</i>	V категория <i>N</i> выражена в <i>A</i>	Гр, 75 (40)
d	$\left\{ \begin{array}{l} d S \text{ перед } V \\ \text{и} \\ d O \text{ перед } V \end{array} \right.$	Э падеж	Гр, 75 (44)
d	—	d <i>O</i> после <i>S</i>	Гр, 61 (1); исключение: языки сиуслав, кус (группа пенути); кёр д'ален (салишская группа)
V	$\left\{ \begin{array}{l} d S \text{ после } V \\ \text{и} \\ d O \text{ после } S \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Э } S \text{ перед } V \\ \text{и} \\ \text{Э } O \text{ после } V \\ \text{и} \\ \text{Э предлог} \\ \text{и} \\ \text{Э послелог} \end{array} \right.$	<p>Гр, 63 (6)</p> <p>Гр, 62 (3)</p>

## Продолжение

Квантор универсалии	Условия действия универсалии	Лингвистические явления	Примечания	
d	$\begin{cases} d S \text{ перед } V \\ \text{и} \\ d O \text{ после } V \end{cases}$	$\begin{cases} E \text{ послелог} \\ \text{и} \\ E \text{ предлог} \end{cases}$	Гр, 62 (4); исключение: языки праку (юж. кушитская группа), кхамти (тайская группа), лит. персидский, амхарский	
d	$\begin{cases} d S \text{ после } V \\ \text{и} \\ d O \text{ после } S \end{cases}$	A/d A после N	Гр, 67 (17)	
d	$\begin{cases} E \text{ предлог} \\ \text{и} \\ E \text{ послелог} \end{cases}$	V/d N в род. падеже после N	Гр, 62 (2); исключение: датский, норвежский, шведский	
d	$\begin{cases} E \text{ послелог} \\ \text{и} \\ E \text{ предлог} \end{cases}$	V/d N в род. падеже перед N	Гр, 62 (2)	
v	$\begin{cases} d O \text{ перед } S \\ \text{и} \\ d S \text{ перед } V \\ \text{и} \\ v/d N \text{ в род. падеже} \\ \text{после } N \end{cases}$	V/d A после N	Гр, 62 (5)	
v	$\begin{cases} d S \text{ перед } V \\ \text{и} \\ d O \text{ перед } V \end{cases}$	V Adv перед A	Гр, 63 (7)	
v	E Adv после A	$\begin{cases} d \text{ качественное } A \\ \text{после } N \\ \text{и} \\ d O \text{ после } V \end{cases}$	Гр, 69 (21)	
v	d описательное A перед N	E случай обратного порядка	Гр, 68 (19)	
d	V описательное A перед N	$\begin{cases} V \text{ указательное } P \text{ перед } N \\ \text{и} \\ V \text{ числительное перед } N \end{cases}$	Гр, 68 (18)	
v	E N после указательного P, числительного или описательного A в предложении	$\begin{cases} V \text{ указательное } P \text{ перед числительным} \\ \text{и} \\ V \text{ числительное перед описательным } A \\ \text{и} \\ V \text{ описательное } A \text{ перед } N \end{cases}$	в данном предложении	Гр, 69 (20)

Продолжение

Квантор универсалии	Условия действия универсалии	Лингвистические явления	Примечания
V	E N перед указательным P, числительным или описательным A в предложении	<p>либо</p> <p>V указательное P перед числительным</p> <p>и</p> <p>V числительное перед описательным A</p> <p>и</p> <p>V описательное A перед N</p> <p>либо</p> <p>V указательное P после числительного</p> <p>и</p> <p>V числительное после описательного A</p> <p>и</p> <p>V описательное A после N</p>	в данном предложении Гр, 69 (20)
V	<p>d S после V</p> <p>и</p> <p>d O после S</p>	V вспомогательный V <sup>a</sup> перед V	Гр, 67 (16)
V	<p>d O после S</p> <p>и</p> <p>d O перед V</p>	V вспомогательный V после V	Гр, 67 (16)
V	E относительное выказывание перед N (как единственный или альтернативный вариант)	<p>E послелог</p> <p>и</p> <p>E предлог или</p> <p>V A перед N</p>	Гр, 71 (24)
d	d приложение (собственное N) перед N	V N в род. падеже после N	Гр, 71 (23)
d	d приложение (собственное N) после N	V N в род. падеже перед N	Гр, 71 (23)
V	V O перед V	V форма V, подчиненная основному V, предшествует ему	Гр, 66 (13)
V	E O после V	V форма V в выражениях цели и желания следует за основным V	Гр, 66 (15)
V	d местоименный O после V	d O после V	Гр, 72 (25)
V	<p>d S после V</p> <p>и</p> <p>d O после S</p>	V вопросительное слово в специальных вопросах— в начале предложения	Гр, 65 (12)
d	E/d вопросительная частица, относящаяся ко всему предложению в целом,— в начале предложения	<p>E предлог</p> <p>и</p> <p>E послелог</p>	Гр, 64 (9); исключение: языки тай, йоруба
d	E/d вопросительная частица, относящаяся ко всему предложению в целом,— в конце предложения	<p>E послелог</p> <p>и</p> <p>E предлог</p>	Гр, 64 (9); исключение: литовский

## Продолжение

Квантор универ- салин	Условия действия универсалин	Лингвистические явления	Примечания
V	—	┌ вопросительная частица, относящаяся к некоторому слову в предложении, следует за этим словом	Гр, 64 (10)
V	$\left\{ \begin{array}{l} \underline{\text{д}} S \text{ после } V \\ \text{и} \\ \text{д} O \text{ после } S \end{array} \right.$	┌Э вопросительная частица, относящаяся к определенному слову в предложении	Гр, 64 (10)
V	Э S после V при инверсии	┌ вопросительное слово (фраза) в начальной позиции	Гр, 65 (11)
V	Э S после V при инверсии в общих вопросах	Э S после V при инверсии в специальных вопросах	
д	Э интонационное различие общего вопроса и соответствующего утверждения	┌ дифференциальные интонационные признаки — в конце предложения	Гр, 63 (8)
V	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Э стандарт сравнения}^5 \text{ перед показателем степени сравнения} \\ \text{и} \\ \text{Э показатель степени сравнения перед сравниваемым качеством} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Э послелог} \\ \text{и} \\ \text{┌Э предлог} \end{array} \right.$	Гр, 70 (22)
д	$\left\{ \begin{array}{l} \text{V стандарт сравнения после показателя степени сравнения} \\ \text{и} \\ \text{V показатель степени сравнения после сравниваемого качества} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Э предлог} \\ \text{и} \\ \text{┌Э послелог} \end{array} \right.$	Гр, 70 (22)
V	—	┌ условное предложение перед выводом	Гр, 65 (14)
V	Э указание времени или места	Э указание времени или места в начале предложения	Гр, 81

1 См. С. Д. Кацнельсон, К фонологической интерпретации протоиндоевропейской звуковой системы, ВЯ, 1958, 3.

2 См. В. ч. В. с. Иванов, Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова, ВЯ, 1957, 3, стр. 71 со ссылкой на работу: Е. Д. Поливанов, Некоторые фонетические особенности каракалпакского языка, «Труды Хорезмской экспедиции», Ташкент, 1933, стр. 7—8, прим. 3.

3 Простой носовой согласной фонемой называется фонема, наиболее характерный аллофон которой представлен звонким носовым смычным. Прочие носовые согласные называются сложными и носовыми согласными (см. Фе, 44—45).

4 Под вспомогательным V понимается закрытый (т. е. количественно ограниченный) класс глаголов, выражающих категории лица и числа, которые входят в конструкции с открытым классом глаголов, не изменяющихся по лицу и числу.

5 Под стандартом сравнения понимается предмет, с которым сравнивается объект сравнения.

и кванторы соответственно обозначают:  $\forall$  — «во всяком языке...»,  $\exists$  — «в большинстве языков...» [квантор существования ( $\exists$ ) в этом случае не может использоваться]. Выбор квантора тем самым показывает здесь, применима ли данная универсалия ко всем языкам ( $\forall$ ) или к абсолютному большинству языков ( $\exists$ ).

2. Для характеристики частного лингвистического высказывания относительно некоторых языковых объектов или явлений (например, имплицитного или имплицитного предложений, составляющих универсальное высказывание). В этом случае операндами кванторов являются объекты или явления языка, и кванторы соответственно обозначают:  $\forall$  — «во всех случаях...» или «всякий (-ая, -ое)...»,  $\exists$  — «в большинстве случаев...»,  $\exists$  — «существует...» или «имеется...». Выбор квантора, таким образом, показывает здесь, делается ли данное высказывание (например, имплицитное или имплицитное предложение) относительно всех явлений данного рода ( $\forall$ ), относительно их абсолютного большинства ( $\exists$ ) или же утверждается всего лишь их наличие ( $\exists$ )<sup>23</sup>.

Например, универсальное высказывание « $\forall$  ( $\exists$  род)  $\rightarrow$  ( $\exists$  число)» читается: «во всяком языке, если имеется категория рода, имеется категория числа». Здесь квантор всеобщности относится ко всему универсальному высказыванию, а кванторы существования — к частным лингвистическим высказываниям (посылке и следствию).

Ниже мы приводим список наиболее четко сформулированных универсалий, характеризующихся как индуктивные, собственно лингвистические (а именно: фонологические и грамматические), синхронные (приводим в основном по книге с некоторыми добавлениями из других источников). В приводимом списке универсалий для сокращения, а также для наглядности (дабы была видна структура универсалий) нами используются знаки кванторов (при этом запись не полностью формализована; полностью формализованная запись была бы значительно менее наглядной)<sup>24</sup>.

Таким образом, приводимые универсалии содержат последовательно следующую информацию: 1) сообщается

квантор всей универсалии; 2) сообщается частное лингвистическое высказывание — условие универсалии (имплицитная посылка), которое также характеризуется квантором. В случае, если имплицитного предложения нет (универсалия не есть импликация), ставится прочерк (он читается: «во всяком языке» или «в большинстве языков» — в зависимости от квантора всей универсалии); 3) сообщается частное лингвистическое высказывание — основное содержание универсалии (если универсалия представляет импликацию — имплицитное следствие), которое также характеризуется квантором; 4) сообщаются некоторые дополнительные сведения: а) источник и автор универсалии; в случае, если универсалия имеет у автора специальную нумерацию, последняя приводится в скобках; б) если универсалия статистическая, а не абсолютная (т. е. стоит квантор  $\exists$ , а не  $\forall$ ), могут быть приведены языки, составляющие исключение к этой универсалии.

При записи используем следующие специальные знаки: *N* — существительное, *V* — глагол, *A* — прилагательное, *Adv* — наречие, *S* — (именной) субъект, *O* — (именной) объект, *P* — местоимение, *C* — согласная, *I* — гласная. Союзы *и*, или используются нами в логико-математическом смысле: «или» означает неразделительную дизъюнкцию (ср. союз *and/or* в английском научном языке); разделительная дизъюнкция обозначается союзом *либо... либо...*<sup>25</sup>.

Б. А. Успенский

<sup>25</sup> Сделаем также следующие специальные замечания по системе записи.

В имплицитной или имплицитной частях универсалии утверждения могут относиться ко всему языку (именно: «если в языке есть *X*, в нем есть и *Y*») или же к данному явлению языка (например: «если в предложении языка есть *X*, в нем есть и *Y*»). Первый случай специально не обуславливается, второй же указывается специально.

Когда говорится о порядке некоторых грамматических компонентов (например, *N*, *V*, *A*, *Adv* и т. д.), подразумевается, что эти компоненты не случайны, а связаны в предложении. При этом если говорится о порядке таких членов, как *N* и *N* в род. падеже или *V* и вспомогательный *V*, под немаркированным членом понимается основной (управляющий).

Во всех случаях, когда говорится о порядке, имеется в виду основной порядок (повествовательного предложения); инверсионный порядок оговаривается особо.

Повествовательные предложения специально не отмечаются; вопросительные же предложения помечаются специально.

<sup>23</sup> Отрицание квантора обозначается знаком  $\neg$  (который ставится перед знаком квантора). Например,  $\neg\exists$  обозначает «не существует».

<sup>24</sup> В случае, если универсалия сформулирована неточно и нельзя понять, какой из названных кванторов имеет в виду автор, мы приводим возможные кванторы через косую черту (например,  $\forall/\exists$ ).

**А. М. Щербак.** Огуз-наме. Мухаббат-наме. Памятники древнеуйгурской и староузбекской письменности. — Изд-во восточной литературы, М., 1959. 172 стр.

**А. М. Щербак.** Грамматический очерк языка тюркских текстов X—XIII вв. из Восточного Туркестана. — Изд-во АН СССР, М.—Л., 1961. 204 стр.

В течение последних десяти лет картина общего направления деятельности советских тюркологов, ранее занимавшихся преимущественно разработкой практических вопросов, изменилась: твердо наметился курс не только синхронического, но и диахронического изучения тюркских языков. Среди многих задач, стоящих перед советской тюркологией, выделяются следующие: лексико-грамматическое изучение памятников тюркской письменности и создание сравнительно-исторической грамматики тюркских языков.

Особый культурно-исторический и лингвистический интерес представляют памятники тюркских литературных языков Средней Азии, известных под династическим названием *караханидских*, или этническим — *карлукско-уйгурских* (XI—XIII вв.), и *золотоордынских* (XIII—XIV вв.). Изучению двух важных памятников, относящихся к карлукско-уйгурской традиции — «Огуз-наме» — и золотоордынской — «Мухаббат-наме» (по уйгурской рукописи)<sup>1</sup> посвящено рецензируемое исследование А. М. Щербака.

Развитием и углублением этой линии тюркологических исследований является другая рецензируемая работа А. М. Щербака «Грамматический очерк языка тюркских текстов X—XIII вв. из Восточного Туркестана». Историко-грамматические штудии находят подкрепление во все возрастающем интересе советских тюркологов к исследованию тюркской лексики в историческом плане<sup>2</sup>.

Легенда об Огузе, древнейшая версия которой дошла до нас в рукописи Парижской национальной библиотеки, давно привлекала внимание тюркологов (В. В. Радлов, В. Банг, Р. Р. Арат, П. Пелльо, Риза Нур), в трудах которых этот памятник получил обстоятельное лексико-грамматическое истолкование. А. М. Щербак поставил «перед собой другую задачу — определить место данного памятника в истории развития узбекского язы-

ка» (стр. 14). Восстановление — после длительного перерыва — русской традиции изучения сказания об Огузе, начало которой было положено В. В. Радловым в 90-х годах прошлого столетия, настоятельно требовало включения в исследование особой главы, посвященной истории изучения памятника, которую, конечно, не может заменить краткое предисловие с перечислением в сносках основной литературы предмета (стр. 13—14).

В главе «Описание уйгурской рукописи сказания об Огузе. Варианты *Огуз-наме*» приводится краткое внешнее описание списка сказания (стр. 15—16). Значительный интерес представляет перечень рукописей, содержащих различные варианты сказания об Огузе (стр. 16—21). Сведения о вариантах «Огуз-наме» (стр. 20—21) следует дополнить указаниями на наличие семи списков «Шаджара-и таракима»<sup>3</sup>, а также на работы Орхана Шайка Гёкьяя, Э. Росси, Кызыюглу М. Фахреттина, Мухаррема Эргина, В. Рубева, А. Демирчизаде и других<sup>4</sup>. Опираясь на данные, приведенные этими исследователями, можно было бы составить ясное представление о распространении легенды об Огузе, о развитии этого сюжета в огузском эпосе «Книга моего деда Коркута» и о месте «Огуз-наме» в огузской эпической традиции.

Издание текстов старотюркских памятников в транскрипции является одним из труднейших видов филологической

<sup>3</sup> А. Н. Кононов, Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази хапа хивинского, М.—Л., 1958, стр. 25—29. Сведения о различных попытках этимологизировать имя Огуза см. там же, стр. 82—84, примеч. 31.

<sup>4</sup> Orhan Şaik Gökyaу, Dede Korkut, İstanbul, 1938 (здесь приведен интересный список Огуз-наме, хранящийся в стамбульском музее «Топ Капу»); E. Rossi, II «Kitāb-i Dede Qorquṭ». Racconti epico-cavallerchi dei Turchi Oguz tradotti e annotati con facsimile del Ms. Vat. turco 402, Città del Vaticano, 1952; Kirziloğlu M. Fahrettin, Dede-Korkut oğuznameleri. I. kitap, İstanbul, 1952; Muharrem Ergin, Dede Korkut kitabı. I, Ankara, 1958; W. Ruben, Ozean der Märchenströme. I, Helsinki, 1944, стр. 193—271; А. М. Демирчизаде, Язык дастанов «Китаби Дед Коркут», Баку, 1959 [на азерб. яз.]; см. также: «Книга моего деда Коркута». Огузский героический эпос, перевод акад. В. В. Бартольда, издание подготовили В. М. Жирмунский, А. Н. Кононов, М.—Л., 1962.

<sup>1</sup> Изучению «Мухаббат-наме» (по арабской рукописи) посвящена книга: Хорезми, Мухаббат-наме. Издание текста, транскрипция, перевод и исследование Э. Н. Наджиба, М., 1961. Факсимиле и транскрипция уйгурской рукописи опубликованы в работе: T. Gandjei, II «Muhabbat nāma» di *Hörazmī*, «Annali dell'istituto Universitario Orientale di Napoli». Nova serie, 6, 1957.

<sup>2</sup> См. сб. «Историческое развитие лексики тюркских языков», М., 1961.

работы, что объясняется недостаточной разработанностью исторической фонетики как отдельных тюркских языков, так и групп языков тюркской семьи. В силу этого тюркологи вынуждены часто прибегать к способу передачи текста, писанного рунами, уйгурскими или арабскими буквами, посредством литер русского или латинского алфавита, причем эта передача часто оказывается ближе к транслитерации, чем к транскрипции. Не имея сколько-нибудь серьезных возражений против воспроизведения текста «Огуз-наме», как и «Мухаббат-наме» русской академической (радловской) азбукой (с дополнениями) в том виде, как это сделано А. М. Щербак, замечу, что естественно было бы хотя бы кратко сказать о методе передачи уйгурского текста русскими буквами; это особенно важно в свете того факта, что транскрипция текста у А. М. Щербака значительно отличается от транскрипции В. Банга — Г. Р. Рахмати (Арата)<sup>5</sup>.

Переходя к рассмотрению перевода, естественно поставить вопрос: каким условиям должен удовлетворять перевод памятника? Перевод памятника должен рассматриваться как одна из разновидностей технического перевода, в котором особое значение придается строгому соответствию социально-политической терминологии (причем предпочтительнее сохранять термины оригинала, снабжая их пояснениями), точной передаче личных, этнических и географических имен, точному отображению реалий быта и общественной жизни и т. п. Таким образом, речь идет о разновидности технического перевода, которую иногда именуют филологическим переводом. Филологический перевод, кроме строго адекватной передачи «технических» терминов, должен удовлетворять особой мере точности перевода, разумея под последней строгое соответствие содержания и лексико-грамматической формы подлинника таковому же перевода.

Применяя этот критерий к переводу сказания об Огузе, следует заметить, что перевод А. М. Щербака выполнен на высоком филологическом уровне, хорошим русским языком и может быть уточнен лишь в отношении некоторых деталей.

1, V<sup>6</sup>: «Лицо ребенка было голубым»; следует: «Лицо ребенка было бледным»<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> См. W. Bang, G. R. Rachmati, Die Legende von Oghuz Qaghan, Berlin, 1932 (Sonderausgabe aus den «Sitzungsberichten der Preussischen Akademie der Wissenschaften», Phil.-hist. Klasse, XXV, 1932).

<sup>6</sup> Строчки в книге обозначены арабскими цифрами, строки — римскими.

<sup>7</sup> См.: I. Laude-Cirtautas, Der Gebrauch der Farbzeichnungen in den Türkdialekten, Wiesbaden, 1961, стр. 80.

1, VI: «Глаза [ребенка были] алыми» следует: «Глаза [ребенка были] карие»<sup>8</sup>.

5, III: «копьем пробил череп»; строго по тексту: «Копьем ударил по голове».

8, IX: «Под покровом дерева» вместо «В дуле дерева». Замечание А. М. Щербака на стр. 71: «Этимология слова *кабулак* не совсем ясна — в свете совершенно убедительного истолкования формы и значения этого слова Пеллио, а также Бангом — Рахмати<sup>9</sup> — следует считать досадным недоразумением.

9, IV: «волосы — подобные течению реки»; здесь нельзя оставить без внимания перевод В. В. Радлова: «ее волосы уподоблялись рекам и ручьям»<sup>10</sup>, т. е. *муран усуби* он, видимо, рассматривал как парное (синонимическое) словосочетание: «реки большие и малые», что подтверждается удачной догадкой А. М. Щербака (стр. 72), который в слове *усуби* видит «контаминацию монгольской формы *усу(н)* и древнеуйгурской *суб*».

11, I—II: «Сорок столов, сорок скамей заставили вырубить»; по В. В. Радлову (стр. 23), Пеллио (стр. 284) и Бангу—Рахмати (стр. 11 [691]): «...заставил сделать»; ср. еще 31, VII: «вырубил телегу», следует: «сделал телегу»; то же 32, II.

11, IX—12, I: «будь железными копьями лес»; по Бангу — Рахмати (стр. 11 [691]): «железные копь (пусть) будут многочисленны» как лес.

12, I: «в заповедных местах»; следует: «в местах охоты».

13, VIII: «в правой стороне»; может быть: «на юге» (?).

18, VI: «около черной горы»; вероятнее — «около большой, или северной, горы», так как слово *кара* в тюркском фольклоре, кроме значения «черный, дурной, несчастный», означает также «северный; главный, большой, могучий»<sup>11</sup>.

23, IX: «один дородный бек»; 28, IX: «один прекрасный муж»; речь идет о семантике слова *jakui* «хороший», которое употребляется также в значении «знатный» (ср. монг. *sayin*, мн. число *sayid*)<sup>12</sup>, следовательно: «один

<sup>8</sup> См. W. Bang, G. R. Rachmati, указ. соч., стр. 7 [687].

<sup>9</sup> P. Pelliot, Sur la légende d'Uzuz-Khan en écriture ouigoure, T'oung Pao, XXVII, 1930, стр. 270—281; W. Bang, G. R. Rachmati, указ. соч., стр. 28 [708], примеч. 72.

<sup>10</sup> В. В. Радлов, К вопросу об уйгурах. «Приложение к LXXII-му тому Зап. Имп. Акад. наук № 2», СПб., 1893, стр. 22.

<sup>11</sup> См. O. Pritsak, Qara. Studie zur türkischen Rechtssymbolik, «Z. V. Togan'a armağan», İstanbul, 1955, стр. 239—263; I. Laude-Cirtautas, указ. соч., стр. 33—34.

<sup>12</sup> См. Б. Я. Владимирцов, Общественный строй монголов, Л., 1934, стр. 139.

знатный бек»; у Банга — Рахмати: «один дельный (lühitig) бек», «один знатный, красивый муж».

26, I: «Взобрался Огуз-каган на чубарого жеребца»; следует: «Огуз-каган обычно ездил (имел привычку ездить) на пегом (чубаром) жеребце». Предложенное А. М. Щербакom чтение: *чокур ман айыр* вместо: *чукур-дан айыр* (Пеллю, стр. 325), *чокур-дын айыр* (Банг — Рахмати, стр. 16 [696], стих. 226), требует более убедительной аргументации, чем приведенная на стр. 81.

30, I—III: «Огромное владение и [многочисленный] народ. Много скота, волов и много телят, много золота и серебра, много драгоценностей». Лучше: «Большой *юрт* (= «место для кочевков» > «страна») и [большой] народ. Лошадей у них было много, волов, телят у них — много, золота, серебра у них — много, драгоценностей у них — много».

32, I: «видели это и поспелили»; следует: «(у)видели это и удивились» (см. Радлов, стр. 26; Банг — Рахмати, стр. 21 [701]).

32, VII: «Пусть живая добыча телегами волочит добро»; следует: «Пусть живое мертвое на телегах везет, т. е. пусть пленники везут на телегах захваченное добро»; ср. 31, VIII—IX, где перевод должен быть: «На телегу положили мертвое добро, во главе телеги (=вырягли в телегу) поставили живую добычу» (т. е. пленников).

33, II: «в сторону Индии (?)...»; в тексте слово *Синду*, которое с известной долей вероятности можно идентифицировать с топонимом Синд — областью, лежащей в низовьях р. Инда и примыкающей к Белуджистану.

«Лексико-грамматический комментарий» (стр. 64—87) содержит много ценных замечаний и точных наблюдений, значительно продвигая вперед и дополняя наши представления о языке этого памятника; однако при общей оценке нового труда не следует упускать из вида, что П. Пеллю, Банг — Рахмати и Риза Нур внесли значительный вклад в изучение сказания об Огузе вообще и его лексики и грамматики, в частности. Остановлюсь на некоторых из примечаний.

Стр. 66 (2, 1): «Этимология слова *сўрма* ясна, хотя здесь же сказано: *сўрмак* «гнать водку», таким образом, *сўрма* («само)гонка»; ср. *сурма* «вино», «пшеничная водка» (*сўр* — «гнать водку»)¹³. П. М. Мелиоранский закономерно сопоставляет *сўрмак* с *сўмак* «цедить; очищать»¹⁴.

Стр. 72 (11, I): *ширә* «стол»; наиболее вероятное сопоставление с монгольским письменным *ширә* «кожи, шкура (ср. арабск. *софра* «кожа» > «обеденный стол»), служившая подстилкой и заменявшая стол».

Стр. 73 (11, VIII): слово *тамга* «знак, печать», по весьма правдоподобному предположению турецкого филолога А. Дж. Эмре восходит к глаголу *там* — «раскалять, жечь»¹⁵.

Стр. 75 (13, I): форма *Tilāb mān турур* объясняется инверсией на *Tilāb турур mān*. Однако наличие в том же тексте формы *тутмас ман турурман* (15, IV) заставляет усомниться в правильности приведенного выше объяснения; возможно, что таким был один из этапов грамматикализации глагола *тур* — «стоять».

В качестве общего замечания к этому разделу следует сказать, что ряд сложных и очень важных для истории морфологии тюркского глагола форм остался без объяснения, причем особенности их значения не получили отражения в переводе; к ним относятся: *бакар турур болса* (13, II); *бакмас турур болса* (13, IV); *баріб турур арди* (16, VII); *йёрёр болман* (17, II); *баріб бујурмуш болуб турур* (22, V); *барә турур әрдиләр әрди* (32, III—IV) и др.

В главе «О содержании Огуз-наме» (стр. 88—100) А. М. Щербак отмечает: «Особого внимания заслуживает эпизод (связанный с каким-то обрядовым представлением), в котором говорится о расстановке (! — А. К.) деревьев с золотой и серебряной курицами на вершинах и о белой и черной овцах» (стр. 89). В связи с этим представляет интерес описание пира у Күн-хана, который завершается состязанием в стрельбе из лука, у Абу-л-Гази (в «Родословной туркмен» и в «Родословной тюрков») читаем: «По приказу хана, мчась на конях, бузукы со своими нукерами стреляли в золотую курицу [укрепленную на столбе в сорока маховых саженах.— А. К.], [а] учуки со своими нукерами стреляли в серебряную курицу. Тех, кто попал в курицу, он [т. е. хан.— А. К.] щедро одарил»¹⁶. Это последнее пояснение в «Сказании об Огуз-хане» (стр. 62) опущено. Охота, равно как и стрельба в цель, являлись одним из основных видов подготовки воинов. Целью для меткого выстрела, кроме курицы (и, вероятно, охотничьей птицы), служили также тыквы, укрепленные на высоких столбах¹⁷.

Объяснения «Имен собственных и эт-

¹³ Ahmet Cevat Emre, Türk dilbilgisi, İstanbul, 1945, стр. 174.

¹⁴ А. Н. Кононов, Родословная туркмен..., стр. 50.

¹⁷ Основная литература по этому вопросу приведена в кн.: А. Н. Кононов, Родословная туркмен..., стр. 91, примеч. 89.

¹³ А. М. Щербак, Грамматический очерк языка тюркских текстов X—XIII вв. из Восточного Туркестана, стр. 108.

¹⁴ П. М. Мелиоранский, Араб филолог о тюркском языке, СПб., 1900, стр. 097.

ныческих наименований» (стр. 92—97), встречающихся в сказании об Огузе, в общем находятся на уровне современных знаний.

Словосочетание *Бармаклуб Джосун Биллиг* — имя одного из героев сказания, — по мнению А. М. Щербака (стр. 96), «по-видимому, означает: „на ходу знающий (пропикающий в существо вещей“»; в полном соответствии с грамматикой и контекстом это словосочетание может значить только «знающий способ(ы) (пере)движения»; *бармак* + *луб* — имя действия (распространенный инфинитив), передающее возможность, способность к совершению действия, выраженного основой глагола.

Географические названия (стр. 97—100), встречающиеся в тексте сказания немногочисленны, однако все они имеют строго определенное значение, отражая «географическую действительность», порой давно забытую. Одной из загадок (пока нерешенных) является «страна Барак(а)» (33, VIII), которая находится «в стороне ясного дня (=на юге)». К комментарию на стр. 98 к слову *барак(а)* следует добавить, что под именем *Барак* ~ *Борак* известен легендарный царь и ряд исторических личностей<sup>18</sup>.

Что касается отождествления *Шадам* = *Шам* «Сирия» (стр. 97, 101), то, принимая его как возможное, следует искать и другие более убедительные, чем приведенное на стр. 101, доказательства.

Касаясь главы, посвященной определению языка сказания, времени и места написания (стр. 101—107), следует признать заслуживающим внимания доводы Риза Нура в пользу древности текста сказания (а именно — наличие заднеязычного *з* в позиции между гласными твердого ряда) и нельзя согласиться с выдвинутой А. М. Щербаком точкой зрения, в соответствии с которой этот заднеязычный согласный происходит из хамзы, при помощи которой переписчик якобы отмечал «шумный разрыв в месте возникновения заместительной долготы. При составлении списка хамза могла быть воспринята переписчиком как *гайн* и соответствующим образом обозначена в написании уйгурского списка» (стр. 104). Указание на то, что «раздельное или во всяком случае долгое произношение смежных гласных действительно имело место в XII—XIV вв.» (стр. 104), не может служить подтверждением вышеизложенного предположения, а, пожалуй, наоборот свидетельствует о развитии *каан* < *каван*. Возможно, как и предполагает А. М. Щербак, наличие *з* следует объяснить языковой принадлежностью переписчика данного списка:

по мнению Щербака, он был «представителем джекающего диалекта, вероятнее всего карлуком» (стр. 105).

В заключительном разделе, где язык сказания рассматривается в свете проблемы староузбекско-карлуко-уйгурских языковых связей (стр. 108—110), для решения которой необходимо проделать большую подготовительную работу, пока еще не выполненную, А. М. Щербаку в силу недостаточности фактических данных пришлось ограничиться некоторым общим обзором известных положений. Признавая, что А. М. Щербак внес много нового в изучение «Огузнаме», нельзя, однако, утверждать, что ему полностью удалось выполнить поставленную задачу «определить место данного памятника в истории развития узбекского языка» (стр. 14), так как попытка решить эту задачу должна предшествовать другой, более трудная работа по воссозданию истории развития узбекского языка. Этой важной задаче посвящена новая работа А. М. Щербака «Грамматика староузбекского языка» (М.—Л., 1962).

Вторым памятником, который исследуется в рецензируемой книге, является «Мухаббат-наме» (по уйгурской рукописи) — поэма, написанная в 1353 г. неизвестным автором, пользовавшимся тахаллусом Хорезми. «Мухаббат-наме» известна в двух воспроизведениях: арабскими и уйгурскими письмами. Это сочинение имеет большое значение как для истории тюркоязычных литератур, так и для истории золотоордынского тюркского языка (с центрами в низовьях Сыр-Дарьи и в Хорезме, в XIII—XVI вв.), а также, как справедливо указывает А. М. Щербак (стр. 113), для выяснения взаимоотношений тюркских литературных языков Средней Азии: караханидского, золотоордынского, чагатайского.

Охарактеризовав вкратце переписанный уйгурским шрифтом рукописный сборник староузбекских текстов (стр. 115—123), в состав которого входит и «Мухаббат-наме»<sup>19</sup>, и сообщив необходимые сведения об уйгурском списке «Мухаббат-наме» и других списках (стр. 124—127), А. М. Щербак дает транскрипцию текста уйгурской рукописи (стр. 128—149). А. М. Щербак проделал весьма полезную работу, сверив уйгурский список

<sup>19</sup> Переписчиком этого сборника был Мансур-бахши; замечу, кстати, что говоря о слове *бахши*, которое, как пишет А. М. Щербак, «очевидно, происходит из санскр. *bhikshu*» (стр. 117), следовало бы добавить, что некоторые ученые не с меньшим основанием относят его к китайскому прототипу *pâk + ši* (> *pošî*); см., например: A. v. G a b a i n, Alt-türkische Grammatik, Leipzig, 1950, стр. 300.

<sup>18</sup> Подробнее см. А. Н. Кононов, Родословная туркмен..., стр. 86, примеч. 44.

«Мухаббат-наме» с арабским и указав в ссылочном аппарате разночтения; таким образом, получился своеобразный с в о д н ы й текст этого сочинения. Точно такую же работу (в обратном порядке: от арабского списка к уйгурскому) проделал Э. Н. Наджип<sup>20</sup>.

При сравнении этих двух изданий резко бросается в глаза различие в чтении (транскрибировании) текста, проявившееся даже в выборе транскрипционной азбуки; совершенно естественно возникает вопрос о необходимости разработать принципы издания подобных текстов, в первую очередь разработать методы и способы транскрибирования старотюркских текстов<sup>21</sup>.

Перевод А. М. Щербака с достаточной точностью воспроизводит оригинал, хотя, конечно, придирчивый критик мог бы найти некоторые спорные места в переводе; до сих пор при научном (филологическом) переводе на русский язык тюркских текстов (сама проблема которого, кажется, никогда не была предметом специального изучения) единственным критерием остается личный вкус переводящего, в чем убеждает, например, сопоставление переводов А. М. Щербака и Э. Н. Наджипа, каждый из которых, дает адекватный перевод подлинника, по-русски звучащий совершенно различно.

В заключительном разделе (стр. 167—170) книги А. М. Щербака на основании анализа языка памятника в осторожной форме делается важное заключение: в «Мухаббат-наме» «пожалуй, преобладают огузские элементы. Может быть, поэтому следует говорить о двух разнородностях золотоордынского литературного языка, ориентирующихся на разные диалектные группы» (стр. 170). Этот вывод подлежит еще дальнейшему изучению, так как «преобладание огузских элементов», может быть, явилось следствием таких обстоятельств, как исправления, внесенные переписчиком, и т. п.

\*

Перейдем к рассмотрению «Грамматического очерка...» А. М. Щербака, задачи которого сам автор определил во «Введении» следующим образом: «Настоящая работа посвящается описанию фонетики и морфологии древних карлукско-уйгурских языков,— точнее диалектов, так как в отношении периода с X по XIII вв. неправомерно говорить об узбекском или уйгурском языках как таковых» (стр. 10). Думаю, что не следовало бы делать

эту оговорку, так как труднее доказать обратное — восходят ли карлукская и уйгурская языковые общности к единому источнику — языку, ответвлением (диалектом) которого они, по А. М. Щербаку, являются. Их тогдашнее отношение друг к другу мало чем отличается (в чисто лингвистическом плане) от их современного отношения.

Далее автор кратко останавливается на очень важной проблеме «близости языковых норм на территории юго-востока Средней Азии и Восточного Туркестана», которая возникла в результате «политической общности группы восточнотуркестанских племен внутри каганата караханидов и отчасти в пределах улуса Чагатая» (стр. 10). Позднее то, что «в указанное время пребывало в состоянии относительного единства», «оформилось в группу самостоятельных, обособленных языков». Далее делается следующее принципиальное заключение: «Этот относительно единый язык мы называем восточнотуркестанским и противопоставляем его языку огузов и кыпчаков X—XIII вв.» (там же). С этим важным положением можно согласиться только в том случае, если добавить, что речь идет об относительном единстве языка памятников литературы, т. е. литературного языка, возникшего на территории (юго-восток Средней Азии и Восточный Туркестан), которая (в XI—XII вв.) объединилась в довольно прочное единое политическое целое. Много полезных сведений читатель найдет во «Введении» (стр. 9—30), где ставятся вопросы, связанные периодизацией развития восточнотуркестанской общности и с ее составом, рассматриваются диалекты восточнотуркестанского языка, источники — преимущественно карлукские.

В главе I «Фонетика» (стр. 31—74) в разделе «Гармония гласных» высказано важное предположение о том, что «Разновидностью губного типа гармонии являлось соотношение гласных *a* — *y* (*ä* — *ü*), в котором гласный *a*, как мы предполагаем, факультативно мог быть лабиализованным» (стр. 38). Это предположение не подкреплено, однако, соответствующими аргументами, а между тем оно ведет нас к одной из важнейших проблем исторической фонетики тюркских языков — к объяснению «оканья» в тюркских языках, которое, как признают многие авторитетные тюркологи, возникло в определенных позиционных условиях<sup>22</sup> (заметим, что примеры, приведен-

<sup>20</sup> См. его издание: Х о р е з м и, Мухаббат-наме, стр. 27 и сл.

<sup>21</sup> Подготовительная работа уже осуществлена, см. Н. А. Б а с к а к о в, О проекте единой фонетической транскрипции для тюркских языков, М., 1959.

<sup>22</sup> Подробнее см. В. В. Р е ш е т о в, К вопросу об оканье в тюркских языках, «Изв. АН КазССР». Серия филологии и искусствознания, 1—2 (8—9), 1959; Ф. А б д у л л а е в, К вопросу об оканье в узбекском языке, «Узбек диалектология сидан материаллар». I, Ташкент, 1957, стр. 263—267.

ные на стр. 38, не соответствуют этим условиям). Губная аттракция в аффиксах объясняется качеством согласных, как правило, это — губные (*п, б, в, м*), переднеязычные сонорные (*п, л, р*), заднеязычный сонорный (*п*); это положение вполне подтверждается примерами А. М. Щербака (стр. 38). Что касается предположения о том, что губная гармония обязана своим происхождением качеству гласного *a* (*ä* — лабиализованное), то оно фактически снимается другим вполне оправданным утверждением: «Позиционный и в данном случае регрессивный характер перехода *a* в *o* в древних памятниках свидетельствует о некоторой доле местного вклада в процесс образования современного узбекского „оканья“» (стр. 42).

При общем высоком научном уровне работы странным кажется использование такого термина как «вставочные» звуки (стр. 69—70), к которым отнесены согласные *ш, р, с, і, н*; заключение слова «вставочный» в кавычки не меняет дела: в современной тюркологической литературе существует вполне определенная точка зрения на происхождение аффиксов *-(ш)арі-(р)ар, -(с)ы, -(і)а, -ы(и)*. На толковании некоторых положений, связанных с общими проблемами фонетики тюркских языков не могло не отразиться то обстоятельство, что в работе А. М. Щербака оказались не использованы новейшие сводные работы по фонетике тюркских языков<sup>23</sup>.

Глава II «Морфология» (стр. 75—195) начинается утверждением, что «на основе учета морфологических данных, а именно — закономерностей сочетания одних языковых единиц с другими языковыми единицами того же самого или иного уровня, можно установить наличие трех частей речи (имени, глагола, наречия) и трех частей речи (собственно частиц, послелогов, союзов)» (стр. 75). Однако под закономерностями сочетания языковых единиц следует понимать (как единственно возможное) не «морфологические данные», а синтаксические закономерности. Тут же сказано: «Имя отличается от других частей речи тем, что имеет формы падежа»; к этому строго необходимо добавить — а также формы (категории) числа, принадлежности, оп-

ределенности и неопределенности. Не аргументировано включение в состав наречия двух групп слов — «обстоятельственных и образовательно-экспрессивных слов» (стр. 75). Обстоятельные слова — понятие чисто синтаксическое; образовательно-экспрессивные (или звуко-образообразительные) слова теперь в советской тюркологии, как правило, выделяются в особую часть речи; после целого ряда уже опубликованных работ на эту тему<sup>24</sup> странно читать: «Образовательно-экспрессивные слова входят в систему языка как несколько необычные, и породные элементы» (стр. 178; разрядка моя.— А. К.), включающие «образные слова, междометия и призывные слова» (стр. 178).

Среди многочисленных — как правило хорошо подобранных — примеров и убедительных этимологий встречаются и такие, которые вызывают возражения: отмечу некоторые из них. Стр. 65 *тамба* «знак, печать» выводится из формы *таб-ма*; на деле же последняя форма сама есть следствие метатезы: *тамба* < *там-* (см. об этом выше); стр. 66: *калкан* переводится как «меч», следует: «шит» (ср. стр. 79); стр. 77: *таб таи* «горный камень», следует: «горы; гористая местность». Стр. 85: «Исходный для аффикса *-ба* (дат. падеж.— А. К.)... мы считаем аффикс *-бару*... Особое происхождение имеет аффикс *-ра, -рә*... Аффикс *-ра* передавал только направительные (разрядка моя.— А. К.) значения, в то время как содержание аффикса *-бару* было несколько шире. После распада *-бару* [на *ба* (*бар*) и *ру*] последний компонент его контаминировался с аффиксом *-ра* и сузил значение. Напротив, первый компонент расширил свои функции». Эта умозрительная схема не учитывает ряда общепризнанных положений: аффикс *-бару* < *-га* (дат. падеж) + *-ру* (послелог-аффикс направления, который служил уточнением значения дательного падежа; аффикс *-бару* имел значение «вплоть до...»); как известно, аффикс *-ра, -рә* имел не только направительное, но и локативное значение, что сближает его функционально и фонетически с аф-

<sup>24</sup> Из многочисленных работ (изданных до 1959 г.), исследующих эту часть речи в тюркских языках (Н. К. Дмитриев, А. И. Исхаков, С. Кудайбергенов, Ш. Сарыбаев, Л. Н. Харионов, М. Худайкулиев, Б. М. Юнусалиев, К. Брокельман, Г. Марчанд, Г. Рамстедт и др.), упомянута лишь одна работа Н. И. Ашмарина (всего у него на эту тему — шесть работ) и статья М. Фазылова «Образительные слова в современном таджикском языке» (стр. 180) и по необъяснимым причинам не упомянута монография на эту же тему последнего автора, изданная в 1958 г.

<sup>23</sup> См., например: «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков». Ч. I — Фонетика, М., 1955; М. Ряснянин, Материалы по исторической фонетике тюркских языков, М., 1955; J. Deny, Principes de grammaire turque («turk» de Turquie), Paris, 1955; G. J. Ramstedt, Einführung in die altaiische Sprachwissenschaft. I — Lautlehre, Helsinki, 1957; A. H. Metcev, Türk lehçelerinin mukayeseli grameri (İlk deneme). I — Fonetika, İstanbul, 1949.

фиксом местного падежа (-ра : -да), который в свою очередь, что отмечает и А. М. Щербак, употребляется также «в значении направительного» падежа (стр. 81). Значение аффиксов -ра и -ру и их фонетических вариантов обстоятельно исследовано в работе покойного польского алтаиста М. Левицкого<sup>25</sup>.

Отмечая совершенно справедливо, что притяжательный (родительный) падеж «является всего лишь одним из средств выражения двусторонней связи имен», А. М. Щербак замечает: «Примеры, допускающие трактовку -ниң, -ниң как падежной формы, немногочисленны, см. КР: *мәниң әлтам* „в моей стране“ (15); МК, III: *бизниң әв* „наш дом“ (370)...» (стр. 86). Исходя из обычно принятого определения падежа, формы *мәниң, бизниң* и им подобные не могут быть признаны формой функционального (или конкретного) падежа, так как эти формы не обусловлены ни формой, ни значением следующего за ними слова.

Говоря о так называемом «вставочном» -н-, автор замечает: «Можно предположить, что указанный звук является остатком древней падежной формы...» (стр. 91). По вопросу о природе местоименного («вставочного») -н- существует большая литература; следовало бы наряду со своим предположением сообщить и гипотезы других. Замечу, кстати, что забвение своих предшественников по исследованию основных разделов тюркской морфологии засвидетельствовано и на стр. 98—99, где речь идет о происхождении аффиксов принадлежности (не приняты во внимание работы Я. Экмана и К. Менгеса по «Грамматике» Мехди-хана, С. С. Майзеля о турецком изафете и нек. др.). Недостаточно полно использованы работы по морфологии тюркских языков Г. И. Рамstedта, М. Рясненна, А. фон Габен, К. Броккельмана, Ж. Дени, А. Зайончковского).

«Следующая» форма интенсива, образуемая при помощи аффикса -шин, -шин, выражает неполноту признака, — полагает А. М. Щербак (стр. 115). На самом деле уменьшительный аффикс -шин /-чин/ -си(н) сообщает основе ослабление качества, неполноту признака и не обладает качествами интенсива.

На стр. 121 утверждается, что «Форма порядковых числительных на -ланчи, -ләнчи известна только из тefsира», в «Кутадгу билиг» этот аффикс встречается в форме -ланчи/-ләнчи. Форма на -бу/-гү

не может быть сближена с аффиксом числительных собирательных (стр. 132), так как последний восходит к форме на -абун. На стр. 132 А. М. Щербак отмечает: «Иногда форма на -мак сближается с причастием ... и выступает в предложении в качестве определительного члена. Примеры. КР: *куртулмак юльза тәгинәлим* „пойдем-ка по дороге освобождения (?)“». Следует заметить, что форма на -мак имеет в подобной позиции супинальное значение: *чакмак таш* «камень для высечения огня»; *куртулмак јол* «дорога для освобождения // к освобождению»<sup>26</sup>; стр. 140: аффикс -ма, -мә рассматривается как «стягивающая разнородность аффикса -ьма <-мә. Всегда считалось, что аффикс -ьма <-в + -ма (<-м + -а)»<sup>27</sup>.

А. М. Щербак придерживается той точки зрения, что глагольного вида в восточнотуркестанском языке нет (хотя соответствующий раздел его работы называется «Формы вида») и что композиты типа *бара көр* и *бара көр* представляют собою составные глаголы, вторые компоненты в которых выступают с ослабленным лексическим значением, передавая разнообразие оттенки действия, «иногда не имеющие никакого отношения к виду, ср. *бара көр* „иди“, букв. „смотри иди“ (оттенок предупредительности)» (стр. 153). К сожалению, «разнообразные оттенки действия», которые соотносятся значению первого компонента модифицирующим глаголом (второй компонент), оказались не вскрыты. Сочетание деепричастия на -а + глагола *көр* обозначает попытку совершения действия: *бара көр* «попробуй пойти!», «попытайся пойти!». Вызывает возражение также положение автора о том, что некоторые причастия и деепричастия сами по себе могут выражать видовые значения (стр. 154).

Слово *бәри* «от; с» на стр. 159 рассматривается как деепричастие глагола *бәр* «давать». В то же время *бәри* на стр. 189 сопоставляется (правда, под знаком вопроса) с *бу јәрјү* (что в свою очередь сопоставляется с узбекским *бујан* = *бу эюта* + *јан* «сторона»). По Ж. Дени<sup>28</sup>, *бәри* < *бән* + *гә* + *ри*.

Рассматривая «аффиксы страдательного залога» -(i)k, -сiк, -тук, А. М. Щербак считает, что они «мало различаются в формальном отношении и имеют общий элемент -iк (-i)k, -iк (-i)k). Звуки с и т при этом, очевидно, выступают в качестве дополнительных морфологических наращений (стр. 166). Как известно, выясне-

<sup>25</sup> M. Lewicki, *Przyrostki przysłówkowe -ra ~ -rә, -ru ~ -rү, -ri ~ -ri w językach altajskich*, Wilno, 1938; см. также Э. В. Свортян, Категория падежа, в кн. «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков». Ч. II — Морфология, М., 1956, стр. 58—61.

<sup>26</sup> См. Г. И. Рамstedт, Введение в алтайское языкознание. Морфология, М., 1957, стр. 101.

<sup>27</sup> См. Г. И. Рамstedт, указ. соч., стр. 101, 125.

<sup>28</sup> J. Deny, *Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli)*, Paris, 1921, стр. 616.

нием значения аффикса *-ik* занимался ряд тюркологов. В. Банг, М. Ряснен и А. фон Габен утверждают, что этот аффикс интенсифицирует значение исходной основы; это же мнение разделяет и А. Зайончковский в отношении аффикса *-ux* в караимском<sup>29</sup>; по Броккельману, аффикс *-(i)k* сообщает исходной основе пассивное (страдательное) значение<sup>30</sup>; по Рамстедту, этот аффикс выражает «прежде всего становление и страдательно воспринимаемое изменение состояния»<sup>31</sup>; Т. Ковальский приписывает ему возвратно-страдательное значение<sup>32</sup>. Н. А. Баскаков, основываясь на материале каракалпакского языка, к числу формантов возвратного залога относит аффикс *-ык*, *-(ы)к*, *-(ы)н* и отмечает, что «в древнетюркских языках форме возвратного залога на  $\frac{\text{—лык}}{\text{—лик}}$  соответствовала форма на  $\frac{\text{—сыкь}}{\text{—сик}}$ »<sup>33</sup>.

Не соглашаясь с истолкованием этого аффикса как сообщающего исходной глагольной основе интенсифицирующее или возвратно-страдательное значение (так как в основе такого толкования, вероятно, лежит перевод на европейские языки соответствующих тюркских лексем), в качестве рабочей гипотезы можно предположить, что аффикс *-(ы)к* имел понудительное (каузативное) значение: субъект не действует сам, а дает возможность, позволяет (попустительствует) совершить действие, обозначенное исходной основой. Аффикс *-(ы)к* как показатель каузативного залога некоторыми тюркологами усматривается, например, в глаголе *ja + k-*

«жечь» (ср.: *ja + n-* «гореть»)<sup>34</sup>; этот же аффикс обнаруживается в составе аффиксов понудительного залога *-бур* ( $\langle \text{б} + \text{р}$ , два понудительных аффикса), *-ваз* ( $\langle \text{в} + \text{з}$ , то же); что касается аффиксов *-сык* и *-тык*, то согласные *с* и *т* — показатели понудительного залога.

«Взаимозаменяемость» аффиксов страдательного залога *-л* и *-н* (о которой говорится на стр. 167), возможно, следует объяснить известным соответствием *л : н*. Слова типа *бујаа* (*айла, ојла, шујла* — ср. стр. 178), о которых сказано, что их этимологический состав неясен (стр. 177), обычно рассматриваются как композита двух элементов: указательное местоимение (*бу, о, шу*) + послелог *ilä*. На стр. 187 послелог *ара* сооставляется со словом *арка*, что противоречит общепринятой этимологии<sup>35</sup>.

Аффиксы сказуемости (предикативные аффиксы) отнесены в разряд «частиц» (стр. 193). Термином «частица» обычно в грамматике тюркских языков обозначается более или менее определенная категория слов, но никогда в такую не включались аффиксы сказуемости (это нововведение, которое следовало бы объяснить!); посредством аффиксов *-ман*, *-сан*, *-ол* не фиксируется предикативная связь между подлежащим и сказуемым», как это указывает автор на стр. 193 (может быть, так было в очень давние времена): эти аффиксы служат лишь оформлению сказуемого, в котором субъект и предикат представлены в единой форме (аффикс *-ман* и др.).

Заканчивая обзор названных выше работ, хочу подчеркнуть, что неутомимая, целенаправленная деятельность А. М. Щербака по изучению грамматического строя тюркоязычных памятников заслуживает безусловного одобрения и поддержки. Своими замечаниями (которые ни в коей степени не претендуют на исчерпывающую полноту и непогрешимость) мне хотелось внести посильный вклад в наше общее дело — грамматическое изучение памятников тюркской письменности.

А. Н. Кононов

<sup>29</sup> См. М. R ä s ä n e n, *Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen*, Helsinki, 1957, стр. 164—165; A. v. G a b e n, указ. соч., стр. 82; A. Z a j a c k o w s k i, *Sufiksy imienne i czasownikowe w języku zachodniokaraïmskim*, Kraków, 1932, стр. 110—111; см. также А. З а й о н ч к о в с к и й, К вопросу о структуре корня в тюркских языках, ВЯ, 1961, 2, стр. 32.

<sup>30</sup> С. B r o c k e l m a n n, *Osttürkische Grammatik der islamischen Litteratursprachen Mittelasiens*, 4, Leiden, 1952, стр. 202—203.

<sup>31</sup> Г. И. Р а м с т е д т, указ. соч., стр. 156.

<sup>32</sup> Т. K o w a l s k i, *De la nature du causatif et du passif dans les langues turques*, RO, XV, 1949, стр. 438.

<sup>33</sup> Н. А. Б а с к а к о в, Каракалпакский язык. II, М., 1952, стр. 337—338.

<sup>34</sup> См. М. R ä s ä n e n, указ. соч., стр. 155.

<sup>35</sup> См. С. B r o c k e l m a n n, указ. соч., 3, 1952, стр. 167; ср. также Г. И. Р а м с т е д т, указ. соч., стр. 184; Г. J. R a m s t e d t, *Studies in Korean etymology*, Helsinki, 1949, стр. 14; Н. V a m b e r g, *Etymologisches Wörterbuch der turko-tatarischen Sprachen*, Leipzig, 1878, §§ 19—20.

J. Nowtkowa. Die Namen der Nagetiere im Ostslawischen. — Berlin, 1959. 152 стр.

Работа И. Новиковой (написанная под руководством М. Фасмера) посвящена рассмотрению номенклатуры одной из

тех многих групп животных, названия которых еще не подвергались специальному этимологическому изучению. Они-

раясь на фундаментальный труд советского зоолога С. И. Отгева<sup>1</sup> и дополнив его материалами из книги В. С. Виноградова и И. М. Громова<sup>2</sup>, Большой советской энциклопедии и некоторых диалектных словарей, автор собрала более 800 названий грызунов. Наибольший интерес представляют народные названия. Описание научной терминологии, занимающее в книге чрезмерно большое место, менее интересно, так как оно представляет собой не что иное, как перевод словосочетаний типа *речной бобр*, *мышь норвежская большая полевая* и т. п. на немецкий язык с краткими энциклопедическими и элементарными словообразовательными пояснениями.

Собственно этимологические экскурсы касаются общеупотребительных и народных слов. Новые объяснения происхождения слов единичны. Правдоподобным представляется, например, соотнесение неясного для М. Фасмера русск. *кбилок*, *кошляк* — название молодого бобра и некоторых других животных с прилагательным *кошлатый* «лохматый, непричесанный» (мех детенышей многих животных торчит в разные стороны) (стр. 2). Не получило удовлетворительного объяснения слово *кобялка* «садовая соя, *Eliopus quegcinus*» (стр. 55). Не давая собственной этимологии этого слова, автор приводит мнение Д. К. Зеленина<sup>3</sup>, который связывает это слово с существительным *кова*. При этом не представляется никакой возможности объяснить словообразовательную структуру слова *кобялка* (не говоря уже о семантических трудностях). Существительные с суффиксом *-лк* (*a*) образуются только от глагольных основ<sup>4</sup>. Поэтому более вероятной нам кажется связь этого существительного с глаголом *кавати*, который иногда употреблялся вместо *кажати* (ср. *искажати*; ср. также *казити* «искажать, портить, повреждать»<sup>5</sup>). На это указывает наличие в древнерусских памятниках таких глаголов, как *искавати* «изъедать»<sup>6</sup>,

*расказати* «портить, повреждать»<sup>7</sup>. Вред, приносимый этим животным, послужил основой других его названий [ср. приводимые И. Новиковой (стр. 55) укр. *чертець* собственно «режущий»; укр. *лулей*, ср. др.-русск. *луити* «грабить»].

Определенную ценность представляют указания на источник заимствования для тех слов, которые, имея сравнительно узкое употребление, отсутствуют в этимологических и толковых словарях. Так, И. Новиковой указаны источники заимствования русск. *аксачок* (стр. 73) — народное название для молодого сурка (восточнее Волги) (ср. калм. *aksag* «дикий, буйный»), русск. *алакдага*, *аактага* (стр. 81) «земляной заяц» (ср. монг. *alag*, калм. *alag* «пестрый», калм. *dayan* «двухлетний жеребенок»), русск. *оготона* (стр. 101) «пищуха» (ср. монг. *ogotona* то же) и мн. др.

Описав конкретные названия, И. Новикова переходит к рассмотрению некоторых общих вопросов формирования названий грызунов. Автор выделяет наиболее древние из них — праслав. *\*bobrъ* и *\*mysъ*, имеющие соответствие в большинстве индоевропейских языков. Когда же автор переходит к характеристике более поздних названий, то здесь в хронологически единой группе объединяются настолько разновременные явления, что историческая перспектива полностью искажается. Хронологическая характеристика названия, первоначально не обозначавшего грызуна, дается не на основании времени появления у этих слов данного значения, а на основании времени возникновения самого названия, иногда же — на основании времени возникновения слова, к которому восходит название грызуна. Так, к индоевропейским названиям, возникшим в «европейскую пражпоху» (*europäische Urzeit*), И. Новикова относит праслав. *\*gnus* «мерзость, грязь», получившее в восточнославянских языках значение «крыса, мышь» (наряду с прочими значениями), праслав. *\*ezjo* «еж» (стр. 111), праслав. *\*nyrъ*; *\*nerti*, к которому, по мнению автора, восходят русск. *норка* (стр. 31), *норица*, укр. *норка*, *нурка*, белорусск. *нырка* «норка, *Mustela lutreola*»<sup>8</sup>, укр. *нориця*, *нора* «лесная мышь, *Clethrionomys*», др.-русск. *ѡверица*, русск. *ваверица*, укр. *вєвїрка* белорусск. *ваверка* «белка, *Sciurus*» (стр. 111). Только праслав. *\*ezjo* и *\*vєverica* обозначали животное в праславянскую эпоху. При этом только *\*vєverica* называло грызуна, а слово *ѡж* привлечено автором лишь по-

<sup>1</sup> С. И. Отгева, Звери СССР и прилегающих стран, IV—VII, М.—Л., 1940—1950.

<sup>2</sup> В. С. Виноградов, И. М. Громов, Грызуны фауны СССР, в кн.: «Определители по фауне СССР», 48, М., 1952.

<sup>3</sup> Д. К. Зеленин, Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. «Сб. Музея антропологии и этнографии», VII, ч. 2, Л., 1929, стр. 45.

<sup>4</sup> См., например, В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 138.

<sup>5</sup> В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, II, М., 1955, стр. 74.

<sup>6</sup> И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, I, СПб., 1893, стлб. 1112—1113.

<sup>7</sup> Там же, III, СПб., 1903, стр. 72.

<sup>8</sup> Исконно славянское происхождение русск. *норка* взято под сомнение О. Н. Трубачевым (см. «Несколько русских этимологий», «Этимологические исследования по русскому языку», III, М., 1961, стр. 46—48).

стольку, поскольку более поздние *ежачина* «дикообраз, *Hustrix*» и *ежескрыса* «*Ostodon*» называли грызунов. Естественно, что древность слова *ѣж* никак не характеризует древность названия грызунов. Точно так же древность *праслав. \*nъгъ, \*nerti* никак не характеризует древность образованных от него слов.

Общеслав. *\*gnus* вообще не называло какого-либо животного, так как западно- и южнославянские языки знают это слово только в значении «мерзость, грязь, гниль» и под. И. Новикова, основываясь на литов. *gnūšai* «черви», полагает, что перенос понятия «мерзость, грязь» на животное мог произойти в балто-славянскую языковую эпоху (стр. 4). Между тем, литов. *gnūšai* является восточнославянским заимствованием<sup>9</sup>. Неточно указано и время возникновения слова *věverica*. Это суффиксальное образование возникло, по-видимому, в общеславянскую эпоху (ср. литов. *voverė* «белка», диал. *voveris, vēveris*, латыш. *vāvere*, ст.-прусс. *weware*, кимр. *gwuwer* и др.)<sup>10</sup>.

Как общеславянские автор выделяет следующие названия: *\*gadъ, \*kratoryja, \*krъbъ, \*medvědъ, \*pъlchъ, \*ščurъ, \*jaščurъ* и *\*zajęcъ*. Из них только *\*pъlchъ, \*zajęcъ* и — с известной степенью вероятности — *\*ščurъ* можно отнести к общеславянским названиям грызунов. Слова *gadъ, kрот* и *медведь* стали употребляться для названия грызунов значительно позже и не получили в этом значении широкого распространения, функционируя как табуистические названия. Что касается церк.-слав. *кроторыка*, русск. *кроторойка* и русск. *яцур*, то они не имели общеславянского распространения, хотя возникли, по-видимому, на основе общеславянских слов. Таким образом, последовательность появления древнейших названий грызунов можно представить в следующем виде: к индоевропейскому периоду относятся *\*bobъ* и *мышь*, к общеславянскому — *\*věverica, \*pъlchъ, \*zajęcъ* и, по-видимому, *ščur*. Остальные названия возникли позже.

Рассмотрев древнейшие названия грызунов, И. Новикова переходит к изложению некоторых общих тенденций формирования этой группы лексики. Автор пишет об изменениях в народных названиях животных в связи с перемещениями самих животных, указывает на большую роль языка охотников в возникновении названий грызунов. Общим семантиче-

ским процессом названий грызунов следует считать перенос названия одного животного на другое<sup>11</sup>. С этой тенденцией связано интересное семантико-словообразовательное явление, которое полностью осталось вне поля зрения автора. Многие названия грызунов представляют собой прозрачные по своей морфемной структуре слова, причем сумма значений составляющих морфем указывает на какое-либо свойство предмета, обозначаемого словом; появление же значения «грызун» есть явление зууса. Ср., например, *землюшка*, которое, как указывает автор, может относиться к различным животным, роющимся в земле» (стр. 31), *ковыльчик* «заяц, живущий в степи» (стр. 94), *кроторойка* (в районе Тобольска «так называются все роющиеся в земле маленькие грызуны», стр. 30), *плюгавик, плюгавка* («в восточнославянских языках применяется для всех вредных „нечистых“ зверей, в районе Пскова — для мышей и крыс (Даль)» (стр. 5) и мн. др. Некоторые из таких слов могут употребляться и в так называемом «общем» значении, т. е. в значении, равном сумме составляющих морфем, сохраняя при этом значение какого-либо конкретного предмета [ср. *пискун* «всякий, имеющий свойство пищать» и (в Восточной Сибири) «северная пищуха, *Ochotona hyperborea*» (стр. 104), *свистун* «всякий имеющий обыкновение свистеть» и «один из видов сусликов, *Citellus pygmaeus*» (стр. 70) и мн. др.]. По-видимому, подобные слова возникли с «общим» значением и значение «грызун» — вторично. При этом остается неясным, являются ли в говорах эти названия единственным названием данного грызуна или наряду с ними существует другое слово, а *пискун, свистун* и под. употребляются в качестве характеризующего прозвища, т. е. остаются в сфере употребления. Определенно можно говорить о терминологизации слов типа *пеструшка, пищуха, белка, летяга*, внутренняя форма которых ясна, однако в «общем» значении они в литературном языке, очевидно, не употребляются (ср. *пестрая, пискунья* и т. п.). Неясно, возникли ли слова *летяга, пищуха* как названия животных или они имели первоначально «общее» значение («летающая, скачущая вообще»). Этих вопросов автор вообще не ставит.

Характерно, что неопределенность вну-

<sup>9</sup> См.: A. Brückner, Die slavischen Fremdwörter im Litauischen, Weimar, 1877, стр. 84; P. Skardžius, Die slavischen Lehnwörter im Alllitauischen, Kaunas, 1931, стр. 76; E. Fraenkel, Litauisches etymologisches Wörterbuch, I, Heidelberg, стр. 459.

<sup>10</sup> См. M. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1953, I, стр. 176.

<sup>11</sup> Это явление свойственно, по-видимому, вообще семантическим группам слов, называющих явления, между которыми отсутствуют резкие грани. Ср., например: V. Vážný, O jménech motýlů v slovenských nářečích, Bratislava, 1955, стр. 12<sup>3</sup>; В. А. Меркулова, Из истории названий некоторых растений, «Этимологические исследования по русскому языку», III, М., 1961, стр. 15).

тренней формы является причиной того, что слово далеко не сразу распространяется в языке в качестве названия грызуна. Отражением процесса этого распространения является употребление этого слова в качестве прилагательного к слову, которое широко известно в значении «грызун»; ср. *мышь-шканица* (стр. 8), *суслик-песчаник* (стр. 67) и др. Это явление свойственно как народным названиям, так и научной терминологии. Такое употребление способствует постепенному закреплению слова в значении «грызун» (ср. частое употребление *беляк*, *русак* вместо *заяц-беляк*, *заяц-русак*). В научной терминологии (а иногда и в говорах) словам с неопределенной суммой значений морфем соответствуют словосочетания прилагательного и существительного, причем последнее указывает, какое животное в данном случае имеется в виду; ср. *злбник — мышь злбная* (стр. 8—9), *амбарница — амбарная мышь* (стр. 9, 12), *землюшка — земляная мышь* (стр. 31), *луковинница — луковичная полёвка* (стр. 40) и др. Интересно, что на неопределенности суммы значений морфем слова основаны загадки, разгадка которых — значение слова, возникшее в результате действия узуса. Приводимое И. Новиковой укр. *свірка* (стр. 8) «мышь, живущая в амбаре» (ср. русск. диал. *свирон*, *свирен* «амбар», ср. приведенное выше *амбарница*) происходит из загадки: «Питалася швидка свірка, чи е хатко дома» (мышь и кот).

В отличие от авторов многих этимологических работ И. Новикова приводит подробный список признаков, положенных в основу научных и народных названий рассматриваемых ею слов, а также перечисляет морфемы, с помощью которых возникли названия грызунов. К сожалению, это перечисление не дополнено никакими семантическими или словообразовательными пояснениями. Не указывается ни характер производящих основ, ни значение морфем. Автор не пытается установить хронологию словообразовательных моделей, по которым возникли названия грызунов. В свете этой невнимательности к морфемной структуре слова понятны те неточности в объяснении путей образования некоторых слов, которые допускает И. Новикова.

В качестве производящей основы прилагательного *летучая* автор приводит существительное *лет* (стр. 77; *gruss. Adj. lettsaja, f. zu russ l'ot „Flug“*). Бесспорно что это содержащее бывший причастный суффикс прилагательное образовано от

глагола. Неверно характеризует И. Новикова и вторую часть сложного слова *краторойка*. Автор пишет: «Сущ. *рой м., ройка ж.*, — первоначал. — *рыи...* встречается только в сложных словах в значении «роющий, роющая» (стр. 30, 31). Второй корневой элемент сложных слов не может рассматриваться как слово, так как теряет грамматические характеристики<sup>12</sup> и превращается в морфему. Пользуясь устаревшей классификацией словосложений, предложенной Миклошичем, автор относит к ним и такие слова, как *выторобот*, *выторопень* и даже *выухоль* (см. выше) и *яшур*, где *ја* рассматривается как префикс (стр. 57). В настоящее время можно считать общепризнанным, что префиксальные и суффиксально-префиксальные образования не относятся к сложным словам<sup>13</sup>. Укр. *скрабатушка*, *шкратушка* «мышь» автор сопоставляет с укр. *шкрябати*, русск. *шкробать*, *шкрябать*, белорусск. *скрабаць*, не указывая, что слово возникло от вторичного глагола с суффиксом *-от-*, характерным для глаголов и существительных с корнями звукоподражательного происхождения (ср. русск. диал. *скре(о)ботать*<sup>14</sup>, ср. *хохотать — хохотушка*). Среди слов, возникших с помощью суффикса *-ик* автор указывает и слова *колик* и *рытник* (стр. 142) — отглагольные образования с суффиксом *-ник*.

В целом же книга И. Новиковой представляет полезное объединение материала для изучения названий грызунов. Пополнение этого материала и его более детальное изучение (поиски этимологий неясных слов, хронология названий, их географическое распространение, определение стилистической сферы их употребления, их взаимодействие в пределах одной системы, описание семантических и словообразовательных тенденций их формирования) — дело будущего.

И. С. Улужанов

<sup>12</sup> См., например, В. П. Григорьев, К вопросу о «грамматических отношениях» между компонентами сложного существительного, «Р. яз. в шк.», 1958, 5.

<sup>13</sup> См., например, М. И. Привалова, К определению понятия сложного слова в русском языке, «Вестник ЛГУ», 1956, 2, стр. 71.

<sup>14</sup> В. Даль, указ. соч., IV, стр. 208.

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

## НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ УЧЕНЫЕ

Некоторые читатели моей «Storia della lingua italiana» (Firenze, 1960, 4-е изд.—1963) сетовали на то, что в этой книге изучение исторической эволюции итальянского языка заканчивается 1915 г. После публикации указанной работы я имел намерение возобновить изучение современного языка, над которым, кстати, никогда не прекращал наблюдения; критические замечания о моей книге послужили новым стимулом для моих занятий в этой области. Когда эта заметка будет опубликована, уже выйдет из печати (Милан, издательство Hoepli) собрание «Parole nuove», представляющее собой словарь примерно на 12 000 слов, из которых почти все вошли в употребление в последние 25 лет. Указанный словарь — третье издание моего «Приложения» к «Dizionario moderno» Альфредо Панцини, которое уже выходило в 1942 и в 1950 гг. и содержало соответственно примерно 5000 и 8000 слов. Я включил в текст не только итальянские неологизмы, но и иностранные слова, которые довольно широко распространены в прессе.

Два других тома, представляющие собой новые издания уже вышедших работ, скоро выйдут из печати, причем первая из этих книг требует почти полной переработки, а вторая — множества дополнений. Речь идет о моей «Lingua contemporanea» и моих «Saggi sulla lingua del Novecento». В этих работах, не исчерпывая всей широты предмета, я тем не менее надеюсь дать достаточное представление об изменениях в грамматике и лексике итальянского языка, совершающихся в последнюю половину нашего столетия. Другие мои работы еще находятся в начальной стадии разработки, и я не могу пока дать подробного описания моих замыслов.

Что касается работ моих учеников, то они ведутся в двух направлениях: некоторые диссертации посвящены работам грамматистов и лексикографов различных периодов (с XVI по XIX в.), другие работы имеют целью разбор текстов, как правило неклассических — с диалектным оттенком или со значительным иностранным инфильтратом.

Как президент Accademia della Crusca должен сообщить, что Accademia лишь в незначительной степени ведет работу в области теории итальянского языка; труды этой Академии посвящены в основном филологическому анализу текстов («Amelo» Боккаччо издал М. Квалио, «Cortegiano» Кастильоне издал М. Гинасси, причем и то и другое издание осуществлено под наблюдением М. Контини).

Б. Мильорини (Флоренция)  
Перевод с французского

Касаясь моих замыслов и будущих работ, прежде всего сообщу, что в настоящее время я вместе со своим коллегой Т. Кнудсеном работаю над дополнительным томом «Словаря норвежского литературного языка» (Norsk riksmålsordbok). Этот словарь был окончен в 1957 г.; однако возникновение и внедрение большого количества новых слов в лексику литературного языка сделали необходимым издание дополнительного тома, примерный объем которого будет равен объему уже опубликованных томов I и II. Кроме того, я сотрудничаю в III томе журнала «Lochlann» и в XX томе «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap». В этом последнем я опубликую статью по истории создания «пансмоля» Ивара Аасена, а в «Lochlann» я продолжу публикацию своих ирландских материалов по диалекту Торр (фонемное исследование, синтаксические наблюдения и тексты).

У меня также было намерение продолжить свои исследования языка арапта при помощи звуковых записей, но я должен был отложить эту работу по причине своей болезни этой весной, заставившей меня сократить часы работы. Я публикую также во втором томе «Trends» статью о последних работах лингвистов, занимающихся кельтскими языками.

Все мои статьи, к которым следует добавить некоторые рецензии, будут опубликованы по-английски или по-французски.

А. Сомерфельт (Осло)  
Перевод с французского

**ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ**

Международный академический союз совместно с Международным советом по философии и гуманитарным наукам от имени ЮНЕСКО приступили к сбору материалов по выяснению возможности создания словарей по языкам, лексикографически еще не зарегистрированным. В сентябре 1962 г. в Праге состоялось совещание, на котором особое внимание было уделено африканским и азиатским языкам. На этом совещании присутствовали лингвисты из различных стран мира. ЮНЕСКО была выделена небольшая денежная сумма, которая передана на период 1963—1964 гг. в распоряжение Международного совета по философии и гуманитарным наукам для содействия подготовке и публикации таких словарей. Есть основания думать, что подобные же суммы будут отпускаться и в будущем.

Лип, подготавливающих какой-либо словарь и имеющих желание воспользоваться указанным фондом, просят прислать подробное сообщение о намерении или готовящейся работе профессору Л. Згусте (Oriental Institute-Lázeňská 4, Prague 1, Czechoslovakia), который является секретарем комиссии, назначенной ad hoc Международным академическим советом. В эту комиссию входят следующие ученые: К. К. Берг (Лейден), Й. Прошек (Прага), А. Соммерфельт (Осло), Ж. Тюбян (Париж).

13 мая 1963 г. в Институте русского языка АН СССР состоялась объединенная научная сессия Отделения литературы и языка и Отделения исторических наук АН СССР, посвященная 1100-летию славянской письменности.

Открывая сессию, акад. В. В. Виноградов охарактеризовал возникновение славянской письменности как одно из величайших событий в истории культурных славянских народов.

Общей оценке этого события, а также историографической судьбе кирилло-мефодиевского вопроса в русской и украинской историко-филологической науке было посвящено вступительное слово акад. АН УССР Н. К. Гудзия, показавшего исключительную роль изобретения кирилловской азбуки именно для русской культуры и вместе с тем объединяющее значение славянской письменности в жизни большинства славянских народов.

Отметив, что за последние 30 лет интерес к деятельности славянских первоучителей несколько ослаб, Н. К. Гудзий призвал к усиленной работе в этом направлении с целью окончательного выяснения до сих пор еще спорных вопросов, таких, например, как место написания и авторство знаменитых «Паннонских житий».

Призыв к устранению белых пятен

в истории создания славянской письменности поддержал в своем докладе «Начало славянской письменности и древняя Русь» акад. М. Н. Тихомиров, остановив внимание слушателей на менее разработанном в науке раннем до кирилло-мефодиевском периоде, подготовившем тот исторический момент, когда в 863 г. (сейчас эта дата с большей или меньшей степенью условности принимается всеми) в Великой Моравии была применена первая славянская азбука.

М. Н. Тихомиров считает, что сама идея создания письменности возникла у славян задолго до деятельности Кирилла и Мефодия. Доказательство этому он видит в очень высоком для того времени культурном уровне славянских народов, при котором вполне закономерной явилась необходимость в письме, причем не только для хозяйственно-бытовых, но и для литературных нужд. «Черты и резы», которые, по мнению докладчика, восходят к очень давнему времени, использование греческого и латинского алфавитов, а также целый ряд косвенных данных разного характера свидетельствуют о том, что попытки славян создать систему собственного письма относятся еще к началу IX в. В связи с этим М. Н. Тихомиров высказал предположение, что графика найденного Кириллом Корсунского евангелия не имела отношения к готскому письму и что в ней, скорее всего, было использовано сочетание греческих букв с какими-то знаками. Поэтому Корсунское евангелие могло оказать непосредственное влияние на работу Кирилла над славянской азбукой, основой для которой послужил греческий алфавит.

В докладе «Роль традиции в истории восточнославянской и южнославянской письменности» канд. филол. наук Н. И. Толстой, дав характеристику высокой и самобытной культурной организации славянского этноса в IX в., указал, что все предположения не только для возникновения, но и для дальнейшего развития славянской письменности в IX в. безусловно существовали. Н. И. Толстой отметил важность изучения последующего за моравской миссией широчайшего географического и функционального распространения славянской письменности, исходя из роли оформления единого литературного языка для всех славян.

В соответствии с этим положением Н. И. Толстой показал развитие общего для русской, сербской и болгарской письменности древнеславянского литературного языка в периоды интенсивного культурно-литературного взаимодействия славянских народов: IX в. (деятельность Кирилла и Мефодия); XIV—XV вв. (второе южнославянское влияние на Русь)

и вторая половина XVI и XVII в. (центр славянской книжности становится Западной и Московская Русь).

Канд. филол. наук Л. П. Жуковская в своем докладе «К вопросу об объеме первой славянской книги, переведенной Кириллом и Мефодием», рассматривая названную проблему на основе характеристики малоисследованных древних списков славянского евангелия, имеющихся в отечественных и болгарских книгохранилищах (более 500 папирований), остановилась на том, какой из четырех основных типов евангелий (тетр, краткий апракос, полный апракос или один из воскресных апракосов) мог быть первым переводом греческого текста на славянский язык.

Для успешного разрешения поставленной задачи надо прежде всего, по мнению докладчика, привлекать языковой материал и изучать преимущественно пергаменные рукописи, не подвергшиеся так называемому «второму южнославянскому влиянию». Исходя из результатов проведенного ею анализа языка, состава и содержания ряда пергаменных рукописей, Л. П. Жуковская сделала вывод, что первым переводом Кирилла, по-видимому, был или краткий апракос, или один из типов воскресного апракоса. Однако окончательное решение этого сложного вопроса, подчеркнул Л. П. Жуковская, возможно лишь при исследовании всех древних славянских рукописей до XV в., которые существуют в книгохранилищах мира.

На объединенной научной сессии выступил также гость московских славистов профессор Карлова университета Й. Курц (Прага). Деятельность Кирилла и Мефодия, сказал он, сыграла огромную роль не только с точки зрения основания славянской письменности, но и с точки зрения тех последствий, которые она имела для судеб отдельных славянских народов. В частности, славянская письменность послужила оружием в борьбе за политические права чехов и словаков, за утверждение их национального самосознания, против ассимиляции с неславянскими народами. Проф. Й. Курц говорил и о том, какое место занимают в славистической литературе (главным образом у русских и чешских славистов) проблемы изучения старославянского языка и его литературного наследия.

*Т. Г. Вилокур (Москва)*

15—18 мая 1963 г. в Институте русского языка АН СССР прошло IX диалектологическое совещание, на котором обсуждалась теоретические проблемы описательной и исторической диалектологии, вопросы группировки русских народных говоров, проблемы диалектной лексикологии и словообразования. В совещании приняло участие до 200 представителей

высших учебных заведений и научных учреждений страны.

В докладе Р. И. Аванесова (Москва) «Описательная диалектология и история языка» был выдвинут ряд новых положений о структуре диалектного языка и диалектов и дисциплин, их изучающих. Предлагается различать диалектную речь как непосредственную данность и диалектный язык, как моделируемую исследователем сложную макросистему, в состав которой входят диалектные макросистемы меньшего объема и диалектные микросистемы, характеризующие одну диалектную точку. Докладчик охарактеризовал диалекты как особого рода макросистемы с общностью или различиями по определенному комплексу языковых и внеязыковых черт. Диалектный язык — понятие чисто структурное, а диалекты — социально-языковое. В докладе была выдвинута идея лингвистической хронографии, существующей рядом с лингвистической географией, и идея лингвистической хроногеографии как высшего отдела исторической диалектологии. Утверждая единство описательной диалектологии и истории языка, изучающих диалектный язык и диалекты в их пространственной и временной проекции, Р. И. Аванесов выделил чисто структурные дисциплины — учение о диалектном языке, историческую грамматику и лексикологию, и дисциплины, обращающиеся к внеязыковым факторам, — учение о диалектах в синхронном плане и историческую диалектологию. Во второй части доклада были выдвинуты и обоснованы очередные задачи диалектологии восточнославянских языков.

В докладе В. Г. Орлова (Москва) «Группировка говоров русского языка по данным лингвистической географии» был предложен новый принцип группировки русских народных говоров на основе учета объективных закономерностей расположения изоглосс и их пучков в связи с характером явлений, представляемых теми или иными изоглоссами. Этот принцип группировки говоров позволяет устранить случайность в установлении диалектных подразделений.

Изучение закономерностей распространения изоглосс на территории говоров центральных областей Европейской части СССР (т. е. территории первоначального складывания русских диалектов) позволило выделить по различным комплексам диалектных признаков попарно противопоставленные и непровинциальные территориальные величины, а также территории, характеризующиеся взаимоналожением изоглосс. В докладе был поставлен вопрос об иерархии намечающихся объединений говоров и обоснован принцип выделения наречий и групп говоров в пределах отдельных наречий. В. Г. Орлова охарактеризовала переходные говоры расположенные в сфере

взаимоналожения пучков изоглосс, и показала, что непровинциальные территориальные величины, достаточно четко выделенные определенными пучками изоглосс, могут быть обозначены как тип говоров (западный тип говоров русского языка). Черты типа говоров совпадают с определяющими для диалектного членения чертами наречий и групп говоров.

Конкретизация теоретических положений доклада В. Г. Орловой содержалась в сообщении К. Ф. Захаровой (Москва) о группировке говоров на территории первоначального заселения русскими. Группировке различных говоров русского языка были посвящены также доклады Т. А. Хмелевской (Ростов-на-Дону) «Донские говоры и их место в системе южнорусского наречия», Е. П. Луговой (Ленинград) «Особенности вокализма в говорах Кировской области в связи с вопросом классификации их», Л. П. Смолякова (Казань) «Типы говоров на территории Волго-Камья и их взаимодействие».

Вопросы связей истории языка и диалектологии на материале воронежских говоров и воронежских рукописных памятников XVII—XVIII вв. были освещены в докладе В. И. Собиной (Воронеж).

А. Б. Пеньковский (Владимир) в докладе «Переходные говоры Западной Брянщины как источник исторической диалектологии» показал, что говоры Западной Брянщины, возникшие в результате взаимодействия диалектов близкородственных восточнославянских языков и являющиеся переходными от белорусских к южно-великорусским, обладают целым рядом новообразований — результатом междиалектного взаимодействия. Докладчик высказал ряд соображений относительно закономерности и последовательности развития ряда явлений, совершившихся в прошлом в некоторых говорах, территориально и структурно близких к западно-брянским. К. А. Федорова (Пермь) в докладе «К истории формирования пермских говоров» осветила роль лингвистических данных для изучения истории заселения Западного Урала русскими.

Выступавшие в прениях с удовлетворением отмечали актуальность проблем и продуктивность идей, выдвинутых в докладах Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой. Однако, соглашаясь с основными теоретическими положениями доклада Р. И. Аванесова, Ф. Т. Жилко (Киев), Л. И. Баранникова (Саратов) указали на неопределенность термина «диалектный язык» и его внутреннюю противоречивость. Б. В. Горнунг (Москва) отметил, что ряд положений докладов Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой сближает традиционную лингвистическую географию с ареальной лингвистикой. О назревшей потребности

в новом учебнике по диалектологии и новой группировке русских говоров и о важности работы сектора диалектологии Института русского языка АН СССР в этом направлении говорили в своих выступлениях К. В. Горшкова (Москва), Г. А. Турбин (Челябинск), Г. Г. Мельниченко (Ярославль) и многие другие.

Другая серия докладов была посвящена проблемам диалектной лексикологии. И. А. Оссовецкий (Москва) в докладе «Изменение и развитие лексики русских народных говоров в современных условиях» охарактеризовал лексические явления, наблюдающиеся в процессе отхода от говора как средства коммуникации и перехода к литературному языку. Докладчик отметил, что развитие диалектной лексики происходит во внутренних причинам (эволюция говора в целом, устаревание части лексического фонда говоров и т. п.), и в результате внешних факторов (влияние литературного языка, взаимодействие говоров).

Проблемам генезиса современного просторечия и его связи с русскими народными говорами был посвящен доклад С. Д. Кац (Баку). Рассматривая просторечие как стилистический пласт литературного языка, с одной стороны, и как неотъемлемую часть народных говоров, с другой, докладчик поставил вопрос о необходимости включения просторечной лексики в областные словари.

Т. С. Коготкова (Москва) в докладе «О некоторых особенностях современной диалектной лексики в связи с устной формой ее существования» охарактеризовала ряд свойств диалектной речи: большая свобода словоупотребления по сравнению с литературным языком, быстрое устаревание слов, называющих исчезнувшие реалии, активное словотворчество, словообразовательная вариантность лексических элементов, безразличие к строгому отбору слов и др.

Семантическим особенностям некоторых грамматических категорий в говорах были посвящены доклады: В. Б. Силиной (Москва) «Диалектные служебные слова как объект лексикографического и лексикологического изучения», в котором отмечается широта употребления и нерасчлененность семантики некоторых диалектных служебных слов, и В. В. Колесова (Ленинград) «Ударение полных прилагательных в современных основных говорах». О типах фразеологических именных конструкций в говорах Верхнего Дона сообщила в своем выступлении Е. Н. Диброва (Ростов-на-Дону).

В ряде докладов были охарактеризованы некоторые лексико-семантические группы диалектной лексики: Ф. Л. Скитова (Пермь) доложила о лексике говорения в говорах Пермской области, Г. Г. Мельниченко (Ярославль) —

о названиях корзин; Л. М. Орлов (Волгоград) — об изменении в сельскохозяйственной терминологии, распространенной в говорах Волгоградской области; В. И. Тагунова (Муром) — о современных проищиях в диалектной речи Муромского Поозья; К. П. Сомлина (Москва) — о месте ботанической лексики в диалектном словаре. В. Д. Бондалетов (Пенза) рассказал о проекте пособия для собириания материала по условным языкам.

Ряд докладов касался проблем диалектного словообразования: Л. В. Сахарный (Свердловск) в докладе «Некоторые проблемы изучения диалектного словообразования» указал на большую экспрессивность диалектных словообразовательных моделей по сравнению с литературным языком и отметил широту действия аналогии в выравнивании слов по словообразовательному типу. Докладчик выдвинул положение о потенциальной лингвистической продуктивности любой словообразовательной модели и о нелингвистической продуктивности, зависящей от лексической базы словообразовательной модели. С. Ю. Адливанкин (Пермь) предложил уделять внимание словообразовательным вариантам и соответственным словообразовательным моделям при сборе диалектного материала. А. С. Герд (Ленинград) в докладе «О некоторых словообразовательных особенностях русских северо-западных диалектов», дав описание словообразовательных моделей и структурных типов существительных с суффиксом *-ыш*, на основе распространения этих имен пришел к выводу об определенной противопоставленности псковских говоров вместе с калининскими и смоленскими остальным русским диалектам.

Отдельные вопросы словообразования были освещены в докладах: И. А. Попова (Ленинград) «Словообразование наречий, соотносительных с дательным падежом существительных, в северо-западной части севернорусских говоров»; В. И. Максимова (Ленинград) «Суффиксальный способ образования родовой корреляции (на материале псковских говоров)» и М. Ф. Моисеевко (Казань) «Существительные с нулевым суффиксом и суффиксом *-ка* в русских говорах Казанского Поволжья».

Выступавшие в прениях по перечисленным выше докладам отметили своевременность постановки проблем диалектного словообразования. С. И. Ожегов (Москва) указал на многозначность термина «просторечие» и отметил существование в литературном языке прослойки, которая не укладывается в это понятие. Ф. П. Филин (Ленинград) подчеркнул основное отличие просторечия от диалектизмов: его общерусское распространение. Главным источником пополнения просторечия следует считать городское

население; не все диалектизмы, попадая в литературный язык, проходят стадию просторечия. В. Г. Рудель (Оренбург) охарактеризовал городское просторечие как особую замкнутую систему.

Конференция обсудила сборник «Псковские говоры»<sup>1</sup>, отражающий многолетнюю работу диалектологов Ленинградского университета и Псковского пединститута, а также заслужила сообщения с мест о диалектологической работе кафедр высших учебных заведений страны, о составлении диалектных словарей различного типа и об изучении говоров русских переселенцев в условиях иноязычной среды.

В своем решении совещание одобрило работу сектора диалектологии Института русского языка АН СССР по созданию нового учебника диалектологии, а также те методологические принципы, на которых строится новая группировка русских народных говоров. Совещание наметило ряд первоочередных задач диалектологов-русистов: завершение работ по составлению лингвистических атласов; разработка на их основе теоретических проблем исторической и описательной диалектологии; дальнейшее развертывание исследований по диалектной лексикологии, лексикографии и проблемам диалектного словообразования; широкое применение при монографических описаниях разных типов методов структурного анализа, статистических и экспериментальных; дальнейшее изучение судьбы русских народных говоров в иноязычном окружении. В решении совещания подчеркнута необходимость развития новых направлений в диалектологических исследованиях: исследование говоров методами лингвистической хронографии и хроногеографии; изучение роли структурно-языковых и внеязыковых факторов в их соотношении при выделении диалектов; изучение типологии переходных говоров и составление специальных атласов (микроатласов различных территорий, топонимических и ономастических).

Ю. С. Азарх, В. Б. Силина (Москва)

Лингвистический семинар Алма-Атинского пединститута иностранных языков (АПИИЯ)<sup>2</sup> провел 15—18 мая 1963 г. расширенное заседание, посвященное синхроническому изучению различных ярусов структуры языка. В заседании приняло участие более 200 языковедов Алма-Аты, Фрунзе, Душанбе, Чимкента, Кокчетавы, Самарканда, Карши и других городов Средней Азии и Казахстана. Среди докладчиков были также предста-

<sup>1</sup> «Псковские говоры, I. Труды Первой псковской диалектологической конференции 1960 г.», Псков, 1962.

<sup>2</sup> См. ВЯ, 1961, 3, стр. 153.

ители научных учреждений Москвы, Ленинграда и Одессы.

Заседание открыл действительный член АН КазССР С. К. Кенесбаев. Вслед за докладом А. Х. Хасенова (АПИИЯ) «О современном состоянии изучения казахского языка» приступили к работе три секции: общего языкознания; грамматики; словообразования, лексикологии и фразеологии. Всего было заслушано и обсуждено более 50 докладов.

Три доклада из 14, представленных в секцию общего языкознания, были посвящены вопросам семантики: В. Я. В. Иванов (Ин-т славяноведения АН СССР) «Об исследовании семантики», А. Е. Карлинский (АПИИЯ) «Система цветообозначений в языке и гипотеза Сепира-Уорфа» и В. А. Москович (1-й МГПИИЯ) «О грамматике сочетаний смыслов». Вопросы классификации и типологии были посвящены доклады: В. М. Никитенвич (Каз. гос. ун-т) «Об аспектах членения языкового материала и классификации языковых единиц на лексико-грамматическом уровне», А. Е. Супруна (Кирг. гос. ун-т) «Динамический подход к синхронному изучению частей речи», М. А. Черкаского (АПИИЯ) «О типологии лингвистических объектов», В. В. Черновой (Каз. пед. ин-т) «К вопросу о способах действия [Aktionsarten]» и А. А. Молдатаева (АПИИЯ) «Средства выражения пространственных отношений в немецком и казахском языках».

Теоретические проблемы синтаксиса рассматривались в докладах Ю. В. Попова (Кирг. гос. ун-т) «Некоторые проблемы коммуникативного синтаксиса» и Э. Я. Марраховской (Самарканд. гос. ун-т) «К проблеме определения предложения в терминах структурной лингвистики». Были также заслушаны и обсуждены доклады А. К. Власова (Тадж. гос. ун-т) «К вопросу о теоретическом обосновании функциональной грамматики», А. П. Комарова (АПИИЯ) «Случай изоморфизма структур разных языковых уровней», А. М. Марраховского (Самарканд. гос. ун-т) «О возможности применения теории информации к исторической фонологии» и М. М. Копыленко (АПИИЯ) «К определению объема, структуры и задач фразеологии».

В секцию грамматики был представлен 21 доклад. Многие из них были посвящены различным проблемам морфологии славянских, германских, романских и иракских языков: А. П. Клименко и А. Е. Супрун (Кирг. гос. ун-т) «О частотности некоторых грамматических явлений в славянских языках», О. Озаровский (Кирг. гос. ун-т) «К вопросу о выделении частей речи и их „внутренних“ грамматических разрядов в синхронном плане» С. Ф. Ва-

силенко (Каз. гос. ин-т) «О грамматической (морфологической) синонимии и полисемии в современном русском языке (на материале глагольных форм)», Л. И. Ройзензон (Самарканд. гос. ун-т) «К типологии многоприставочных глаголов в славянских языках (своеобразие нижнелужицкой системы полипрефиксальных глаголов сравнительно с польской и русской)», А. И. Васильев (Кирг. гос. ун-т) «К вопросу об омоформенности глагольных приставок в современном русском языке», Е. А. Плахин (Каз. гос. ун-т) «Особенности функционирования первообразных предлогов в прозе Л. Леонова», Г. В. Ермоленко (Каз. гос. ун-т) «Категория определенности имени в современном болгарском языке», Г. Я. Панкрац (АПИИЯ) «О некоторых проявлениях принципа экономии в нижнелужицком диалекте», Д. Я. Цукерник (АПИИЯ) «О причинах исчезновения перебора гласных в формах французского глагола» и Ю. Ю. Авалиани (Самарканд. гос. ун-т) «К вопросу о лексическом и грамматическом в системе залоговых корреляций». Проблемам гипотаксиса были посвящены доклады Т. А. Колосовой (Каз. пед. ин-т) «Опыт трансформационного анализа гипотаксических конструкций в современном русском языке», Р. П. Бахмутской (Самарканд. гос. ун-т) «Из наблюдений над сложноподчиненными предложениями с придаточными, поясняющими местоименно-именное сказуемое в главной части, в русском языке второй половины XVIII века», Р. М. Хаскиной (АПИИЯ) «Интонация сложноподчиненного вопросительного предложения в немецком языке» и Е. К. Андриановой (Каз. технол. ин-т) «К вопросу о модальности сложноподчиненного предложения в современном английском языке».

Другие проблемы синтаксиса рассматривались в докладах Г. А. Рубинштейна (Одесск. курсы ин. языков) «К вопросу о классификации наречий современного английского языка [опыт функционально-синтаксической классификации]», А. А. Цоя (Самарканд. гос. ун-т) «Синтаксические синонимии и критерии их определения», Р. С. Зубовой (Каз. гос. ун-т) «Синтаксическая синонимика [в связи с изучением сочетаний „существительное + инфинитив“]», Н. А. Фрязиновой (АПИИЯ) «Инфинитивные обороты с *im zu, ohne zu, (an) statt zu* в современном немецком языке», С. Г. Ахметовой (АПИИЯ) «Некоторые способы выражения причинных отношений в английском и казахском языках», В. Х. Анастасьевой (АПИИЯ) «О синтаксической категории формально-предикативных элементов в современном английском языке» и Г. Ф. Булгаковой

(Каз. гос. ун-т) «О специфике синтаксических функций именных устойчивых сочетаний в современном русском языке».

В секции словообразования, лексикологии и фразеологии было заслушано и обсуждено 16 докладов. Вопросам структурной и типологической лексикологии и словообразования были посвящены доклады А. А. Брудного (АН Кирг. ССР) «О двух семантических состояниях слова», Г. С. Зенкова (Кирг. гос. ун-т) «Понятие суффиксемы как функциональной словообразовательной единицы», Ф. Д. Лившица (Каз. гос. ун-т) «Некоторые черты микросистемы в лексике», В. Б. Сосновской (АПИИЯ) «Разграничение значений единиц языка методом трансформационного анализа» и Ф. Г. Коровина (Кирг. гос. ун-т) «Прилагательные на *-тель* в древнерусском языке». Значительное место в работе секции заняли доклады об аббревиации: Р. И. Могилевского (Самарканд. гос. ун-т) «О характере системности аббревиатурного знака», Л. А. Шеляховской (Каз. пед. ин-т) «Опыт статистического анализа употребления аббревиатур в современном русском языке» и Л. П. Ступина (ЛГУ) «Аббревиатуры и их место в словаре Уэбстера 1961 г.». Различные проблемы фразеологии рассматривались в докладах Ф. А. Краснова (Кирг. гос. ун-т) «К вопросу о фразеологической синонимии», М. Г. Дахштейгер (Каз. пед. ин-т) «К изучению глагольно-субстантивных сочетаний в современном русском языке», Е. В. Сливко (Каз. пед. ин-т) «О процессах фразеологической деривации» и Ш. И. Исабековой (АПИИЯ) «Опыт сопоставительного изучения сочетаний лексем в английском и казахском языках». К ним примыкали доклады А. Д. Хаятина (Самарканд. гос. ун-т) «О соотношениях внутри политической терминологии одного автора и о соотношениях между терминологией различных авторов политических сочинений одной и той же эпохи» и М. У. Эткина (Жарнииск. пед. ин-т) «Семантические эквиваленты — характерная особенность языка статей и выступлений по вопросам международной жизни». Лексическое обоснование современного немецкого языка было предметом докладов Е. А. Мессерле (АПИИЯ) «Новые явления в современном немецком языке» и Ж. К. Куанышбаевой (АПИИЯ) «О некоторых тенденциях в развитии современного немецкого языка».

Участники семинара пришли к единодушному мнению о целесообразности и полезности подобных совещаний и приняли решение созывать их ежегодно в разных городах Средней Азии и Казахстана.

С 4 по 5 июня 1963 г. в Институте русского языка АН СССР Комиссией по упорядочению написания и произношения иноязычных собственных личных имен и географических названий была организована конференция, посвященная вопросам орфографии собственных имен. В совещании приняли участие сотрудники Института русского языка АН СССР, Отдела транскрипции Центрального научно-исследовательского института геодезии, аэросъемки и картографии, Главной редакции Морского атласа Военно-морского флота, представители редакции «Международная жизнь», члены Топонимической комиссии при московском филиале Географического общества СССР, представители академий наук Молдавской, Латвийской и Эстонской ССР, библиографы и др.

Конференция ставила перед собой конкретную задачу обсудить те вопросы правописания имен собственных, какие в существующем своде правил орфографии русского языка (1956 г.) не были учтены или противоречили правилам правописания имен нарицательных. Цель обсуждения — подготовить соответствующий материал для новых правил правописания русского языка, над подготовкой которых в настоящее время работает Орфографическая комиссия при Институте русского языка АН СССР. В центре внимания совещания была проблема соотношения норм орфографии имен собственных и имен нарицательных.

В докладе А. А. Реформатского была высказана мысль о том, что общий свод правил орфографии русского языка не обязан и не может охватить всех случаев правописания имен собственных, но отдельные случаи правописания имен собственных не должны противоречить общим положениям свода.

Более подробно вопросы правописания имен собственных должны разрабатываться в специальных инструкциях, не противоречащих в принципе общему своду правил. Если же противоречие между написанием имен собственных и имен нарицательных имеет место, то это должно быть оговорено в общем своде в виде примечаний к соответствующим параграфам.

Противоречивые мнения были высказаны относительно применения нехарактерных для русского письма буквосочетаний в написании иноязычных имен собственных. Выявились два противоположных взгляда. Одни (А. А. Реформатский) считали допустимым применять в русской передаче иноязычных имен собственных чуждые для русской письменности буквосочетания, если русское письмо не располагает другими привычными буквосочетаниями для этой цели и если соответствующие необычные буквосочетания могут более или менее точно отображать звуковые различия, имею-

щие в исходном языке фонематическое значение. Например, предлагалось написание букв *я, ю, ы* после шипящих и *ц* (*Шяуляй, Шюмег, Цюрих, Цяеловский, Чысты, Шыжлар, Цыбенжапо* и др.). Другие (С. Л. Берг) призывали по возможности более точно передавать особенности звукового состава иноязычных имен собственных, оставаясь в пределах русского алфавита и в пределах нормальных для русского письма буквосочетаний, поскольку чуждые буквосочетания, как правило, трудно произносимы для русского читателя и не имеют привычного нормального звучания в русском языке (например, *Иызы*) или же за своим экзотическим начертанием скрывают избыточную информацию (например, *Шыллар, Плокцяс*).

Дискуссия развернулась по поводу употребления букв *е, э, ё, ѐ* и *ь*. Большинство выступающих были поддержаны предложения, высказанные в докладах Л. К. Максимова и Я. И. Шубова. Эти предложения следующие: ограничить сферу употребления буквы *я*, писать в начале слога всегда *я, ю, е* (а не *йа, йю, йе*), но допускать в начале слова сочетания *йо, йи* (*Йорк, Йиржи*), а также сохранить букву *ё* в написании малоизвестных русских имен собственных под ударением (*Олёкма*) и в написании иноязычных имен собственных как под ударением, так и в безударном положении (*Бабёф, Вайнёде*).

Не удалось добиться единого мнения о целесообразности применения знака *ъ* для написания иноязычных имен собственных. Открытым остался также вопрос о написании двойных согласных в иноязычных собственных именах. Были предложены два противоположных решения: 1) последовательно транскрибировать двойные согласные вне зависимости от сильной и слабой позиции (доклад Л. П. Калауцкой) и 2) не передавать двойных согласных, кроме случаев их наличия на стыке морфем (Г. П. Бондарук).

В докладе Г. П. Бондарук был затронут вопрос о возможностях нормирования при выборе суффиксов *-инский* и *-енский* в образовании прилагательных от географических названий. Предлагалось унифицировать написание мягкого знака после *л* перед суффиксом *-ск-* во всех производных прилагательных как в русских, так и иноязычных (*Джамбульский, Ангольский*); после *н*, наоборот, предлагалось не писать мягкого знака, за исключением китайских и польских названий (*Булонский, но Познанский, Мианьский*).

В докладе В. Э. Сталтмане был предложен формально-морфологический критерий для установления слитного, раздельного и дефисного написания русских имен собственных. Много споров

вызвали вопросы русского написания транскрибируемых иноязычных имен собственных, представляющих собой многочленную синтаксическую структуру. Оспаривалась возможность тотального применения общего принципа (его более или менее последовательно придерживается современная картографическая практика) — писать через дефис все те словосочетания, которые в оригинале не пишутся слитно. Предлагались два пути решения этого вопроса: один — основываться на орфографии подлинника, в случае же разнописаний в оригинале давать предпочтение слитному написанию (М. Б. Волостнова), второй — писать иноязычные географические названия в русской передаче слитно или через дефис в зависимости от оригинальной структуры транскрибируемого названия (Г. И. Донидзе, Э. Д. Голубева). С. Л. Берг к тому же предлагал допускать дефисное написание во избежание слишком длинных и неудобочитаемых названий. В докладе А. В. Суперанской об употреблении прописных и строчных букв был сделан подробный анализ всех различных категорий имен собственных. Предлагалось ограничить чрезмерное увлечение прописными буквами, заменяя их строчными.

На конференции были затронуты и некоторые вопросы, близкие к проблемам орфографии, например склонения имен собственных (А. В. Суперанская), отношение к установившимся традициям в передаче иноязычных имен собственных (В. А. Никонов) и др. Отмечались также и частные вопросы русской передачи имен существительных из языков народов СССР (выступления М. Ф. Семёновой, Т. Порите, Х. Бендика — Рига, Э. Нурма — Таллин, А. Ерем и — Кишинев и др.). В ходе конференции был подготовлен проект предложений и рекомендаций для Орфографической комиссии.

В. Э. Сталтмане (Москва)

Осенью 1962 г. в Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР начал работу семинар по теоретическим проблемам языкознания, созданный при Научном Совете по теории советского языкознания. По февраль 1963 г. были прочитаны следующие доклады:

1) 5 октября 1962 г. — «Парадигматический и синтагматический аспекты в трактовке падежных форм как синтаксических элементов» (канд. филол. наук А. М. Мухип). Докладчик на примере русских падежей и предложных сочетаний в английском языке показал недостаточность ограничения синтаксиса лишь изучением явлений в синтагматическом плане. «Наличие в языке двух основных типов отгонений между его элементами

требует от исследователя их учета и определения через них двух основных типов признаков — парадигматических и синтагматических, необходимых для установления функциональной природы исследуемых элементов).

2) 9 ноября 1962 г. — «Методы оценки родства языковых систем» (д-р филол. наук Р. Г. Пиотровский). Опираясь на теорию множеств, докладчик дал определения разновидностям языка, условно названным диалектами, поддиалектами, говорами и подговорами в зависимости от того, включают ли они определенные структурные единицы: фонемы или их дифференциальные признаки, морфемы, лексемы, синтаксические единицы.

3) 11 января 1963 г. — «Социальные диалекты» (член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский). В докладе подчеркивалась важность для советского языкознания проблемы социальной дифференциации языка классового общества, которая успешно изучалась до 1950 г. В дальнейшем разработке этой проблемы препятствовали как господство «учения» о языке с недифференцированным социально понятием «общенародного языка», так и «новое учение о языке» акад. Н. Я. Марра, который, хотя и говорил о «классовости» языка (как большинство советских языковедов до 1950 г.), однако сам интересовался по преимуществу вопросами доистории языка и мышления. Выдвинув положение, что местные диалекты, носителями которых являются широкие народные массы, всегда должны рассматриваться как диалекты социальные, докладчик дал широкий обзор исследования социальных диалектов в СССР и за рубежом. Он показал на примере современного немецкого языка соотношение национального литературного языка, «полудиалекта» и местного диалекта, уделив основное внимание «полудиалектам» города и деревни, получившим в настоящее время особое значение в условиях повсеместного распространения нормы литературного языка. Рассмотрение стоящих перед Институтом языкознания актуальных задач изучения путей развития национальных языков Советского Союза в эпоху развернутого строительства коммунизма должно, по мнению докладчика, опираться на большой опыт советского языкознания по вопросам взаимоотношения национального языка и социальных диалектов.

4) 15 февраля 1963 г. — «О конструктивном методе в фонологии (проф. Т. П. Ломтев). Докладчик предложил сгруппировать дифференциальные элементы в «множества»: а) твердость и мягкость; б) звонкость и глухость;

в) смычность, щелинность, неоднородность; г) лабиальность, переднеязычность, среднеязычность, заднеязычность; д) пунность и сонорность. Эти дифференциальные элементы затем соединяются во всевозможные сочетания, которые разделяются на непустые (соответствующие реальным фонемам) и пустые. Получаемые конструкции представляются возможным классифицировать в зависимости от их расположения в заданных «множествах». Все операции и их объекты фиксируются в искусственной терминологии, построенной на основе алгебраической теории соединений. По мнению докладчика, конструктивный метод имеет свои ограничения. Он не заменяет метода прямого наблюдения, но способен разрешать некоторые задачи, не разрешимые другими средствами.

Л. Г.

Институт языковедения им. А. А. Потебни АН УССР и Гос. публичная библиотека АН УССР подготовили библиографический указатель «Украинский язык» [Л. Я. Гольденберг, Н. Ф. Кролевич. Українська мова. Бібліографічний покажчик (1918—1961 рр.). Видавництва АН УРСР], который дает представление о вышедшей в СССР литературе по различным вопросам украинского языка.

В основных разделах указателя даются сведения о литературе по вопросам истории, диалектологии, современного литературного языка (лексика и фразеология, фонетика, грамматика, правописание), о развитии лексикографической работы на Украине и т. д. Представлены также книги и статьи о языке фольклора и украинской художественной литературы в целом и о языке отдельных дореволюционных и советских украинских писателей. В указателе нашли свое отражение вопросы стилистики, культуры украинского языка, перевода художественной и научной литературы. Значительный интерес имеет большой раздел о связях украинского языка с русским и другими славянскими и неславянскими языками.

Указатель рассчитан на научных работников — филологов, аспирантов, студентов, работников издательства, прессы и радио и др.

Объем книги 25 л., цена 1 руб. 10 коп. Библиографический указатель по украинскому языкознанию можно заказать по адресу: г. Киев — 29, ул. Кирова, 4—Книжный магазин Академии наук УССР.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Информационный бюллетень ЮНЕСКО. — 1963, 126—128.

Вопросы теории английского и немецкого языков. — Киев, 1962. 124 стр.

Питання топоніміки та ономастики. (Матеріали I Республ. наради з питань топоніміки та ономастики). — Київ, 1962. 240 стр.

Родной диалект. 5. — Таллин, 1962. 104 стр. (на эст. яз.).

А. Аннануров. Грамматика как раздел языкознания. — Ашхабад, 1962. 120 стр. (на туркм. яз.).

С. И. Баявский. Описание таджикских и персидских рукописей Института народов Азии. 4 — Персидские толковые словари (фарханги). — М., 1962. 80 стр.

М. Кахла. Библиографический указатель финно-угорской языковедческой литературы, изданной в СССР с 1918 по 1959 год. I — Научные исследования и статьи; II — Словари, грамматики, учебники, вопросы орфоэпии и орфографии. — Хельсинки, 1962.

Р. А. Рустамов. Желательное и сослагательное наклонения в диалектах и говорах азербайджанского языка. — Баку, 1962. 60 стр.

А. Е. Супрун. Полабские числительные. — Фрунзе, 1962. 68 стр. [ротационный] (Киргиз. гос. ун-т. Кафедра русск. яз.).

Х. — М. И. Хаджилаев. Последлоги и последлочно-именные слова в карачаево-балкарском языке. — Черкесск, 1962. 160 стр.

Ceskoslovenská rusistika. VIII, 1. — 1963. 56 стр.

Język polski. XLII, 1962, 3—4. Стр. 161—320.

Materialien der Woche der Slawistischen Studien am Institut für Slawistik der Ernst-Moritz-Arndt-Universität vom 20. bis 25. November 1961. [Отд. отр. из «Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald». XI, 1962. Gesellschaftliche und sprachwissenschaftliche Reihe 5/6. (Als Manuskript gedruckt)]. Стр. 345—420.

Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert. I, 5 — *anginna* — *aplico*. — Berlin, 1962. Стр. 642—799.

Proceedings of the fourth international congress of phonetic sciences held at the University of Helsinki 4—9 September 1961. — The Hague, 1962.

Slavia orientalis. XI, 4. — Warszawa, 1962. Стр. 435—538.

Studia slavica. VIII, 1—4. — Budapest, 1962. Стр. 1—486.

Zpravodaj. Mistopisné komise ČSAV. III, 5 1962. Стр. 360—437.

H. Galtón. Aorist und Aspekt im Slavischen. Eine Studie zur funktionellen

und historischen Syntax. — Wiesbaden, 1962. 141 стр.

H. Gipper, H. Schwarz. Bibliographisches Handbuch zur Sprachinhaltsforschung. Schrifttum zur Sprachinhaltsforschung in alphabetischer Folge nach Verfassern mit Besprechungen und Inhaltshinweisen. Lief. 3. (Carnoy — Drosste). — Köln — Opladen [1962]. Стр. 257—384.

G. Dumézil. Documents anatoliens sur les langues et les traditions du Caucase. II — Textes oubykhs. — Paris, 1962. 200 стр.

I. Iordan. Crestomație romanică. I — București, 1962, 886 стр.

R. C. Lewanski. A bibliography of Slavic dictionaries. II — Belorussian, Bulgarian, Czech, Kashubian, Lusatian, Macedonian, Polabian, Serbocroatian, Slovak, Slovenian, Ukrainian. — New York, 1962. 366 стр.

D. L. R. Lorimer. Werchikwar-English vocabulary (with a few Werchikwar texts). — Oslo, 1962. 392 стр.

G. Möller. Deutsch von heute. Kleine Stilkunde unserer Gebrauchssprache. — Leipzig, [1962]. 135 стр.

A. Poppe. Materiały do słownika terminów budownictwa staroruskiego X—XV w. — Wrocław — Warszawa — Kraków, 1962. 96 стр.

A. Reszkievicz. Main sentence elements in «The book of Margery Kempe». A study in major syntax. — Wrocław — Warszawa — Kraków, 1962. 100 стр.

D. S. Worth. Kamchadal texts collected by W. Jochelson. — 's-Gravenhage, 1961. 284 стр.

Информационный бюллетень ЮНЕСКО. — 1963, 129—131.

Иберийско-кавказское языкознание. XIII. — Тбилиси. 1962. 379 стр. (на груз. яз.).

Материалы и исследования по балкарской диалектологии, лексике и фольклору. Тексты. Переводы. Комментарии. Словарь. — Нальчик, 1962. 200 стр.

Нахичеванская группа диалектов и говоров азербайджанского языка. — Баку, 1962. 327 стр. (на азерб. яз.).

Проблема второстепенных членов предложения в русском языке (Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена, 236). — 1963. 428 стр.

Толковый словарь грузинского языка. VII. — Тбилиси, 1962. 1482 стр. на (груз.).

П. В. Верхов. Числительное в белорусском языке (в сравнении с русским и украинским языками). — Минск, 1961. 36 стр. (на белорусск. яз.).

Х. Данияров, С. Мирзаев. Вопросы художественного мастерства и языка. — Ташкент, 1962. 316 стр. (на узб. яз.).

## CONTENTS

**Articles:** G. S. Klyčkov (Moscow). A typological hypothesis of reconstruction of Proto-Indo-European; **Discussions:** W. Doroszewski (Warsaw). The sign and the designate; M. M. Makovskij (Moscow). Interaction of regional «slang»-variants and their relation to the national language «standard»; A. M. Ščerbak (Leningrad). On the methods of morphological language description; On the Slavonic linguistic atlas; **Discussion of problems of Russian orthography:** M. Yanakiev (Sofia). Principles of theoretical orthography; **Materials and notes:** M. I. Steblin-Kamenskij (Leningrad). Icelandic-Norwegian consonantal changes; D. I. Edelman (Moscow). The problem of cerebral consonants in East Iranian languages; V. B. Kasevič (Moscow). On the phonological relevancy of voiced and voiceless phonemes in modern Burmese; **From the history of linguistics:** L. V. Ščerbak. The role of F. F. Fortunatov in the history of linguistics; R. V. Pazukhin (Leningrad). K. Bühler's theory on the functions of language as an attempt of psychological solution of linguistic problems; **Critics and bibliography;** **Scientific life:** Working plans of scientists.

---

## SOMMAIRE

**Articles:** G. S. Klyčkov (Moscou). Une hypothèse typologique de reconstruction du proto-indoeuropéen; **Discussions:** W. Doroszewski (Varsovie). Le signe et le designat; M. M. Makovskij (Moscou). Interaction des variantes régionales du «slang» et leur relation au «standard» national; A. M. Ščerbak (Léningrad). Sur les méthodes de description morphologique de la langue; Sur l'atlas linguistique slave; **Discussion des problèmes d'orthographe russe:** M. Yanakiev (Sofia). Principes d'orthographe théorique; **Matériaux et notices:** M. I. Steblin-Kamenskij (Léningrad). Changements des consonnes islandais-norvégiens; D. I. Edelman (Moscou). Le problème des consonnes cérébrales dans les langues iraniennes d'ouest; V. B. Kasevič (Moscou). Rélévanse phonologique des phonèmes sonores et sourds en birman moderne; **De l'histoire de la linguistique:** L. V. Ščerbak. Rôle de F. F. Fortunatov dans l'histoire de la linguistique; R. V. Pazukhin (Léningrad). Théorie des fonctions de la langue de K. Bühler comme solution psychologique des problèmes linguistiques; **Critique et bibliographie;** **Vie scientifique:** Plans de travail des savants.

---

Технический редактор Д. А. Фрейдман-Крупенский

---

Т-12109	Подписано к печати 13. IX. 1963 г.	Тираж 5765 экз.	Зак. 2447
Формат бумаги 70×108 $\frac{1}{16}$	Печ. л. 13,02	Бум. л. 4 $\frac{1}{4}$	Уч.-изд. листов 16,0

## К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, в совершенно готовом для печати виде, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15 стр. машинописи. Редакция заинтересована в получении кратких сообщений и заметок по конкретной тематике объемом до 15 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах).

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значение их — в кавычках.

6. Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.

7. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

---